

ISSN 0132-0637

Октябрь

1998

4

Октябрь

4 1998

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

4

1998

АПРЕЛЬ

Общественный совет: Л. БАТКИН, Ю. БУРТИН, В. БЫКОВ,
А. ВАРЛАМОВ, Б. ВАСИЛЬЕВ, А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ, И. ВОЛ-
ГИН, А. ГЕЛЬМАН, Д. ГРАНИН, Ю. КАРЯКИН, Д. КУГУЛЬТИ-
НОВ, А. КУРЧАТКИН, Ю. МОРИЦ, А. НАЙМАН, О. ПАВЛОВ,
Л. САРАСКИНА, Л. ФИЛАТОВ, Ю. ЧЕРНИЧЕНКО, Р. ЩЕДРИН.

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Григорий ПЕТРОВ. Рассказы	3
Виталий ПУХАНОВ. Из лирики	39
Лилия ПАВЛОВА. Цветы невиданные, райские птицы. Повесть	44
Юрий КАЗАРИН. Негатив облаченья. Стихи	70
Анатолий КИМ. Мое прошлое. Повесть. Окончание	72
Послесловие. Беседа с Анатолием Кимом	110

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Владимир КАНТОР. Личность вопреки	112
--	-----

ВОСПОМИНАНИЯ, ДОКУМЕНТЫ

Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова. Вступление, подготовка текста, публикация и примечания кандидата исторических наук В. М. Хрусталева и В. М. Осина **138**

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Кирилл АНКУДИНОВ.

Внутри после. Особенности современного литературного процесса **174**

Алексей АЛОВ.

Урбанистический пейзаж **181**

Записки литературного человека

Вячеслав КУРИЦЫН.

Без пальто. К двадцатипятилетию журнала «Литературное обозрение» **185**

Мелочи жизни

Павел БАСИНСКИЙ.

Дом, который построил Иван **188**

В несколько строк

Б. ФИЛЕВСКИЙ. **Лавка букиниста** **191**

Распространением журнала «Октябрь» в зарубежных странах занимаются государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» и акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах.

Адреса фирм-агентов «Науки-экспорт» вы можете узнать

по факсу: (095) 334-74-79, 334-71-40,

по телефонам: (095) 334-76-10, 334-70-49.

Адреса фирм-агентов А/О «Международная книга» —

по факсу: (095) 238-46-34,

по телефону: (095) 238-49-67,

по телексу: 411160.

Главный редактор **А. А. АНАНЬЕВ.**

И. Н. БАРМЕТОВА (заместитель главного редактора),

И. К. НАЗАРОВА (отв. секретарь).

Редакция: **А. Н. АНДРЕЕВ** (зав. отделом прозы),

А. В. ВОЗДВИЖЕНСКАЯ (зав. отделом критики),

И. А. БРЯНСКАЯ (публицистика), **И. Ю. КОВАЛЕВА** (проза).

Технический редактор **Т. С. Трошина.**

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Сдано в набор 27.02.98. Подписано к печати 24.03.98. Формат 70x108^{1/16}.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.

Тираж 9190 экз. Заказ № 1409. Цена 16 руб.

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 1943 экз.

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор — 214-62-05, заместитель гл. редактора — 214-63-64, ответственный секретарь — 214-34-44, отдел прозы — 214-51-68, отдел поэзии — 214-63-64, отдел критики — 214-71-34, отдел публицистики — 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

E-mail oktybr@orc.ru

Типография издательства «Пресса». 125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.
© «Октябрь». 1998. Электронная версия журнала в: Русский клуб <http://russia.agama.com>.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Р а с с к а з ы

ТЕРПЕЛИВЫЙ АРСЕНИЙ

А все так и сложилось — как нарочно, будто подстроил кто. И жена Арсению досталась такая, что только держись. Что называется — черт подсунул. Арсений про Васену Власьевну так и говорил: нечистый сосватал. Другой бы давно сбежал куда глаза глядят, а Арсений ничего, вроде бы даже приладился как-то.

Вот просит он, к примеру, Васену Власьевну блинов испечь — масленица все же. А она ему:

— Не стоишь ты, голодранец, блинов!

— Ну, коли так, не пеки, если не хочешь,— соглашается Арсений, легко так, без всякой обиды.

А Васена Власьевна нарочно тогда напечет полную миску с верхом и ему под нос:

— Ешь, бездельник, чтоб все съедено было!

Вот Арсений сидит за столом и ест, давится. А Васена Власьевна устроится напротив и давай приговаривать:

— И долго ты, дармоед, будешь на моей шее сидеть?

Ну, здесь ее, конечно, понять можно: Арсений какой месяц уже без работы. У них на мебельной фабрике вообще черт знает что творится. Сначала-то просто-напросто перестали выдавать зарплату. Полгода, наверное, не платили. Потом фабрика заключила договор с какой-то конторой ритуальных услуг, и стали вместо денег выдавать похоронные комплекты — обивку для гробов, простыни. Когда Арсений первый раз принес все это домой, у них в комнате такой крик стоял, что Лукичевы, соседи, мимо их двери ходить боялись.

— Ты что, моей смерти хочешь? — доносился голос Васены Власьевны.— Не смей больше носить!

Утром Арсений выходит на кухню с чайником, там Лукичевы, муж и жена, картошку чистят. Лукичев спрашивает:

— Ну, что там у вас?

— Да все хорошо,— отвечает Арсений.

Потом боком так поворачивается, а у него на скуле, под глазом, здоровый синяк.

— Клянусь, все хорошо,— снова говорит Арсений.— Я всем доволен.

А несколько месяцев назад на фабрике взяли и сократили половину работников. И опять Васена Власьевна на супруга:

— Почему же именно тебя? Других-то ведь оставили! Дурак ты и простофиля!

Арсений, конечно, все это время подрабатывал как мог. Где машину разгрузит, где бутылки пустые соберет. Лукичев, сосед, говорил ему:

— Ты бы торговлей лучше занялся. Сейчас только торговля и кормит.

Сам Лукичев был вроде коробейника — торговал в электричках всякой мелочью: зубные щетки, дамские зонтики, карманные фонарики, наборы ножей. А супруга его Капа время от времени ездила в Польшу с това-

ром — ночные рубашки, простыни, белье. В Польше она закупала японскую музыкальную аппаратуру — и обратно. Арсений часто провожал ее до вокзала и встречал, когда она возвращалась, — таскал тяжеленные сумки. Какой-никакой, а все заработок.

А еще Арсения часто звал в свой ларек Ашот Гургенович — полы вымыть, прибраться, мусор выкинуть. Только Васене Власьевне все равно не угодишь, всегда она недовольна. Вернется Арсений грязный, усталый, а она ему:

— И на кого ты похож? Над тобой же смеются все! Другие люди как люди! Все приличные! Один ты — босяк! Голь перекатная! Харитина Яковлевна вон, на что инженер, химик, — пирожками стала торговать, сама пекла. Теперь смотри — ресторан собственный под окнами. Квартиру сыну купила...

Арсений молчит, ничего не отвечает. Васена Власьевна тогда говорит ему:

— А я обед сегодня не варила...

И Арсений не обижается:

— Нет так нет... Я тут хлеба немного принес... Пожужим — и ладно...

Другой раз еще лучше. Наложит ему Васена Власьевна полную тарелку гречневой каши, да только такой, какую давно пора выбросить — зеленая вся.

— Ешь, не выкидывать же!

Другой бы возмутился, наскандалил, а Арсений ничего, ест себе да похваливает:

— Никогда не пробовал такой вкусной каши...

Как поест, Васена Власьевна командует:

— Ступай посуду мыть. Кастриюлю вычисти. Да веник захвати — у плиты подмести.

Вот возится Арсений на кухне, сосед Лукичев у форточки стоит, курит.

— И как ты с ней живешь? — спрашивает. — Она же ведьма!

А Арсений, как всегда, только отшучивается:

— А ты разве не слышал? Новый указ вышел. Чтобы теперь, значит, жены мужьями повелевали...

— Да точно я тебе говорю — ведьма! — настаивает Лукичев. — Она тут к нам как-то зашла... За солью, что ли... А я только стакан перед собой поставил. Бутылка у меня как раз была. Ну, налил я в стакан, а она поглядела так — стакан и лопнул. Ни с того ни с сего... Я туда-сюда, пока за тряпкой ходил, гляжу — бутылки нет, пропала. «Где бутылка?» — спрашиваю. А она мне: «Только мне и заботы за твоими бутылками глядеть!» И ушла. И что интересно — тараканов у нас после нее стало видимо-невидимо...

— Ну и что, нашлась? — спрашивает Арсений.

— Кто?

— Бутылка, спрашиваю, нашлась?

— Нашлась-то нашлась. Да знаешь где? На шкафу. Вот кто ее туда поставил?

Теперь еще Арсению другое испытание — старик Федор Кузьмич. Комната его рядом, через стенку. Ходит старик по квартире в длинной, ниже колен, рубахе, сверху халат. Голова лысая и борода белая. Откуда он взялся — никто не знал. Говорили, что раньше когда-то, давно еще, жил он в Сибири, где-то под Томском, в скиту — вроде как отшельник, пустынный человек. Теперь вот каким-то образом здесь, в квартире, оказался.

С утра до вечера старик торчал в ванной — мылся в который раз или платки носовые стирал. Платки он менял каждый день. Как развесит на кухне, соседи только удивляются: откуда у него такие тонкие платки? Никто таких отродясь не имел. Все, конечно, со стариком скандалили — в ванную из-за него нельзя попасть. Одно только и утешало, что Федор Кузьмич дома бывал не всегда. Время от времени приезжали за ним санитары и увозили его в больницу. Месяц его не видно, потом снова появлялся.

— Возят тебя, возят, а все без толку, — ворчала Васена Власьевна.

Ну, что правда, то правда. Федор Кузьмич как был странный, так и остался. Вроде бы все ничего, только нет-нет, да что-нибудь и выкинет. Однажды, к примеру, вышел из комнаты и ходит по квартире с кружкой, воду по сторонам плескает. Спрашивают: что ты делаешь? А он молчит. Ну, кружку у него отобрали, только в тот же день на лестнице пожар — квартира соседняя загорелась.

Другой раз Лукичева Капа отругала Федора Кузьмича за то, что из ванной с утра не вылезал, да к вечеру и слегла — живот у нее пучит, давит, будто камни внутри. А утром Федор Кузьмич зашел, дал ей водички какой-то своей — и все как рукой сняло.

Или другой случай. Вечером как-то поздно зовет Лукичева Капа Васену Власьевну в коридор. Смотрит, а в щель под дверью Федора Кузьмича свет виден. И ведь знают, что старика нет дома, в больницу его утром увезли, а свет, вот он — сначала горел, а к ночи погас...

И вот как-то само собой вышло, что Арсений при старике оказался, будто так оно и должно быть. Вроде сиделки или прислуги сделался. На прогулки его водил, в комнате убирался, поручения всякие исполнял. А Федор Кузьмич известно — не простой, с причудами. Приготовит ему Арсений суп овсяный, а старик тарелку отодвигает:

— Пересолено... Я это есть не буду...

И опять Арсений не сердится, не обижается. Тарелку выльет, другую еду подаст. Федор Кузьмич ест, рассказывает:

— Я когда в келье сибирской жил, меня хорошо угощали. Особенно в праздники. Народу-то ко мне много ходило. Пирогов нанесут, лепешек. Я ни от чего не отказывался. Особенно олады любил с сахаром.

Или однажды рубаха у старика на локте прохудилась. Арсений сам, своими руками заштопал, а Федор Кузьмич взял и порвал снова.

— Кое-как сделал, любезный... Не нравится мне... Рубаха белая, а заплата цветная...

С халатом была история. Халат у Федора Кузьмича вконец износился. Арсений уж чинил его, подшивал, целую неделю возился. А Федор Кузьмич даже в руки не взял.

— Выбрось его... Он же ветхий совсем... Мне новый нужен...

Арсений в этот день как раз деньги должен был получить у Ашота Гургеновича за уборку. Вот он взял и купил старику халат, подержанный, правда, на вещевом рынке. Васена Власьевна как узнала, чуть из дома Арсения не выгнала.

— Совсем спятил? Дома ни копейки! А он — халат! Психу какому-то свихнутому!

Теперь опять же цветок. Федор Кузьмич в кухне на окне держал в горшке какой-то куст. Что это за растение — никто не знал. Пыльные, сухие ветки без единого зеленого листочка. Только Федор Кузьмич каждый день напоминал Арсению: не забудь полить. А там сколько ни поливай — прутья и есть прутья, и земля в горшке твердая как камень. Все только смеялись над Арсением.

— Я этот куст выброшу! — кричала Васена Власьевна. — Грязь еще разводить!

И опять на Арсения:

— Дурак, ты и есть дурак! Что ты связался? Никакой гордости, честное слово!

Арсений сначала молчал, а потом вдруг и говорит:

— Ты вот все бранишься, душа моя, а того не знаешь, что сосед наш не просто Федор Кузьмич, а сам государь-император... Венценосец! Александр Павлович! Слава России!

— Час от часу не легче! — охнула Васена Власьевна. — Теперь еще и венценосец!

— Он мне сам говорил!

Васена Власьева разговаривать не стала, только пальцем у виска покрутила. Вечером встречается в коридоре Лукичевых.

— Новость слышали? — спрашивает. — Император у нас объявился! Прямо в нашей квартире!

И рукой на дверь Федора Кузьмича показывает. Лукичевы развеселились от всей души. Долго потом на кухне расшаркивались друг перед другом — «ваше величество».

— С этим психом не соскучишься!

А через неделю, в самом начале сентября, именины Васены Власьевны, гости собрались — три человека: Алдошкины, муж и жена, и Недорезов Митяй Маркович с первого этажа. Арсений развлекал их — Васена Власьева просила. Петухом кукарекал, коробок спичек жевал. Или еще: зажигал свечку и руку над огнем держал. Алдошкина Клементина только вздыхала:

— Счастливая ты, Васена. Вон какой муж у тебя. Позавидуешь... А мой-то глухарь-глухарем — ничего не слушает... Одна гордость...

— Да что там! — машет рукой Васена Власьева.

Подзывает она Арсения и говорит ему:

— Будь любезен, передвинь вон тот шкаф от двери. Уж больно тесно стоит, проходу мешает.

Клементина Алдошкина даже испугалась:

— Да ты что, Васена! Побойся Бога! Здесь полк солдат нужен! Разве сдвинешь?

А Арсению хоть бы что. Подошел к шкафу, уперся плечом и давай толкать что есть силы. Пот с него градом, красный весь, жилы на лбу вздулись. Шкаф, конечно, ни с места.

— Будет тебе, — вмешивается Митяй Маркович. — Надорвешься!

И тут вдруг шкаф как-то странно скрипнул, покачнулся и чуть-чуть сошел с места. Все сначала просто замерли, а потом сразу в ладоши хлопать. А Арсений раскланивается, как актер на сцене, руку к груди прикладывает. Тут Васена Власьева ему и говорит:

— А теперь расскажи, какой у нас царь в квартире объявился! Умереть можно!

Арсений сначала не хотел было говорить, но потом все же начал:

— Это когда сосед наш из больницы вернулся. Я в тот день поздно пришел, у Ашота Гургеновича в ларьке убирался. Поставил на плиту чайник, а Федор Кузьмич из комнаты своей выглядывает, пальцем манит. Как я вошел, дверь плотно прикрыл и шепчет: «Теперь можно открыться... Время пришло... Тебе первому...» Снова в коридор выглянул — нет ли кого. «Знай, любезный, я Федор Кузьмич...»

— Ну и что? — спрашивает Васена Власьева. — Мы знаем, что Федор Кузьмич.

— Вот и я спрашиваю: ну и что? — продолжает Арсений. — А старик сердится. «Да нет, — говорит, — не просто Федор Кузьмич, а тот самый... Старец из Сибири... Неужто не слышал?» А я никак понять не могу: какой старец?

— Как же, как же! — вмешивается Митяй Маркович. — Читали мы, по истории проходили. Старец Федор Кузьмич... Это когда император Александр Первый умер. Тогда еще восстание декабристов было. А потом старец в Сибири объявился, Федор Кузьмич... Вот в народе и пошел слух, будто император не умер вовсе, а скрылся... А Федор Кузьмич и есть тот самый государь... Это нам известно...

Тут Арсений достает из шкафчика какую-то связку бумаг и вытаскивает листок обтрепанный — портрет. На картинке — красивое лицо, белокурые волосы, бакенбарды.

— Ведь похож, правда? Самодержец российский! Александр Павло-

вич! Мне Федор Кузьмич дал. Говорит: на память, от меня лично... Я хочу в комнате повесить... Чтобы всегда перед глазами...

Васена Власьева поднимается и берет со стола бутылку.

— Пойти соседей угостить... А портрет ты порви... Чтобы я не видела его больше...

Арсений хотел что-то сказать, но только вздохнул и стал рвать картинку. Вышли они с Васеной Власьевной на кухню, там — Федор Кузьмич. Спinoй к окну стоит, халат новый, подаренный, руки за пояс заложил. Арсений рюмку ему протягивает:

— За здоровье государя-императора!

— А я выпью,— отвечает Федор Кузьмич.— Ты думаешь, если самодержец российский, так и не станет? А я вот выпью, любезный, выпью... Я не такой постник, как вы думаете...

Васена Власьева руки в боки — и на старика:

— Вот как! Самодержец российский! Отчего же не Наполеон?

Федор Кузьмич голову вперед наклоняет.

— Говори громче,— просит.— Я глух на левое ухо...

— Почему же не Наполеон? — кричит Васена Власьева.

— Бонапарт-то? — отвечает Федор Кузьмич.— Бонапарт — это другое совсем... Я ведь помню... Наше свидание с ним... Тильзит... Река Неман... Мы в шатре, на плоту, посреди реки. На мне черный мундир преображенский. Красные отвороты... Все золотом обшиты... Белые рейтузы, шарф, треуголка с перьями...

Тут Лукичев из комнаты вышел, голоса на кухне услышал. В дверях стоит, слушает, потом ехидно так спрашивает:

— Отчего же на реке? На каком-то плоту. Неужто на земле нельзя было?

— Помилуйте,— отвечает Федор Кузьмич.— Да ведь всем известно: Бонапарт-то антихрист. Как же можно — православному царю с нехристом? Его сначала окрестить надо было в реке... А так — грех...

— Ну и какой он, Наполеон? — снова спрашивает Лукичев.

— Бонапарт-то? — переспрашивает Федор Кузьмич и голову вперед наклоняет.— Да никакого величия. Маленький, круглый. Покачивается из стороны в сторону. И лицо совсем невыразительное. Представляете, яблоко мне протягивает? «Мир,— говорит,— как это яблоко. Мы разделим его на две части — восток и запад. Весь свет будет нашим». А я отказался...

— Ну и дурак! — замечает Лукичев.

Тут Васена Власьева вмешивается:

— Что языком-то болтать? Вы лучше выпейте за мое здоровье. За моего ангела.

Тут все стали ее поздравлять, чокаться.

— А какие у меня именины были! — говорит Федор Кузьмич.— Какие торжества! Память Александра Невского! Пушки палят! Везде ковры развешаны! Вечером по всему городу освещение!

А Лукичев все так же ядовито спрашивает:

— Когда же это было, Федор Кузьмич? Ведь это же прошлый век...

А ты все живешь...

— Живу,— вздыхает Федор Кузьмич.— Не надо вот, а живу...

— Это сколько же тебе лет? Более двухсот выходит...

— А кто его знает, сколько... Я не считал...

Васена Власьева больше не выдержала, рукой махнула и ушла в комнату. А Лукичев только-только разошелся. Арсения локтем в бок толкает и подмигивает.

— Как же все-таки это вышло? — спрашивает.— Император всея Руси — и вдруг бродяга, нищий...

А Федор Кузьмич в сторону смотрит куда-то, не слышит. Лукичев по плечу его хлопает:

— Как же, говорю, случилось? Из дворца да в Сибирь!

— Что ж,— отвечает Федор Кузьмич.— Двадцать пять лет отслужил. Шутка ли? Четверть века. Солдату в такой срок отставку дают. А я всегда хотел оставить престол... Удалиться от мира... Где-нибудь на берегу реки... Наблюдать природу... Безмятежность и благоденствие!

— Будет врать-то! — обрывает его Лукичев.— Так мы и поверили! Будто на троне плохо!

Федор Кузьмич строго поглядел на него.

— Я, любезный, знаю, что говорю! Другому, может, и хорошо, а мне нет! Я, стало быть, не рожден для трона... Вокруг лицемерие, интриги! Ни одного искреннего друга! Какие сплетни про меня распускали! Будто у меня ляжки искусственные, из ваты, для красоты.

Лукичев подошел к Федору Кузьмичу, потрогал его ноги.

— Нет, все в порядке, отец, не переживай...

— А знамения? — спрашивает Федор Кузьмич.— Что вы скажете о знамениях?

— Какие еще знамения?

— То пожар в церкви Преображения, все главы сгорели. То комета с хвостом. Не успел на престол ступить — наводнение. Потом второе, еще ужаснее. Сколько жертв, какое опустошение!

Лукичев на ухо Арсению шепчет:

— Это же надо такое наплести! Комета, наводнение...

— Вот все и сошлось, чтобы мне уйти,— продолжает Федор Кузьмич.— А тут, как нарочно, супруга моя, Елизавета Алексеевна, разболелась. Врачи советуют везти ее на юг для здоровья... Мы и уехали в Таганрог. Елизавета Алексеевна там поправляться стала, а я наоборот — расхворался. В Крым как-то ездил... Весь день верхом, в одном мундире... А к вечеру ветер свежий... Потом еще рыбу какую-то жирную ел... Короче говоря, вернулся в дом и свалился. Лихорадка, жар. Так плох был... Духовник приобщил Святых Тайн... Вот я там, в Таганроге, можно сказать, и отошел в жизнь вечную...

— Я бы ни за что не отошел,— говорит Лукичев. И кричит Федору Кузьмичу:

— Я говорю: охота была! Из дворца-то по своей воле!

— Как же, помилуйте! — даже удивился Федор Кузьмич.— Ведь что творилось? Кругом заговоры! Тайные общества! И кто бунтовал? Гвардейские офицеры, аристократы! Дворяне, которым я хотел блага и счастья! Чудовища неблагодарные! Конституции захотели! Будто счастье человека от социального порядка зависит. От государства!

Тут Федор Кузьмич всхлипнул и стал тереть глаза ладонью.

— Ловко закрутил, шельма! — восхищается Лукичев.— Прямо как в романе...

— Меня же отравить хотели,— продолжает Федор Кузьмич.— Пирожок как-то ел, а в нем — камешек, маленький такой... Откуда в пирожке камешек? Я, когда заболел, и лекарств никаких не принимал — боялся. Лекаря гнал прочь...

— Ты не расстраивайся,— говорит Лукичев, сам еле смех сдерживая.— Выпей-ка лучше... Это не отравленное...

Федор Кузьмич немного успокоился, глаза вытер.

— Однажды что удумали? Мост на реке подпилили. Перед самым Таганрогом... Кучер мой Илья остановил коляску, а вторая коляска дальше катит. Офицеры там сидели... Как на мост выехали, так он и рухнул... Я кричу Илье: «Заворачивай скорее!»

— А как же вам удалось скрыться? — спрашивает Арсений.

— Да, в самом деле, как? — вторит Лукичев и снова Арсения в бок толкает.

— Скрыться-то? Да очень просто. Возвращаюсь как-то с прогулки, вечером уже. У заднего крыльца солдат стоит, часовой. Он и говорит мне:

«Не извольте входить, ваше величество. Вас там убьют из пистолета». Тогда я спрашиваю его: «Хочешь, солдат, умереть за царя? А род твой будет награжден». Он сначала не хотел, потом согласился. Надел я его мундир, стал на часы. А солдат взял мою шинель — и в дом. Стою я, значит, у крыльца, потом слышу выстрел в комнатах. За ним — другой. Бросил я тогда оружие — и бежать. Потом Елизавете Алексеевне, супруге своей, написал, чтобы похоронили того солдата, будто меня.

— Заморочил ты меня, старик, совсем! — говорит Лукичев. — Задурил голову.

Тут Васена Власьева дверь из комнаты открывает и зовет Арсения: — Иди сюда, чучело! Гости скучают...

А как гости ушли, Васена Власьева всю ночь Арсения изводила:

— Что ты носишься с этим придурком? Он тебе сказки рассказывает, а ты уши развесил! Вот уж точно — два сапога пара.

А на другой день — приключение. У Васены Власьевны кольцо с пальца пропало. Сняла она его на ночь, у зеркала положила, утром встала — нет кольца. Васена Власьева чуть не плачет, жалуется Лукичевой Капе:

— Думала, на черный день... И вот, пожалуйста!

Лукичева Капа слушала ее, слушала, потом и говорит:

— Некому кольцо взять, кроме твоего Арсения.

— Ты думаешь? — спрашивает Васена Власьева.

— Они сегодня с моим ни свет ни заря ходили куда-то. Мой все жаловался: голова раскалывается... Арсений, видно, пивом его угощал. А откуда у него деньги, спрашивается?

Васена Власьева так и объявила мужу:

— Ты вор, Арсений! И я в милицию на тебя заявлю!

А Арсений, как всегда, отшучивается, радостный какой-то, даже улыбается.

— Ты же знаешь, радость моя, как я тебя люблю. Ведь больше жизни. Ей-богу, ласточка! Что же ты бранишься?

Васена Власьева как взорвется:

— Шут гороховый! Извел ты меня вконец! Теперь воровать взялся! Я тебе поворую! Посидишь в тюрьме — бросишь эту моду!

Тут в дверь стучит кто-то. Открыли — Федор Кузьмич.

— Цветок бы полить надо, — говорит. — Засохнет совсем.

— Пропади ты пропадом со своим цветком! — кричит на него Васена Власьева.

Федор Кузьмич пошел было восвояси, потом возвращается.

— Вот, — говорит, — на умывальнике нашел. Не ваше, случайно?

И кольцо показывает. Васена Власьева схватила его и опять бранится:

— С вами совсем голову потеряешь!

Арсений вышел на кухню полить цветок, потом заглянул к Федору Кузьмичу. Комната у старика бедная, пустая. Лежанка с подстилкой, два стула. На столе книга старая, потрепанная — Евангелие. В углу, возле окна, — Божья Матерь с лампадкой. Пахнет в комнате как-то по особому, сладко.

Вот сидят они за столом, чай пьют. Федор Кузьмич хмурый какой-то.

— Сегодня всю ночь солдаты снились, — говорит он. — Все с саблями, пьяные. Потом император, отец мой, Павел Петрович. Босой, в ночной рубашке, за ширмами прячется...

Голос у Федора Кузьмича дрожит, губы трясутся.

— Я ведь в убийстве отца не виновен! Нет на мне его крови! Они же мне обещали! Слово дали! Я и клятву с них взял — не посягать на его жизнь! Они обманули меня!

— Конечно, обманули! — утешает его Арсений. — Это такой народ.

— Граф Панин меня уговаривал. Говорил: для спасения России. Импе-

ратор должен подписать отречение! Надо его заставить... Если, говорил, этого не случится — революция будет! Народ, мол, требует. Еще сказал: чтобы приготовить яичницу, надо разбить яйца.

— Интересно, что он имел в виду? — спрашивает Арсений.

— А я все для отечества! Хотел Россию спасти! Думал, как лучше. Ведь в стране-то что творилось? Воровство, грабеж, взятки. Злоупотребления на каждом шагу. Никто не стыдится негодяев, если у тех деньги. Честь и совесть забыты! Какое нравственное унижение великого государства!

— Вы не переживайте,— говорит Арсений.— Сейчас все то же самое. Как было, так и осталось.

— Я отца потом уже увидел в парадной зале, на панихиде... — не слышит его Федор Кузьмич.— Раскрашенный, как кукла. Шляпу ему на лицо надвинули, чтобы синяк закрыть. Шея платком замотана. Его шарфом задушили. А мне сказали: удар у него апоплексический... Скончался, мол, от удара...— Федор Кузьмич залился слезами.— Я не хотел принимать корону... Супруга меня уговорила, Елизавета Алексеевна... Надо, сказала, смотреть на свое царствование как на искупление...

Арсений уже и так старика успокаивал и этак — ничего не помогало. Весь день он сидел у Федора Кузьмича, до самого вечера.

А на другой день — новое событие, совсем уже чудное. Пошел Арсений с Васеной Власьевной за хлебом. Идут они обратно из булочной, а возле подъезда Луиза с третьего этажа, с подружками. Лицо опухшее, накрашенное. Ее в доме все знают: Луиза — гулящая. Каждый вечер нового гостя к себе ведет. А тут она с подругами, пиво из банок пьют. И вдруг Луиза бросает банку в сторону и идет навстречу Арсению.

— Что же ты, дружок? — говорит.— В гостях у меня был, а денег не платишь...

— Ступай отсюда! — начала было Васена Власьевна.— Иди своей дорогой!

А Луиза как на нее накинется:

— А ты за своим лучше гляди! Не отпускай от себя! Чтоб не гулял!

Подруги Луизины хохочут, прямо помирают со смеху. Васена Власьевна на Арсения смотрит, понять ничего не может. А Арсений вдруг и говорит:

— Дай ей денег, моя ласточка. Заплати... Пусть идет себе...

— Как заплати? — так и взвилась Васена Власьевна.— Ты что же, был у нее? Говори, был?

И тут она прямо при всех, на улице — по щеке Арсения. А тот только руками разводит, успокаивает ее:

— Это ничего, ничего...

Вернулись домой, Васена Власьевна Арсения из комнаты гонит:

— Не смей больше ко мне подходить!

Так до самого вечера сидел Арсений на кухне, в окно на улицу глядел. Потом Федор Кузьмич к себе его позвал, устроил на ночь. Пальто старое на полу расстелил, под голову — тряпки какие-то. Арсений только лег, глаза так и стали сами слипаться.

— А ведь я предупреждал его, чем все это кончится,— вдруг говорит Федор Кузьмич.

— Кого? — отозвался сквозь сон Арсений.

— Бонапарта... Предсказывал, что случится... Не поверил он мне тогда, не послушался. Вот и пошел войной...

Утром Васена Власьевна в дверь стучит, Арсения обратно зовет. Пришел Арсений, а в комнате Лукичева Капа.

— Ты уж прости нас,— говорит.— Это все дурак мой. Пошутить вздумал... Выпивши был... Луизку — гулящую подговорил. Напоил ее пивом, она и выступила. Веселились они... Ты уж прости...

— Да что там! — машет рукой Арсений.— И вспоминать нечего!

Лукичева Капа даже прослезилась.

— Вот какой у тебя муж, Васена,— говорит.— Прямо Божий человек...

— Божий-то Божий,— отвечает Васена Власьевна.— Только вот нищий и босой! Дома-то ни копейки! Вон Зинюхины как живут! Вертятся круглый год! То шапки к зиме шьют, то игрушки детские. Перед Пасхой всегда веночки могильные мастерят. А этому все нипочем, всем доволен, и все ему хорошо!

А когда Лукичева Капа ушла, говорит Арсению:

— Я тут белье свое собрала... Все стираное, чистое... Ступай на вещевой рынок, продай что можно... Смотри только — не продешеви! Цену я там тебе написала...

— Белье, так белье,— вздохнул Арсений.

Собрала ему Васена Власьевна сумку, набила доверху и отправила из дома. На рынке Арсений нашел место возле забора, разложил товар, стоит, ждет. А вокруг знакомых — полным-полно. Все мимо ходят, только потешаются:

— Ты что это, Арсений? Бельем женским торговать вздумал?

— Что за цены, Арсений? Вон в магазине новое — дешевле. Кто у тебя купит?

— Шел бы ты домой, Арсений! Не позорься! Собирай свои тряпки и ступай!

— Как же можно? — пугается Арсений.— Жена наказала продать!

Потом ребята какие-то стали вокруг бегать, пыль, грязь прямо на белье. Рядом торговец небритый, в телогрейке и с костылями под мышкой.

— А ну прочь отсюда! — погрозил он ребятам костылем.

Вся телогрейка его была увешана боевыми орденами и медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Киева».

— Не нужны медальки для коллекции? — обращался он к прохожим.

Многие подходили к нему, покупали.

— Друзей моих усопших награды,— говорил небритый.— Продаю для поддержания вдов. Нужда заставляет...

А как все распродал, исчез куда-то. Перед самым закрытием рынка вновь объявился, уже без костылей. Подходит к Арсению, вином от него за версту тянет.

— Все стоишь? — спрашивает.— Так ничего и не продал? — Поглядел по сторонам, потом говорит: — Ладно... Я сегодня бесовское сотворил... Теперь надо богоугодное... Давай свой товар! Все покупаю!

И пачку денег из кармана вытаскивает. Арсений, конечно, ни в какую. Видит, что выпил человек, зачем же пользоваться? А небритый чуть ли не в драку: подавай белье — и все тут!

— Желаю супруге подарок сделать!

Так все и забрал, вместе с сумкой.

Дома Васена Власьевна глянула на Арсения, руками всплеснула:

— Потерял! Так я и знала!

А Арсений деньги ей протягивает.

— Продал я, да лучше бы не продавал. Вроде как обманул человека... Он же выпивши был...

Ночью Арсений спал плохо, все видел перед собой небритого в телогрейке, только вместо орденов и медалей весь он увешан бельем женским. А тут еще за стеной, у Федора Кузьмича, шум какой-то — голоса, шаги, стулья двигают: никак не уснуть. Васена Власьевна то и дело колотила в стенку:

— Совсем спятил, полоумный? Это же надо! На разные голоса разговаривает!

Утром, как встали, она сразу на кухню. Только Федор Кузьмич из комнаты, она к нему:

— Ты что же, душегубец, спать людям не даешь? Санитаров, что ли, вызывать?

А Федор Кузьмич спокойно так, даже равнодушно:

— Гости у меня были...

Васена Власьева по лбу себе постучала.

— Гости? Ночью? Совсем рехнулся!

Тут и Арсений следом выходит.

— В самом деле, что за гости? Кто к вам приходил?

Федор Кузьмич, видно, не слышал — ничего не ответил. А как Васена Власьева ушла, говорит Арсению:

— Пастырь мой приходил и наставник! Архимандрит Фотий. Ангельского жития человек... Ладаном от него пахнет...

— Что же ему нужно было?

— Зловерие, говорит, вокруг, соблазны... Козни сатанинские... Сон свой рассказывал. Явилась ему на облаках птица — орел. Потом звери всякие — гиены, шакалы... И вот звери гонят орла, задушить хотят.

— И что же это значит? — спрашивает Арсений.

— Гибель России... Сожрут ее звери новые... Конец державе будет...

— Что ж, очень может быть,— соглашается Арсений.— Все, видно, к этому идет...

Тут Васена Власьева дверь из комнаты открыла, кричит:

— Чтоб больше никаких гостей!

Несколько дней в комнате соседа было по ночам тихо. Радовались уже: слава Богу, кончилось. Только через неделю все началось по-новому. В самую полночь — шаги, голоса.

— Не иначе опять архимандрит,— говорит Арсений.

— Какой еще архимандрит? — сердится Васена Власьева.

— Да ходит здесь один к нему... Архимандрит Фотий...

Утром Васена Власьева уже ждет Федора Кузьмича на кухне.

— Ну что? — спрашивает.— Опять гости? Кто же на этот раз?

— Граф,— отвечает Федор Кузьмич.— Аракчеев... Алексей Андреевич...

— Его только и не хватало,— заметила Васена Власьева.— Архимандрит был, теперь граф...

Арсений уже тут как тут.

— Неужто Аракчеев? — спрашивает.— Какой же он из себя?

— Какой — спрашиваешь? На обезьяну похож. Уши здоровые, голова набок. Как есть — обезьяна в мундире. Змей Горыныч! Его все так и звали — Змей Горыныч! Суровый был человек...

— А ему что от вас надо?

— Да все жаловался... Никак успокоиться не может. Любовницу его убили. Настасью Минкину... Дворовые люди убили...

— Ну, не знаю, кого там убили,— говорит Васена Власьева.— Только если ты, разбойник, будешь по ночам шуметь, я вызову санитаров! Так и знай! Упеку в психушку до конца дней!

Надо сказать, что после этого в комнате Федора Кузьмича все вроде успокоилось. Ни голосов по ночам, ни шума — можно спокойно спать. Только в один прекрасный день — новое дело. Возвращаются как-то Васена Власьева с Арсением из магазина, а в коридоре — запах какой-то. Будто духи женские, тонкие.

— Этого еще не хватало! — говорит Васена Власьева.— Никак баб стал водить!

Сам Федор Кузьмич, как всегда, в ванной — мыл руки. Васена Власьева встала в дверях, на него смотрит. Федор Кузьмич обернулся.

— А как меня в Париже встречали! — говорит он.— Я в мундире на коне. Дамы из окон цветы кидают, букеты. Под ноги лошади платки шелковые стелют. Потом балы, праздники, увеселения. Танцевал больше обыкновенного...

— Ты нам зубы не заговаривай! — обрывает его Васена Власьева.— Кто в квартире был?

А Федор Кузьмич не слышит — вода шумит.

— Я тогда в Париже у гадалки был... Мадам Ленорман... Дом у нее знаменитый. Все к ней ходили, со всего мира приезжали. Ленорманша богато жила. Мебель дорогая, картины. Она мне на яичном белке гадала...

— Совсем ты оглох, отец мой,— опять прерывает его Васена Власьевна.— Тетерев глухой! Говори, кто в квартире был?

Федор Кузьмич воду наконец закрыл, потом говорит:

— Да кто был? Ленорманша и была. Да еще баронесса... Госпожа фон Крюденер.

— Что же они здесь делали? — ядовито так спрашивает Васена Власьевна.

— Ленорманша зеркало мне показывала. Я там себя увидел сначала... На виске ссадина, как у отца, шея синяя, рубец на ней красный... Потом лица разные мелькали. Брат Николай с петлей-удавкой в руках, еще другие, незнакомые... А под конец — вовсе какой-то хаос. Развалины, руины...

— А баронесса тоже гадала? — спрашивает Васена Власьевна.

— Баронесса-то? Нет, она не гадала... Баронесса поглядела в зеркало и говорит: «Вот она, нынешняя Россия. За грехи гибнет...»

Тут Федор Кузьмич достал платок, стал глаза вытирать.

— Мы с баронессой раньше часто виделись. Она всюду за мной ездила, по всем городам... Говорила мне: «Нет, государь, вы еще не смирились перед Иисусом. Еще не сказали, как мытарь: Боже, я великий грешник, помилуй меня! Не обратились к Нему, как обратился распятый разбойник...»

— Ну вот что! — отрезала Васена Власьевна.— Не хотим мы знать никаких баронесс, никаких гадалок! Я вызываю санитаров! Хватит!

— Да что ты, ласточка,— пробовал успокоить ее Арсений.— Сладится все... Ты потерпи...

Но Васена Власьевна еще пуще разошлась:

— И ты убирайся вместе с ним! Не желаю никого видеть!

Захлопнула она дверь комнаты и крючок изнутри накинула.

Постоял Арсений, постоял — делать нечего, пошел к Федору Кузьмичу.

В эту ночь уснули они поздно, все разговаривали. А утром, как поднялись, Федор Кузьмич и говорит:

— Сон сегодня видел... Будто горит наш дом тонким пламенем и не сгорает. А из огня голуби вылетают...

— Ну и что это значит? — спрашивает Арсений.— К чему сон?

— Перемены будут, жди,— как-то загадочно ответил Федор Кузьмич.

Попили они чайку, а Арсению идти некуда. Толкнулся он было в свою дверь — закрыто. Васена Власьевна, видно, ушла куда-то. Вышел он тогда во двор, а там на лавочке Лукичев, с ним Дудыкин из второго подъезда. Пиво разливное в бидоне принесли, сидят, пьют.

— Что, из дома выгнали? — спрашивает Лукичев.

— И где ты только жену себе такую откопал? — интересуется Дудыкин.

Арсений поглядел на них и хитро так подмигивает.

— Известно — где! Нечистый сосватал.

— Смотри, Арсений,— хохочут приятели.— Заберут тебя черти!

Когда пиво кончилось, они поднялись и пошли куда-то. Арсений поглядел им вслед и тоже пошел за ними. И в этот день никто его больше не видел, пропал он. Лукичев под вечер вернулся, только удивляется:

— Вот уж точно — черти забрали...

Не явился Арсений и на следующий день. Три дня так прошло, его все нет и нет. Федор Кузьмич особенно переживал.

— Где же ваш супруг драгоценный? — спрашивал он у Васены Власьевны.

— Да где ему быть? — пожимала плечами Васена Власьевна.— Шляется где-нибудь... Вернется — никуда не денется!

— Кто же теперь цветок поливать будет? — вздыхал Федор Кузьмич.

Что касается Федора Кузьмича, то Васена Власьева сдержала свое обещание. Позвонила в больницу, вызвала санитаров. За стариком приехала машина, забрали его. Вечером его увезли, а утром вышла Васена Власьева на кухню, хотела цветок выбросить. Глянула на куст да так и ахнула — на сухих ветках белые пушистые цветы.

— Что же это творится? — только и сказала она.

В тот же день пошла Васена Власьева в овощной за картошкой. Выходит из магазина, человек какой-то к ней идет, грязный, опухший.

— Вы Васена Власьева? — спрашивает. — Я вам деньги должен отдавать.

— Какие еще деньги? — даже испугалась Васена Власьева.

— Я у Арсения покойного утаил... Можно сказать, украл...

А Васена Власьева понять ничего не может:

— Как покойного?

— Да он уж три дня как помер, — говорит незнакомец. — А вы что, не знали? Мы с ним вместе у Ашота Гургеновича работали... Ашот Гургенович как-то давно еще заплатил за работу, просил Арсению передать. А я утаил. А тут узнаю, что Арсений в больнице, помирает... Я к нему... А он, представляете, простил меня! Я украл, а он простил. Сказал: Васене Власьевне отдай...

— Что ты несешь? — прикрикнула на опухшего Васена Власьева. — Ступай проспись! Нагородил!

Вернулась она домой, к ней Лукичева Капа кинулась.

— Беда-то! Беда! — Сама плачет, слезами обливается. — Арсений-то наш!

— Что — Арсений? Говори толком! Что случилось?

— Человек приходил... Сказал: помер Арсений... Отдал Богу душу...

— Будет выдумывать! — не верит Васена Власьева. — С чего бы ему помереть? Он и не болел никогда!

— Да человек адрес дал, где он лежит. В морге при больнице...

Васена Власьева долго не хотела верить. Потом все же собралась и вместе с Лукичевой Капой поехала в больницу. Долго добирались, пока наши. Приехали, а сторож говорит:

— Нет его здесь...

— Вот видишь, — хмыкает Васена Власьева, — я так и знала...

— Где же он? — спрашивает Лукичева.

— В церковь повезли, — отвечает сторож. — На панихиду. Отпевать будут...

— Как увезли? — удивляется Васена Власьева. — Кто же это распорядился?

— Батюшка какой-то приходил. Сказал: панихида заказана. Они и забрали... Это здесь, недалеко... Храм Всех Скорбящих...

Васена Власьева с Капой кинулись в церковь. Это и в самом деле близко — на соседней улице. Народу в храме никого. С левой стороны, недалеко от входа, гроб на возвышении. Возле гроба батюшка какой-то в рясе. Монах — не монах, высохший весь, глаза провалились, борода на поллице. С ним рядом еще кто-то, тоже будто ряженный, — штаны короткие, сюртук старомодный. В стороне две женские фигуры в черном, лица под вуалью. Больше никого...

Васена Власьева подошла к гробу, пригляделась, точно — Арсений.

— Надо же, — говорит она. — Разукрасили как... Он в жизни красавцем таким не был... — Она нагнулась над покойником. — Неужто ты умер, Арсений?..

И тут Лукичева Капа как вскрикнет. А Васена Власьева глаза таращит, понять ничего не может. Покойник в гробу вдруг поднялся и сел.

— Ты же знаешь, душа моя, как я тебя люблю. Как же я могу помереть? Тому, у кого послушание, помереть нельзя...

Васена Власьева только и вымолвила:

— Где же ты шляется, бродяга?

Но Арсений уже ничего больше не ответил. Откинулся на спину, руки на груди сложил и умолк. А Васена Власьевна все пытается его:

— Да где же ты, Арсений?

И тут слышит над собой голос:

— Он теперь в горних селениях...

Обернулась — тот самый монах. На груди крест, драгоценные камни блестят.

— Ему за его подвиг венец нетленный положен,— говорит монах.— Подвиг смирения и послушания...

— Ишь, чего придумали — венец! — бормочет Васена Власьевна.— А вы кто такой?

— Раб Божий,— отвечает монах.— Смиранный настоятель Новгородского Юрьевского монастыря... Волею Всевышнего — архимандрит... Фотий я...

Васена Власьевна так на него и уставилась.

— Вон и Алексей Андреевич здесь, граф Аракчеев,— указывает монах на соседа.— Наш Георгий Победоносец... Спаси его Господь!

Тут одна из дам под вуалью подходит к гробу.

— Федор Кузьмич очень любил покойного. Называл святым послушником. Говорил: терпение и есть путь любви. И у апостола Павла: любовь все переносит и долготерпит...

— Да, баронесса,— отозвался ряженный, в коротких штанах.— Федор Кузьмич уважал покойного. Не так ли, мадам Ленорман?

Тут и вторая дама под вуалью к гробу подходит.

— Терпением человек получает жизнь вечную... Живой он! Живой!

Васена Власьевна тут не выдержала, за рукав Капу тянет:

— Чертовщина какая-то! Пошли отсюда!

Выскочили они из церкви и скорей домой — от греха подальше. А ночью видит Васена Власьевна сон. Будто бы Федор Кузьмич завел у себя какую-то дикую собаку. Да такую огромную, какой она никогда и не видела. Собака лежала в коридоре и никого не пропускала. Лукичев приоткрыл было свою дверь, так она его чуть не загрызла. Вот Васена Власьевна и говорит Арсению, а он живой, рядом: «Ступай на кухню, поставь чайник». «Как же я пойду, когда там собака?» — спрашивает Арсений. А Васена Власьевна ему ошейник протягивает. Вышел Арсений, Васена Власьевна сидит, ждет его. Вскоре он возвращается и собаку за собой ведет, тихую, смирную. Только Васена Власьевна не удержалась и по спине Арсения кулаком: «Зачем же ты, дурак, собаку сюда привел?» Арсений тогда ушел с собакой и больше не появлялся.

Утром проснулась Васена Власьевна, думает: к чему бы этот сон? «Уж не привиделось ли мне все это — церковь, отпевание?»

И снова она поехала в Храм Всех Скорбящих. Никакого гроба там уже, конечно, не было. Людей вчерашних тоже никого. Пошла тогда Васена Власьевна на кладбище, что сразу за церковью. Долго ходила, а потом в самом конце, у ограды, увидела свежую могилу. На деревянной табличке имени никакого нет, только надпись: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою».

Спрашивала Васена Власьевна в конторе: чья это могила? Ей сказали, что вчера хоронили кого-то, а документы еще не оформили. И Васена Власьевна стала ездить на эту могилу. Цветы посадила, ухаживала, убиралась. Хотя так твердо и не знала, кто же все-таки там похоронен.

НЕ СТОРОЖ БРАТУ СВОЕМУ

Про Серафима в городе говорили разное. Семенчук, к примеру, который газетами у вокзала торгует, тот прямо заявлял:

— Беглый он. Перебежчик. Не иначе, как оттуда. С той стороны.

И большим пальцем себе за спину показывал. Тогда в этих местах толь-

ко-только новую границу с немцами сделали, после того, как Польшу поделили. Как раз по реке Буг. А от города до реки Буг рукой подать — меньше часа езды.

Откуда Серафим в городе взялся, и в самом деле неизвестно. Явился в один прекрасный день и живет себе в заброшенном доме на окраине.

Многие и вовсе всерьез его не принимали. Дескать, клоун, шут гороховый. Сипачев, слесарь, уверял, что вот-вот за ним санитары из психушки приедут.

Ну, что правда, то правда, чудил Серафим на каждом шагу. Что ни день — новая затея. В городе только и разговор:

— Вы не слышали, что вчера Серафим учудил?

Вот идет он, к примеру, мимо церкви, ее местные власти все закрыть собираются, никак не закроют. Остановится — и давай камнями в купол швырять.

Или еще возле пивнушки. Подойдет к двери и начинает поклоны класть и креститься.

А то другой случай. Увидел как-то двух братьев-близнецов Савельевых, Никишу и Досю, и на колени перед ними, прямо в грязь. Те испугались, убежали.

— Дурит,— говорил Бесищев из керосинной лавки.— Одно слово — юродивый.

А тут еще Феня, дурочка городская, по рынку ходит.

— Знаю я, кто он такой,— говорит.

— Ну, кто же, кто? — пристают к ней.

— Ангел он небесный!

Все так и попадали со смеху.

— Уморила! Нашла ангела!

— Да какой же он ангел? — помирает от смеха Истошкин, носильщик с вокзала.

— А вот такой,— отвечает Феня, сама на одной ножке прыгает.— Помните, как Катерина Савельевна двойняшек рожала? Чуть Богу душу не отдала...

Все, конечно, хорошо знали семью Савельевых. Самые бедняки в городе. Мать одна детей растит, из сил выбивается. Отец пропал больше десяти лет назад. Приехали за ним на машине и увезли куда-то. Потом дошли слухи, что он враг народа. Ребята его, Никифор и Евдоким, в школу уже ходили, а все так и были — дети врага народа.

— Вот посылает Боженька ангела к Катерине душу ее забрать,— продолжает Феня.— Посмотрел ангел на ее младенцев, жалко их стало. Не взял он душу Катерины, полетел обратно. «Ослушался,— говорит,— прости. Два младенца там, чем они питаться станут?» А Боженька вот что сделал. Взял жезл, ударил в камень и разбил его надвое. «Что видишь там?» — спрашивает. «Двух червячков вижу»,— отвечает ангел. «Так вот,— говорит Боженька,— кто питает этих червячков, пропитал бы и двух младенцев». Отнял он крылья у ангела и выгнал на землю.

— Ну и что? — спрашивают.— При чем здесь Серафим?

— Серафим и есть тот самый ангел...

Все вокруг хохочут без удержу, дразнят Феню, щиплют ее, она только отбивается.

— Он потому перед братьями Савельевыми в грязь упал... Из-за них крыльев лишился...

— Дурная, она и есть дурная,— заключил Бесищев, керосинщик.— Надо же такое сочинить...

— А это мы сейчас спросим, какой он ангел! — хохочет Истошкин.

Послали слесаря Сипачева за Серафимом. Тот долго не возвращался. Наконец является, с ним Серафим.

— Скажи, Серафим, для чего ты в церковь камнями швырлял? — хитро

так, с подвохом, спрашивает Истошкин. Сам голову наклонил ухом к земле, на Серафима не смотрит.

Серафим сначала отвечать не хотел, потом видит — люди вокруг обступили его, не пускают, он и говорит:

— А я увидел — нечистая сила кружит на храмом, так и лепится на крест. Я и стал сшибать ее камнями. Разве это та церковь, какая была? Грех один...

Тогда Истошкин другой вопрос задает, тоже с подвохом, и людям подмигивает:

— Ну хорошо, а почему ты на пивнушку молился?

— Это уж совсем просто,— весело так отвечает Серафим.— Народ в пивнушке пьет, гуляет, о смертном часе не думает. Я и помолился Богу, чтоб не допускал их до смертной гибели...

Все смотрят на Серафима, не знают, смеяться или нет. Расступились, пропустили его. А как он ушел, Истошкин огляделся по сторонам и говорит:

— Я так полагаю, чекист он из НКВД. К нам прислали, проверить... Как настроение, нет ли измены... Граница-то вон она, рядом.

Бесищев делает круглые глаза и шепчет:

— А может, он и есть немецкий шпион?

Здесь вмешивается Семенчук Евкарпий Семенович:

— Вы тут провокации не разводите! Никакой войны не должно быть! У нас с Германией договор!

А Серафим между тем не унимается. Ходит по городу и всем, кого встретит, кусочки хлеба раздает.

— Возьмите, возьмите... Пригодится...

Феня, дурочка, так и сказала:

— Это, значит, точно война будет!

Истошкин, как услышал эти ее слова, сразу говорит:

— Так и есть! Диверсант он, этот Серафим, вот что! Арестовать его надо!

И вот то ли услышал кто Истошкина, то ли еще по какой причине, только в один прекрасный день являются к дому Серафима люди в форме. Стучали, стучали, никто не открывает. Взломали дверь, а в квартире — никого, пусто. Серафим как в воду канул.

Ну а в городе — новые перемены. Военных нагнали видимо-невидимо, будто не город, а военный лагерь. Возле станции за высоким забором базу какую-то сделали — мастерские там, склады. Что ни день — гонят туда на работу местное население. Никиша с Досей тоже вместе со всеми ходили вагоны разгружать. Они тогда только школу окончили.

А однажды ночью, это уже во второй половине июня, братья проснулись от страшного грохота. Матери дома не было, дежурила в больнице. С потолка штукатурка сыплется, стекла на окнах вдребезги, а на улице — багровое зарево. Выскочили братья наружу, возле дома — Истошкин.

— Зажигательные кидают!

— Кто кидает-то?

— Кто, кто... Немцы!

И рукой вверх показывает. Оттуда гул ровный такой, тяжелый — самолеты летят. Мимо офицер какой-то бежит, на ходу пистолет из кобуры вытаскивает.

— Ну, что стоите? — закричал он на Никишу и Досю.— Живо на базу! Пожар тушить! Не видите — горит?

Истошкин побежал следом за офицером, ладонь к кепке прикладывает:

— Товарищ! Куда жену и детей девать? Какие приказания будут?

— Все на базу! — снова кричит офицер.

У ворот базы уже полно народу. Из ворот дежурный выскочил с повязкой на рукаве.

— Немцы границу переходят! Война!

Тут как раз грузовики подъехали, три машины. Офицер кричит:

— Оборудование грузите! Зеленые ящики! Ящики в первую очередь! — И опять на Никишу с Досей:

— Ну, чего ждете? Был же приказ — грузить!

И побежал дальше. Никиша с Досей вместе со всеми стали грузить ящики. А как кончили — новый приказ:

— По машинам! Эвакуация!

Возле Никиши с Досей все тот же офицер.

— В машину живо!

Никиша с Досей забрались в кузов вслед за другими, сидят на ящиках, ждут.

— Вот мама удивится, — тоскливо так говорит Дося. — Прибежит домой, а нас нету.

Не заметили, как рассветать стало. И тут видят — по ту сторону дороги из леса красноармейцы поодиночке выбегают и врассыпную кто куда. Все низенькие, смуглые, не то узбеки, не то туркмены. Последним выскочил сержант, пожилой уже, с усами. Рукой машет.

— Немцы идут! Скоро здесь будут!

Офицер, который все время здесь командовал, тут же вскочил в первую машину, и грузовики тронулись. К вечеру прибыли в какой-то поселок. Офицер побежал в штаб, долго его не было, потом возвращается.

— Будем здесь создавать линию обороны!

Утром пригнали из соседнего села женщин с лопатами на подмогу. Никиша с Досей тоже рыли окопы вместе со всеми. Копают, копают, потом смотрят — а рядом Серафим, тоже копает.

— Откуда ты взялся? — удивляются.

А Серафим поглядел на них и вдруг как закричит:

— Ложись!

— Зачем? — удивляется Дося.

А Серафим их не слушает, толкнул в какую-то яму.

И тут в небе немецкий самолет. Кружит, кружит, один заход, другой. Думали, сейчас бомбы бросать будет, а он только из пулемета пострелял. Двух человек убило. Колхозницы, конечно, все врассыпную. Лопаты побросали, кричат. Самолет уже давно улетел, а их все собрать не могут — попрятались: кто в овраг, кто в рощу, какие и вовсе обратно в село убежали.

На другой день приезжает из штаба легковая машина. Вылезает полковник, толстый, потный, шею платком вытирает. Поглядел на работающих и говорит:

— Прекратить работу!

Офицер с базы тут как тут, руку к козырьку. Полковник ему:

— Окопы больше рыть не будем...

А после обеда выдали всем военную форму — гимнастерка, сапоги. Серафима тоже вырядили. Гимнастерка ему велика, висит, как на вешалке, все смеются.

— Вы теперь не лопатники, а бойцы Красной Армии, — сказал полковник. — Красноармейцы. Будете на этом рубеже оборону держать.

— А оружие? — спросил кто-то. — Как же без оружия?

— Будет вам и оружие, — пообещал полковник.

Никиша с Досей смотрят друг на друга, Никиша и говорит:

— Вот бы мама нас видела. Она, наверное, с ног сбилась, ищет, найти не может.

— Как бы ей весточку передать? — откликается Дося. — Живы, мол, и здоровы...

А Серафим вдруг и говорит:

— А ты съезди к ней. Как выйдешь на шоссе, лови попутку — и домой.

— Что ты! Что ты! — замахал на него рукой Никиша. — Разве можно?

Только ночью Дося исчез, с ним еще парень какой-то в кепке, который рядом работал. Парень, правда, скоро вернулся. Говорит, что позади, возле шоссе, заслоны стоят. Кто самовольно с передовой уходит, в того стреляют из пулемета без предупреждения.

— А Дося где? — спрашивает Никиша.

— Кто его знает? Вышли вместе. Потом он потерялся.

Никиша все переживал за брата, а Серафим его успокаивал:

— Да жив твой Дося. Не суждено ему раньше срока пропасть...

На другой день рано утром приезжает грузовая машина. Из кабины офицер выходит, младший лейтенант. Совсем молоденький, кажется, что одних лет с Никишей. Оглядел всех и пальцем в Никишу тычет:

— Поедете со мной в город... Оружие получать...

Ну, ехать, так ехать, делать нечего. Серафим простился с Никишей, будто на долгую разлуку.

— Ты что? — даже удивился Никиша. — Вечером же увидимся.

Забрался он в кузов, тронулись. Только из леса выехали, село какое-то. На улице тишина, куры в пыли копошатся, поросенок бродит. В огороде старушка возится, дети тут же. На пороге одного из домов стоит женщина, молодая, красивая, глаз не оторвать. Шофер остановил возле нее машину.

— Ахнешь, дядя, на тетку глядя... В город по какой дороге, тетя?

Женщина махнула вперед рукой и ушла в дом. Покатили дальше. Как село кончилось, впереди — развилка. Стали гадать, по какой дороге ехать. Вышло так, что лучше прямо, как ехали. Хотели уже трогаться, а из кустов красноармейцы выскакивают.

— Куда вас черт несет? Там немцы! Сворачивай в сторону!

Свернули на другую дорогу, поехали. Вокруг ни души, тишина. Вдруг шофер резко тормозит машину и тут же начинает разворачиваться, да не справился — и под откос. Никиша чуть из кузова не вылетел. Головой так о кабину стукнулся, что разбил лоб, все лицо в крови. Выбрался на землю, поднял голову, а на дороге немцы стоят. Рукава мундиров засучены, на поясах каски круглые. Офицер немецкий что-то говорит, а солдаты смеются. Один из них направил на Никишу автомат и губами так сделал: «Пуф! Пуф!»

Два солдата спустились к машине, вытащили из кабины шофера и младшего лейтенанта, повели наверх, на дорогу. Другой солдат повел за ними следом Никишу. Вот идут они обратно в село, из которого только что выехали. А на главной улице уже большая толпа пленных. Привели всех в большой колхозный сарай, заперли, выставили охрану. Есть в этот день ничего не дали, только ведро воды поставили.

На следующее утро, рано еще, возле сарая машины тархтят. Открыли двери, стали пленных по очереди выводить. А во дворе грузовики, крытые брезентом, солдаты немецкие в два ряда с винтовками.

Привезли в город, на железнодорожную станцию, там уже состав на путях. Распихали всех по вагонам. Окна закрыты, воздух тяжелый, теснота. Посреди железный чан, накрытый фанерой, у дверей бочонок с водой. Поезд шел весь день и всю ночь. Утром долго где-то стояли. Наконец двери открыли, велели вылезать. Построили в колонну, повели по городу. На улицах ни одного жителя, одни солдаты немецкие.

Никиша держался рядом с шофером Редькиным и младшим лейтенантом Коноплевым, с которыми вместе и попал в плен. Редькин все оглядывался по сторонам.

— Ехала кума неведомо куда...

А Коноплев прочитал вывеску над магазином и говорит:

— Польша...

Колонну провели через весь город на самую окраину. Там, на краю поля, — бараки за колючей проволокой. По углам вышки с пулеметами и прожекторами. Коноплева сразу же отделили и увели куда-то вместе с другими

офицерами, сказали — в другой лагерь, офицерский. А Никишу с Редькиным определили в барак, где было уже полно народу, все нары заняты.

Вот лежат они вечером на самом верху, сосед их, бывший летчик Подтягин, рассказывает:

— Немцы здесь только так, для порядка. Всем заправляют русские... Гусев, полковник, начальник полиции... Юрка Полевой, лейтенант, танкист... Капитан Степков из артиллерии, усатый такой... Другие еще... С этими беда, — продолжает Подтягин. — Свирепствуют почем зря. Грабят, чуть что — дубинкой... На кухне командуют. Захотят — без обеда останешься...

Рядом на нарах лежал какой-то совсем мальчишка по виду. Он как услышал про полицаев, голову поднял.

— Какие же это полицаи? Это и не полицаи вовсе. Я однажды заглянул к ним в комнату, они там в карты играли. Только смотрю — ноги у них мохнатые, а за ушами рога, маленькие такие, их и не видно.

— Тарас это, Тасик, — кивает Подтягин на мальчишку.

А Тасик поднялся на локте и пристально так на Никишу смотрит.

— Тебя как зовут? — спрашивает. — Может, Никифор?

— Точно — Никифор! — удивился Никиша. — Как ты узнал?

Тасик лег на спину, в потолок уставился.

— Ночью женщина какая-то сюда приходила. Ходит по бараку, будто ищет кого. Я спрашиваю: кто вам нужен? А она мне: сын здесь у меня, Никифор... Я ему сказать должна, что убили меня бомбой... Нет меня в живых... Четыре года как уже нету. А я думаю: как же четыре года? Войне-то год всего... Выходит, думаю, мертвые тоже могут ошибаться...

Каждое утро, как поднимали пленных, из барачков вытаскивали умерших ночью и складывали у входа. Прикроют тряпками, они так и лежат, пока подвода не приедет. Сваливали мертвых в общую могилу — большую яму недалеко от лагеря. Яма эта все время наполнялась, и надо было рыть ее дальше.

И вот как-то осенью, холодно уже было, Никишу вместе с другими отравили копать эту яму. Пленные копали, поодаль стояли два немецких солдата с винтовками, разговаривали. А усатый полицай Степков ходил вдоль ямы и стегал плеткой работающих, просто так, для развлечения. Проходил мимо Никиши и хлестнул его по спине.

Редькин не выдержал и сказал что-то. Тогда Степков повернулся к нему и ударил сапогом. Редькин так и повалился в яму.

Тут один из немецких солдат, пожилой уже, подошел к Степкову и сильно толкнул прикладом в спину. Степков полетел в яму, рядом с Редькиным. Немец лопату ему кинул.

— Работа... Работа...

Второй солдат засмеялся. «Чудно, — думал Никиша. — Немец защищает пленного от русского».

Вечером в бараке Редькин жаловался:

— Что за люди эти полицаи? Откуда такая ненависть? К своим же землякам!

— Я так полагаю, что это агенты НКВД, — сказал Подтягин. — Специально в лагерь заброшены. Чтобы жизнь здесь была страшнее смерти в бою.

Тут Тасик поднял голову.

— Вы не беспокойтесь... Я все рассказал фюреру...

— Какому фюреру? — удивляется Редькин.

— Гитлеру. Ко мне ночью Гитлер приходил. Фуражка, усики. Я ему все рассказал — о наших мучениях, о полицаях. Вы не волнуйтесь. Он порядок наведет.

А когда зима прошла, весной уже, повели Никишу как-то вместе с другими на ферму. Работа не тяжелая — сараи почистить, на скотном дворе убрать. Кормил фермер хорошо — суп со свиной, хлеб свежий. Никиша

быстро управился с работой в свинарнике, потом заглянул на конюшню. Смотрит и глазам не верит. Даже не узнал сразу: неужто Серафим? Точно — стоит Серафим, лошадей чистит. Все та же гимнастерка на нем большая, висит, как на вешалке.

А Серафим подошел к Никише и достает из-за пазухи платок с крупными красными цветами. Никиша сразу узнал его.

— Мамин платок... Откуда он у тебя?

— Дом ваш разбомбило,— отвечает Серафим.— Матушка там под обломками... И схоронить было некому. Я все сделал...

— А я знаю про маму,— говорит вдруг Никиша.

Он сначала даже не плакал, только сказал:

— Теперь у меня один Дося остался... Больше никого...

Никишу еще раз послали на ферму. Приходит он, а Серафим мешок ему протягивает. Заглянул Никиша — там хлеб, картошка, из белья что-то.

— Откуда это? — спрашивает.

— Бери, бери. Пригодится.

Ну, так оно и вышло. На другой день утром выстраивают лагерников перед комендантским домом. Стали по списку проверять, отбирать тех, кто прибыл с последней партией. Когда отобрали, дали команду — выходить за ворота.

Никиша и Редькин простились с Подтягиным и Тасиком, обнялись. Тасик сказал:

— Сегодня у меня отец в гостях был. Стоит во всем военном. Его в артиллерию взяли. Потом гляжу, а он уже без ног. «Где твои ноги?» — спрашиваю. А он вот что мне дает.

И Тасик показывает какой-то бесформенный кусок металла.

— Что это? — спрашивает Никиша.

— Осколок артиллерийского снаряда,— отвечает Тасик.— Тебе на память, говорит.

А конвоиры торопят, кричат. Тасика отогнали в сторону. Повели колонну снова через весь город, на железнодорожную станцию. Там те же вагоны, окна, двери закрыты, и в путь. Везли долго, часто стояли. Потом вдруг окна открыли. Все, конечно, столпились, в очередь встали в окно глядеть. Когда Никишина очередь подошла, смотрит он — чистые домики, ухоженные дороги. Люди хорошо одеты, много велосипедов. Все как на картинке. Кто-то сказал:

— Вот и Германия...

Наконец станция. Высадили всех, построили в колонну и повели по городку. Чистые улицы, возле домов люди на стульях сидят, газеты читают, кофе пьют. Матери с детьми гуляют. А сразу за городом — лагерь. Все как обычно: колючая проволока, бараки. Весь лагерь поделен проволокой на зоны. В одной зоне — пленные англичане, в другой — французы. В русской зоне бараков не было, пленных разместили на первое время в бывших конюшнях. На полу солома, и запах сильный.

Первые дни кормили скудно — бryквенная баланда да черствый хлеб. Спасибо, французы выручали. Им приходили посылки из Красного Креста. Такие посылки получали все пленные, кроме русских. Так вот французы ухитрились через колючую проволоку передавать русским тушенку, печенье.

Только русские скоро приспособились — устроили в лагере рынок. Стали делать товар для обмена — кружки из консервных банок с проволочными ручками, деревянные ложки, ножи из гвоздей, какие-то колечки. Меняли на бryкву или картошку. Дальше — больше. У себя в конюшне устроили мастерские. Делали тапочки из старых шинелей, Никиша плел корзины, Редькин вытачивал птичек из дерева. Все эти поделки нравились немцам, они охотно меняли их на еду. Жить было можно.

Работать водили на аэродром рядом с лагерем. Там держали немецких

солдат перед отправкой на фронт. Как-то Никиша работал в подвале, к нему Редькин спускается.

— Там зовут тебя... Иди...

Поднялся Никиша наверх, и опять перед ним Серафим. Как глянул он на Никишу, только передернулся весь. На Никишу и впрямь в эти дни жалко было смотреть. На лице, на шее — нарывы. Он бороду и усы отрастил, чтобы рот щербатый прикрыть. Зубы ему еще в польском лагере полицай Стейков выбил. Руки и ноги опухли и отекли. Серафим говорит:

— Другую работу тебе надо. Передохнуть немного, в себя прийти...

И вот через день на утренней проверке отбирают команду — семь человек — работать в женском монастыре. Там теперь госпиталь для немецких солдат. И Никишу определили в эту команду. Работа нетяжелая — наколоть дрова для кухни, помочь в огороде. И обед хороший — суп гороховый, каша с маслом.

Вот ведет их по улице охранник — коротышка, лицо сморщенное, как у старика. Навстречу офицер на велосипеде. Остановил команду, спрашивает что-то у конвоира. А потом вдруг сразу давай кричать на него. Один из пленных знал кое-как немецкий, он и передает:

— Распекает... Говорит, покойников быстрее носят, чем он команду ведет.

Когда офицер укатил, конвоир погнал пленных бегом. Никиша сначала бежал вместе со всеми, а потом не выдержал, стал отставать. Тогда конвоир подскочил к нему, ударил раз, другой, потом еще, все лицо в кровь разбил.

Когда пришли в монастырь, Никиша был весь в крови. Игуменя, которая всегда встречала их и распределяла по работам, только ахнула. Забрала она Никишу с собой, привела в свою комнату, усадила на диван, нанесла еды всякой. Сидит напротив, смотрит, как Никиша ест, на глазах слезы. Никише тогда казалось, что игуменя точь-в-точь его покойная мать. Он вдруг возьми и начни ни с того ни с сего рассказывать ей о Досе:

— Он у меня один остался. Боюсь я за него. Он у нас невезучий. Всегда с ним что-то случается. Щенка как-то везли в сумке, так щенок искусал его. Под Новый год кипятком ошпарился. Хотел чаю налить, да чайник на себя и опрокинул. Сколько раз падал, то с лестницы, то с крыши. Господи, лишь бы он живой был...

Игуменя слушает его, головой кивает, будто все ей понятно.

Когда Никишу снова отправили на аэродром, пошел он искать Серафима. Искал, искал, потом наткнулся. Серафим ходит по комнатам с корзиной яблоч и раздаёт их немецким солдатам.

— Что это ты? — спрашивает Никиша. — Опять чудить вздумал?

А Серафим отвечает:

— Дела немцев на фронте совсем плохи. Русские все ближе и ближе. Вот-вот здесь будут.

В эти дни шли сильные бомбежки. Лагерников теперь все время водили в город на расчистку улиц. Вот когда пошла хорошая жизнь. Разрушенные дома стояли пустые, заходи и бери что хочешь. Никиша обзавелся немецкой одеждой — теплая куртка с «молнией», ботинки на толстой подошве.

Редькин посмотрел на него и сказал:

— Ну, ты чистый иностранец.

Редькин тоже приоделся — зеленый пиджак, какой-то пуховый картуз табачного цвета, сандалии.

Потом по лагерю пошел слух, что всех пленных будут расстреливать, как только русские подойдут к городу.

— Думай — не думай, а к смерти ближе, — сказал Редькин.

И, хотя Серафим уговаривал не верить этим разговорам, Редькин убедил Никишу бежать. Охрана за пленными почти не смотрела, многие охранники просто скрылись. Оружие побросали и ушли.

Редькин знал место возле выгребной ямы, где можно пролезть под проволокой. И вот ночью выломали они доску в бараке и ушли. Выбрались на улицу — и скорее из города. Там сразу в лес и вверх, на гору. Забрались в самую чащу, смотрят — яма глубокая. Расчистили ее, сверху набросали веток — топ и укрытие. Как рассветать стало, забрались в яму и затихли. Все бы ничего, только холодно. Март в самом начале, до тепла далеко.

Так они жили больше месяца. Днем таились в яме, а ночью выбирались наружу и спускались в город. Тащили из ближайших домов продукты — картошку, хлеб. Однажды удалось раздобыть теплое одеяло. Теперь в яме совсем хорошо стало.

В самом начале мая, дня три всего прошло, утром проснулись они от шума внизу, в городе. Спустились к дороге, выглянули из-за кустов — танки с красными звездами. Тут они стали обниматься, поздравлять друг друга.

— Теперь уж скоро домой! — радовался Никиша. — Досю наконец разыщу.

Привели они себя в порядок как могли, спустились в город. Только вид у них все равно страшный — небритые, обросшие, одежда грязная. Стоят они у дороги, мимо грузовики катят с солдатами. Никиша с Редькиным руками им машут, приветствуют. Тут одна машина вдруг затарахтела, дернулась и встала. Водитель из кабины выскочил и в мотор полез. Никиша с Редькиным кинулись к машине.

— Русские! Земляки!

А солдаты в кузове равнодушно так на них смотрят, многие и вовсе отворачиваются. Из кабины офицер вылез, вином от него тянет, глаза красные. Соскочил на землю и за кобуру хватается.

— Прочь отсюда, изменники! Пристрелю, как собак!

Никиша с Редькиным так и застыли на месте. А водитель поломку исправил, завел машину — и дальше. Редькин поглядел им вслед:

— Кума не мила — и гостинцы постыли...

На ночь забрались они в какой-то сарай. Редькин лег и сразу уснул. А Никише не спалось. Вышел он на улицу пройтись. Идет, народу никого, огня нет. Только свернул за угол, смотрит — на перекрестке костер. У костра солдаты с автоматами, четыре человека, на пилотках звездочки. Сидят они на земле, тряпки какие-то разбирают. А как ближе Никиша подошел, видит — за спинами солдат вроде как три больших креста, к которым люди привязаны, почти раздетые. На среднем кресте — бородатый, венец на голове из колючек.

— Что вы здесь делаете? — спрашивает Никиша у солдат.

— Не видишь, разбойников сторожим, — весело так отвечает один белобрысый, конопатый, нос пуговкой. — Чтобы не утащили...

— Так ведь это же Христос, — говорит Никиша.

— А нам все равно, кто! — смеются солдаты и продолжают разбирать одежду, делить между собой рубашки, носки, белье.

— Как плащ делить будем? — спрашивает белобрысый. — Кому отдадим?

— Кинем жребий, — предлагает другой.

И они стали тянуть спички, кому какая достанется.

Вернулся Никиша в сарай, еле дождался утра и снова побежал на перекресток. Только крестов там никаких не было, солдат тоже. Лишь на земле чернело большое пятно от костра. «Что же это было?» — терялся в догадках Никиша.

А русских солдат прибывало в город все больше и больше. Никиша у всех, кого встречал, спрашивал:

— Брата моего, Евдокима Савельева, не встречали?

Но от него только отмахивались, никто не разговаривал. А однажды вдруг кто-то сказал:

— Знаю я про твоего брата...

Обернулся Никиша — так и есть: Серафим. Никиша даже не удивился. Вот Серафим и рассказывает:

— Ушел Дося тогда к шоссе, а там — заслоны. Стрелять начали. Дося испугался, в каком-то дворе спрятался. Хозяйка дома оказалась старица, которая просфоры для церкви пекла. Потом они вместе по монастырям ходить стали. До самой Сибири дошли. Там Дося и остался. Построил скит в лесу и живет отшельником.

— Вот вернусь домой — разыщу,— говорит Никиша.— Теперь уже скоро!

А Серафим только головой качает:

— Ты уж не беспокойся... Я передам ему весточку от тебя...

А еще через месяц Никишу с Редькиным арестовали. Доставили их в тот самый лагерь, откуда они бежали. Теперь этот лагерь назывался репатриационным. Внутри все как было, так и осталось. Разве что вторая линия проволоки появилась. И охранники теперь не немецкие, а русские. Пленные все знакомые, с кем Никиша здесь сидел.

Полковник с бритой головой сказал, что возвращаться домой поодиночке не разрешается. Их всех скоро отправят на родину в организованном порядке эшелонами. Вот только комиссию проверочную пройти надо.

Ну а как комиссию прошли, построили всех и повели на станцию. Там уже стоял состав, точно такой, какой привез их сюда, в Германию. Командовал посадкой офицер в форме НКВД. Когда все перед ним выстроились, он сказал:

— Родина вам все простила! Родина ждет вас! Вы теперь должны послужить ей. Искупить свою вину! Есть постановление. Всем, кто был в Германии, отработать четыре года на родине.

После этого рассадили всех по вагонам, заперли двери, и состав тронулся.

И вот однажды под Вяткой, в Кайских лесах, на первый комендантский лагерьный пункт прибыл этап. Поселили людей в бараках, места всем хватило — нары с двух сторон в два этажа. По ночам, правда, холодно — осень уже глубокая. Но если растопить печь, жить можно. И еще вот крысы. Их такое множество, что ничего поделаться с ними нельзя. Бегают прямо по людям. С первых же дней вновь прибывших стали выгонять на работу — разгружать платформы с лесом.

Как-то на разгрузке двое заключенных о чем-то поспорили. Один все кричал, горячился:

— Они думают, если я здесь, в лагере, так я ничто! А я, может быть, дворянин! По материнской линии... Старинный род! Прямые потомки Рюриковичей. Есть документы! Огромные поместья! У меня и печать с гербом есть.

Другой его успокаивал:

— Да будет тебе! Кому нужны твои поместья?

Поговорили они так и разошлись. Один из них, тот, что успокаивал, был Никифор Савельев, Никиша.

Дней через десять новеньких стали разводить по лагерным пунктам. Большинство — на лесоповал, шесть километров туда и шесть обратно. Никише, правда, повезло — попал в механические мастерские. С шести утра до шести вечера отпиливать грани у гаек. Вечером перед сном — черпак жидкой баланды и кусочек хлеба. Этого, конечно, было мало. Никиша стал менять вещи и одежду, которые привез из Германии. Вскоре весь его трофейный запас кончился. Особенно доволен был вольнонаемный слесарь Семенчук из депо. Ему досталась куртка с меховым воротником, потом немецкая рубашка. И все за несколько кусков сала.

— Ну что? — спрашивал Никишу начальник лагерного пункта Мордачев.— В немецком плену лучше было?

— Нет, здесь лучше,— отвечал Никиша.— Все-таки дома, на родине.

Он вспомнил, как стояли на границе — там меняли состав, и он увидел мальчишку, похожего на Досю тех, довоенных лет. Мальчишка стоял и смотрел на лагерников, а на голове у него был какой-то смешной веночек из ромашек. Никиша чуть не заплакал тогда. Потом какие-то девочки на откосе махали поезду руками. «Так только в России и машут поездам», — думал тогда Никиша.

— Нет, здесь лучше...

Только напрасно он так бодрился. Зимой он еще кое-как протянул, а весной не выдержал, слег. Отправили его в лагерную больницу. На верхние нары в больничном бараке Никиша забраться уже не мог, сил не было, положили его вниз.

В первую же ночь увидел Никиша брата Досю, да как-то странно, ничего понять было нельзя. То будто Досю на небесах в светлых одеждах, то в берлоге какой-то вроде как в звериной шкуре. Никиша тогда еще подумал: «Хоть бы Серафиму удалось его разыскать... Где-то он теперь?»

А Серафим в это время был далеко от Вятки — в глухих сибирских лесах. Который день бродил он по лесным дорогам. Наконец в одной деревне ему сказали: есть, мол, такой отшельник, на берегу реки его жилище. Забрался Серафим в самую чащу. И вот видит — на полянке, на пенечке сидит человек. Балахон на нем какой-то истрепанный, в руках корзиночка с грибами. Весь заросший, стариком кажется, хотя видно, что не старый еще. Вышел к нему Серафим и говорит:

— Я тебе от брата Никифора весточку принес...

Серафим, конечно, отшельника сразу признал — Евдоким это, Досю. Досю не испугался, не удивился. Спокойно так спрашивает:

— Как он там? Живой?

— Живой-то живой... Мыкается, горемычный. Из одного лагеря в другой. Сначала у немцев, теперь у своих... Сколько перенес...

— Господи, — вздыхает Досю. — Помоги ему Матерь Божья...

Поднялся он с пенечки и повел Серафима к себе. Маленький, тесный сарайчик с одним окошком. Воздух внутри свежий, хорошо так пахнет. На стене иконка Божией Матери, лампадка. Повсюду пучки сухих трав. У двери — лежанка из досок, вместо стола — чурбачок. В другом углу — печка. Досю поставил чайник, растопил печь.

— Небогато у тебя, — оглядывает жилище Серафим.

— А мне ничего и не надо, — отвечает Досю. — Чего же больше? Выйдешь на опушку — красота кругом! Солнышко светит, деревья шумят. Так сладко делается. Вижу — лисичка бежит. Вот мне и хорошо.

— Чем же ты живешь? Ведь есть же надо...

— А у меня огородик. Капустка, морковка, редька. Картошку сажаю. Потом люди из деревни приносят. Кто хлебца, кто молочка. Иной раз рыбки наловишь. Что мне еще надо?

— Как же — все время один...

— Зачем один? Зайчишка тут ко мне прибегает. Я ему капустки вынесу.

— А зимой не скучно?

— И зимой хорошо. Снег расчищаю. Птичкам корки хлебные крошу. Снегири, синички. Что зима, что лето — одинаковая благодать и красота.

— А волки? Волков не боишься?

— Бояться волков — быть без грибков! — смеется Досю. — А чего их бояться? Есть другие хищники, которые внутри нас. Эти куда страшнее. Увижу волка, сразу вспоминаю про тех, других, что во мне. Так что волки — они тоже нужны...

— Так, так, — кивает головой Серафим. — Только как же тебя здесь не разыскали? Война ведь была. А ты вроде как дезертир...

— Да приходил тут один. В фуражке, в сапогах. Я думал — участковый. А это бес. Поглядел ему в глаза, он и рассыпался. Одни головешки остались. Этих бесов ко мне ходит видимо-невидимо. Каждый день. Да ты и сам, может, увидишь. Кто-нибудь непременно к вечеру явится...

И точно, как Дося думал, так оно и вышло. Сидят они с Серафимом, чай пьют. Дося капустку с редькой приготовил, угощает. Тут в дверь стучат. Открыл Дося — никого. А потом вдруг сразу, будто из воздуха, гость на пороге. Одет как-то странно — фуражка, китель довоенного образца со споротыми погонами.

— Вы кто? — спрашивает Дося.

— А я тот, — отвечает гость, — кто отца твоего уничтожил в тридцать седьмом. Ты небось отомстить за него хочешь? На вот, держи...

И протягивает Досе наган. Только Дося руку его отстраняет.

— Господь тебе судья...

— Да ты знаешь, сколько на мне крови? — кипятится гость. — Ты думаешь, только твой отец? Да за мной сотни таких, как он! Вraga я твой! Ты должен убить меня!

А Дося спокойно так говорит:

— Для меня все одинаковы. Виновные, невинные. Все одно...

Гость даже опешил.

— Как это одинаковы? Ты что же, не отличаешь правого от неправого? Красного от белого? Это как же понимать?

— А как солнышко светит? — отвечает Дося. — Сияет себе на всех без разбора, на праведных и неправедных. Я всех равно жалею. Без злобы и ненависти.

— Да ты погляди, что кругом творится! — не унимался гость. — Люди хуже волков! Глотки рвут друг другу!

— А я сам-то каков? — спрашивает Дося. — Я, может, еще хуже. Я, может, самый худший из всех...

— Что ж ты, ограбил кого или убил?

— А кто его знает, что бы я сделал, живи я среди людей. Я потому и бегу от них. Когда с людьми живешь, непременно в грех втянешься. Не хочешь, а втянешься. А здесь я никого не обижаю, не ругаюсь, не злюсь. Здесь я чист и всем доволен. Только в уединении и можно любить людей.

— Нет, дружок, — возражает гость. — В миру подвиг выше. Если не понесешь подвига среди людей, не сможешь и в уединении.

— Да какой там подвиг? — машет рукой Дося. — Никакого подвига и не надо. Жить только просто и никому зла не делать! Вот я живу себе, и мне хорошо. Долгов у меня нет, никого я не обманул. Нет у меня за душой дел незаконных. Потому и сон у меня сладкий.

Гость согнулся как-то крючком, вроде бы даже меньше ростом стал.

— Ишь, как устроился, — хихикает. — Люди гнили в окопах, в лагерях, а он здесь капустку с редькой трескает. Брат твой Никифор в лагере... А ты здесь... Вот и суди теперь, чей путь выше? Брата или твой? Один в страданиях и муках, другой в тишине и покое!

Дося сразу как-то загрустил, сгорбился.

— Брат-то он мой, да ум у него свой... У каждого своя дорога.

— Может, он уже погиб там, в лагере. Может, его уже в живых нет. Каин, Каин, где брат твой Авель? Почему ты не с ним? Вместе нести муки и скорби!

Дося долго молчал, потом говорит:

— Скорби — это не кара. Это испытание. Страдания — не зло для человека. Зло — это грех. Нам всем надо спастись для будущего царства.

— Что еще за будущее царство? — ехидно так спрашивает гость.

— Царство добра и справедливости. Где нет войн и лагерей. Нет беззакония и насилия. Блаженная земля... Свет не вечерний...

Гость даже в ладоши захолопал.

— Поглядите на него! В мире войны, кровь, революции! А у него — Свет не вечерний! Все бури над ним проходят! Ни в чем его нет!

— Я же говорю: надо готовить себя к будущему царству! — упрямо твердит Дося. — Само собой ничего не придет. Избавиться от тьмы в самом

себе! Очистить свое сердце! Никто тебя не спасет. Только ты сам. Лечи свою душу от ненависти! Вот тогда оно и наступит, будущее царство. А силой, оружием — только тьму сгущать.

Гость ничего не ответил, сам все стоит, не уходит. Дося с Серафимом чай пьют, между собой разговаривают.

— Вот и я теперь не знаю,— говорит Серафим,— чей же путь выше? Вот поди — угадай...

Тут он оглянулся, а гостя уж нет. Когда он исчез, никто не заметил, даже дверь не стукнула.

— Это еще ничего,— говорит Дося.— Тут ко мне император приходил.

— Какой император?

— А шут его знает. Лицо вроде знакомое, а какой — не знаю. Должно быть, последний русский царь, Николай Второй. А у меня, как назло, хоть шаром покати. Одни сухари да вода. Ну, угостил я его сухарями, а он говорит: «Счастливые вы люди, отшельники! Свободны от мирских забот. Только о собственном спасении и печетесь. Я вот царствую, а никогда не кушал с таким удовольствием, как сейчас. У меня ведь одни заботы. Революционеры, бомбы... Голова идет кругом...»

Долго еще Серафим с Досей беседовали, поздно уже, ночь. Оставил Дося Серафима ночевать, отдал ему свою лежанку, сам на полу устроился.

Утром их разбудил какой-то белобрысый мальчик из деревни, бутылку масла принес.

— Мамка велела передать. Отнеси, говорит, пустынному человеку. Может, говорит, он твою грыжу вылечит...

— Да какой я лекарь? — улыбается Дося.— Не лечу я никого. Приходят ко мне, думают — знахарь. А я всех обратно отсылаю. Говорю: я здесь не для других, а для себя. Я сам весь в язвах грехов и больше всех нуждаюсь в лечении.

Серафим поднялся и стал собираться. Как Дося его ни уговаривал остаться, Серафим ни в какую, даже чай пить не стал.

— Пора мне,— говорит.— Срок мой вышел. Вот мальчик меня и проводит, дорогу покажет.

Ушли они с белобрысым. А через полчаса, наверное, белобрысый бежит обратно. Запыхался, дух перевести не может. Сам трясется весь, глаза бегают.

— Что было! Что было!

Отдышался и рассказывает:

— Только из лесу мы вышли, стали к деревне подходить. Я впереди так немного. Потом оглянулся, а у него за спиной крылья. Большие такие, больше, чем у гусей. Испугался я. А он взмахнул крыльями и поднялся. Гляжу — уже летит. Прямо на небо...

Дося успокоил белобрысого, напоил чаем. Гладит его по голове, сам все время повторяет:

— Это ничего, это бывает... Ты успокойся... Теперь важно, чтобы брат мой Никифор спасся. А в будущем царстве мы с ним встретимся. И что нам за дело, какой у кого путь... Выше, ниже... Это и не важно... Нам бы только встретиться. Только бы поглядеть друг на друга...

ОПРАВДАНИЕ И СПАСЕНИЕ

Сначала-то, конечно, дома у Таси ни о чем не догадывались. Веру Косицыну все хорошо знали, они с Тасей в одном классе учились. Что ни день Вера у них в гостях. Сидит, слушает, как Тася на пианино этюды разучивает. Тася тогда музыкой занималась. И когда школу окончили, тоже не расставались, так и дружили. Вместе на курсы иностранных языков ходили, в переводчики готовились.

А однажды как-то приходит Вера Косицына в гости, Тася, как всегда, за пианино сидит, играет. Слушала Вера, слушала, потом и говорит:

— Ты моя лучшая подруга, Тася. Я прошу тебя быть моей свидетельницей. Замуж я выхожу.

Тася сказала:

— Хорошо, буду.

Стали они тут обниматься, целовать друг друга. А на другой день возвращается Тася от Веры, Ольга Леонтьевна только удивляется на свою дочь:

— Что с тобой, Тусечка? Будто светишься изнутри...

А Тася обняла ее — и давай кружить по комнате.

— Вера Косицына замуж выходит...

— Да знаю я,— отвечает Ольга Леонтьевна.— Очень рада за нее.

А Тася кружит ее, целует.

— Жениха я ее видела... Викентия...

— Это какой же Викентий? — спрашивает Ольга Леонтьевна.

— Фотограф он,— отвечает Тася. — У него ателье фотографическое.

А тут Дорик, младший брат Таси, рядом.

— Если хотите знать правду,— говорит,— это совсем не то, что вы думаете. Между нами говоря, это Синяя Борода. Семь жен. Одна жена в Сызрани, другая в Саратове, третья и вовсе не то в Кении, не то в Уганде.

Тася от брата рукой отмахивается.

— Будет тебе! Вечно ты со своими выдумками!

— Да что! — не унимается Дорик.— Четвертая жена у него вообще колдунья!

— Ведьма, что ли? — спрашивает бабушка, он тут как раз из комнаты своей вышел.

— Самая чистокровная,— отвечает Дорик. — Она чем занимается? Мертвых из гроба поднимает. Желает, к примеру, с усопшим побеседовать — к ней. Пятнадцать минут разговора — миллион. Деньги лопатой гребет.

— Мама! — кричит Тася.— Скажи, чтобы он замолчал!

Весь месяц готовилась Тася к свадьбе Веры Косицыной, платье новое шила: салатного цвета с розовым поясом. На левом плече букетик — анютины глазки.

— Для кого это ты так стараешься? — спрашивала Ольга Леонтьевна.

А к ним родственница дальняя приехала погостить — Эльза Егоровна, она и помогала шить Тасе. Крутит Эльза Егоровна машинку швейную, сама расспрашивает:

— Что ж это за Вера такая?

— Лучшая моя подруга,— отвечает Тася.

А рядом опять Дорик.

— Да уж куда лучше,— говорит он.— Целый выводок незаконных детей. Со счета сбились. Один у нее и вовсе с золотым зубом родился.

— Как это так? — недоумевает Эльза Егоровна.

— Очень просто,— отвечает Дорик. — Типичный случай инкарнации.

— Господи, это еще что?

— Да как вы не понимаете? Накануне у Веры Косицыной дед умер. А у деда как раз в нижней челюсти золотой зуб был. Вот душа старика и перешла в тело новорожденного вместе с золотым зубом.

— Опять ты за свое! — одергивает брата Тася.— Когда только угомонись?

— Вера, правда, этого младенца тогда в роддоме оставила,— продолжает Дорик.— А он теперь все время является к ней, вырос уже. Сядет рядом и за руку берет. «Мама,— говорит,— зачем ты это сделала? Знала бы ты, как мне плохо». Вера уже все монастыри вокруг пешком исходила, прощение вымаливала. А сын все является...

— Прекрати наконец! — говорит Ольга Леонтьевна.— Никаких привидений нет и не бывает.

Но тут вмешивается дедушка.

— Как это не бывает? — возмущается он. — А мой покойный батюшка? Сколько лет бродил по дому со своей деревянной ногой после похорон. А иной раз его деревянная нога сама собой разгуливала, с ней кот черный рядом.

— Да, да, — поддерживает его Эльза Егоровна. — Это бывает. У нас вот сосед в квартире раньше жил, заядлый охотник. Теперь-то он уж помер. Так каждое воскресенье по утрам из его комнаты собачий лай, пальба, крики. А никаких собак и ружей там нету.

В день свадьбы всем домом собрали Тасю, проводили ее. Эльза Егоровна нарочно шла за ней следом целый квартал, все смотрела, как платье сидит.

— В этом платье она всех покорит, — сказала она. — Помяните мое слово. Жениха еще отобьет...

А Дорик опять свое:

— Не будет проку от этой свадьбы, поверьте мне. Вон у Колупаевых с первого этажа тоже была свадьба. Гости веселятся, а старушка одна в это время с лестницы упала. Вот и не было потом счастья в этой семье.

Вернулась Тася на другой день утром, все уже встали. Ольга Леонтьевна смотрит на нее, узнать не может. Тася будто пьяная — хихикает без конца, напевает что-то.

— Знаете, какая бывает любовь? — говорит. — Вот, к примеру, одного человека любила женщина. А он взял и скрылся, уехал в Японию. А там к нему вдруг бабочка большая прилетает. И этот человек тут же умер.

— Ну и что? — спрашивает дедушка.

— А то, что бабочка эта была душой той самой женщины, которая любила его...

— Ерунда какая-то, — говорит Ольга Леонтьевна. — Начиталась книжек. Читать тебе меньше надо, вот что...

После свадьбы Тася, кажется, еще чаще стала бывать у Веры. Вечером приходит домой, за ужином рассказывает:

— Этот Викентий такой человек... Способности необыкновенные. В сне вещи пропавшие находит. У Верки тут как-то ножницы пропали. Она думала — из гостей кто стащил. А Викентий лег спать, утром просыпается и говорит: за шкафом ищи. И точно — лежат ножницы за шкафом.

— Я тоже знал такого, — говорит дедушка. — Зубы ему лечили... А он после этого лечения на греческом языке заговорил и будущее предсказывал. Вещи тоже пропавшие находил...

— Это что! — вмешивается Дорик. — У нас в классе один есть... Недыхляев фамилия. Так он по ночам с историческими личностями общается. С декабристами, белогвардейцами. Самое же интересное, что они ему подарки дарят. Он нам показывал. Чайная шкатулка декабриста Анненкова, японский клинок адмирала Колчака.

По выходным Вера с Викентием ездили на дачу, Тася всегда с ними. Возвращалась с цветами, свежая, веселая, фотографии с собой привозит — Викентий их там фотографировал. На снимках все радостные — Вера, Тася, сам Викентий, все улыбаются.

Дорик разглядывал фотографии, только губы поджимал.

— Плохо все это кончится, я вам говорю... Вот у Колупаевой с первого этажа тоже была дача. Так муж ее через эту дачу покойником было делался.

— Как это покойником? — спрашивает дедушка.

— А так, очень просто. Уехал на дачу и пропал. Колупаева через день кинулась за ним, а там от дачи одно пепелище. И от мужа — косточки обгорелые.

— Что ты несешь? — пугается Ольга Леонтьевна. — Я ничего не слышала об этом.

А Дорик как ни в чем не бывало:

— Ну, косточки, конечно, похоронили, все как положено. На девятый день собрались помянуть покойника, а он сам в дверь звонит. Колупаева, понятно, в обморок...

— Привидение, что ли? — спрашивает дедушка.

— Никакое не привидение. Там что вышло? Муж этот на дачу с двумя подругами поехал. Развлекались там, вино пили. Потом он с одной из них в город уехал, к ней домой. А другую, пьяную, оставили. Она закурила и уснула. Вот и сгорела.

Только Тася брата не слушает, она все о своем:

— Ведь какая любовь бывает на свете! Вы только послушайте! Один любил женщину, а она отвергла его. Он тогда уехал куда-то. А в дороге — гроза, его и убило молнией. Вот лежит он, весь черный, а на ладони у него отпечаток какой-то, как бы портрет. Пригляделись — лицо женщины. Это и была та самая, его любимая. А вы говорите, любви не бывает...

И опять про Викентия:

— А Викентий, он же герой! Вы еще не знаете, что было! Ночью на соседней даче пожар. Выскочили все, стоят смотрят. А Викентий в дом кинулся — там же люди. Пока пожарные приехали, он старика какого-то вывел и мальчика маленького. Потом кинулся снова: может, еще кто остался? Смотрит — шкаф в комнате. Открыл, а там в ящике — деньги. Когда уже после подсчитали — пять миллионов. Так Викентий все эти деньги в милицию сдал. Верка потом уж ругала его, ругала.

А на кухне после ужина, когда посуду мыли, Тася жаловалась Ольге Леонтьевне:

— Верка-то! Верка! Не ценит Викентия. У нее ведь еще до свадьбы роман был. С начальником паспортного стола. Так она и теперь с ним встречается. Гуляет. Я уж ей говорю: дура ты, дура...

И вдруг однажды, полгода, наверное, прошло, возвращается Тася домой поздно вечером, с ней мужчина какой-то. Высокий такой, бородавка на подбородке.

— Вот, — говорит Тася, — это Викентий... Он поживет пока у нас... Какое-то время...

На кухне Ольга Леонтьевна говорит дочери:

— Как же так, Тусенька? Женатый человек... В твоей комнате...

— Ему сейчас у себя нельзя, — отвечает Тася.

Викентий все дни дома сидел, в комнате Таси, никуда не выходил. Лежит на диване, каких-то букашек из проволоки и ореховой скорлупы мастерит. Весь стол ими заставил.

— Это он от своей четвертой жены скрывается, — говорит Дорик. — Которая ведьма...

— Господи, неужто в самом деле ведьма? — пугается Эльза Егоровна.

— Мало того! — продолжает Дорик. — Она еще что выкинула? Кошку как-то черную сварила. Кости все выбрала, села перед зеркалом и давай кости эти себе в рот класть. Шесть костей испробовала — ничего. А как седьмую положила — нет ее в зеркале, исчезла. Так и сделалась невидимкой.

Дорик пугливо озирается.

— Может, она сейчас здесь где-нибудь...

Тут дедушка из комнаты выходит:

— А знаете, почему батюшка мой покойный по дому ходил? Вина я ему на поминках не налил. Сели поминать, а я забыл. Потом, конечно, налил. А тут сосед входит. «Что это, — говорит, — у вас вино льется?»

Поднял я стопку, а у нее дно отвалилось, вот все и вытекло.

— Ну и к чему ты это рассказал? — спрашивает Ольга Леонтьевна.

А еще через несколько дней новое событие — является в дом милиция, два человека, Викентия спрашивают. Вышел он к ним, а они его сразу забрали и увели.

Тася после этого совсем не своя стала. Из комнаты не показывается, дверь на крючке держит. Ольга Леонтьевна извелась вся, стоя возле ее комнаты.

— Что произошло, доченька? — кричит она из-за двери. — Ты расскажи хоть...

Тася сначала ничего говорить не хотела. Потом все же не выдержала:

— Это все из-за Верки...

И рассказывает такую историю. Возвращается как-то Вера домой поздно вечером, стали они с Викентием спать укладываться. Викентий уже в постели, а Вера у шкафа стоит, рубашку ночную ищет.

— Боже! — ахает Ольга Леонтьевна. — Это он сам тебе все рассказывал?

И тут видит Викентий у Веры на поясице в самом низу синяк, да круглый такой, ровный, будто медаль. «Что это у тебя?» — спрашивает. А она не видит. «Где?» — говорит. Подошла к нему, он тут и разглядел, что это никакой не синяк вовсе, а круглая канцелярская печать. Вспомнил тут Викентий, что ему про начальника паспортного стола говорили. Вере он тогда ничего не сказал. Только на другой день является в паспортный стол, прямо к этому начальнику. Да так, у всех на глазах, и ударил его. Сначала рукой по лицу, потом стулом по голове. Как не убил только? Начальник после неделю в больнице валялся.

— Какой ужас! — морщится Ольга Леонтьевна.

А Тася так вся и вспыхнула:

— Ты не понимаешь, мама! Он же Верку заклеил, как последнюю девку! Паспортист этот!

Тася все эти дни места себе не находила: как помочь Викентию?

А как-то Колупаева с первого этажа встречает ее у подъезда:

— Ты сходи в скверик возле суда. Там, говорят, бывают люди, которые могут помочь.

Тася, конечно, в тот же день понеслась в скверик. Как раз перерыв между судебными заседаниями был, народу в скверике полно, ни одного свободного места. В дальнем конце Тася увидела старичка на лавочке, благообразный такой, с усиками. Газетку на коленях расстелил, бутерброд ест, чай из термоса наливает. Вокруг него женщины какие-то, целая толпа, обступили его.

— Ладно, — доносится до Таси голос старичка. — Попробую... Обещать наверняка не обещаю, но кое-какие связи у меня есть. Прошу только — никому! Поняли? Даже адвокатам.

Дождалась Тася, когда женщины снова в суд ушли, подседа к старичку. Тот поглядел на нее и спрашивает:

— Вам что, тоже помощь нужна?

Слушает он рассказ Таси, сам бутерброд свой доедает, потом говорит:

— Что ж, попробуем облегчить его положение.

— Денег у меня сейчас с собой нет, — говорит Тася. — Но завтра я непременно принесу.

Старичок газетой машет.

— Не сейчас, не сейчас... После приговора. Ведь разное может быть. Полное оправдание — одна цена. Условное осуждение — другая. Статья с более легким наказанием — третья. Или, к примеру, вовсе не то наказание, что просил прокурор. Все может быть. Вы понимаете, речь не столько обо мне. Я ведь не один...

— Понимаю, — говорит Тася.

Теперь у нее только и была одна забота — собрать денег. Дома-то сбережений никаких. Назанимали они с Ольгой Леонтьевной у соседней сколько можно было. Тасе все казалось, что мало. А тут Дорик газету им показывает:

— Вон объявлений сколько. Антиквариат скупают, вещи старинные. У дедушки этих вещей полным-полно...

Вызвали тогда по телефону скупщика, тот приехал с машиной, отобрал из комнаты дедушки разные вещи — небольшой резной буфетик, венскую круглую вешалку, фигурную подставку для зонтиков, футляр от напольных часов из пальмового дерева с инкрустацией.

Короче сказать, в день суда Тася явилась на заседание с большой суммой денег. Ольга Леонтьевна специальный мешочек ей сшила, который можно было пристегнуть булавкой под одеждой.

Когда стали вызывать свидетелей, Тася вышла и сказала:

— Вы не знаете подсудимого Викентия! Это во всех отношениях выдающийся человек. У него необычайные способности! Пропавшие вещи во сне находит. Людей из горящего дома спасает...

Другие еще свидетели выступали, все говорили, что подсудимого понять можно — ревность, состояние аффекта и все такое прочее. Тем не менее, несмотря ни на что, Викентия осудили по 206-й статье — хулиганство, три года.

После суда Тася опять увидела в скверике того самого старичка с усиками — и сразу к нему.

— Я поняла вас! — говорит. — Никаких связей у вас нет! Вы просто жулик! Сидите здесь и ждете, какой будет приговор. Что бы ни оказалось — вам все равно прибыль!

— Ну зачем так? — говорит старичок. — Я же денег с вас не беру. Вам просто не повезло.

Дома у себя в комнате Тася повесила на стенку все дачные фотографии, на которых был Викентий. Ольга Леонтьевна заходит к ней, Тася стоит на диванчике на коленях и цветными карандашами раскрашивает фотографии. Все снимки в каких-то ажурных рамочках, вырезанных из бумаги. Тут же рядом цветочки к обоям приклеены, лоскутки разноцветные.

— Что это у тебя? — спрашивает Ольга Леонтьевна.

— Это чтобы Викентий не считал себя одиноким... Я через снимки передаю ему свои мысли. Я уверена: он их чувствует.

На Тасю в эти дни смотреть было жалко. Высохла вся, хуже щепки, почернела. Ходит по квартире, как тень. Музыкаой бросила заниматься.

— Не знаю, что со мной, — говорит она. — Сегодня утром, как встала, глянула в зеркало, вижу свое отражение — прическа, блузка моя любимая без рукавов. А сама думаю: почему же блузка? Ведь я же еще не переодевалась, не причесывалась. Как была в халате, так и осталась. А в зеркале — блузка...

Все в доме оберегали Тасю, будто она заболела.

— Печаль человеку кости сушит, — говорил дедушка. — Ты уж не изводи себя...

А Дорик однажды приходит из школы и сверток какой-то Тасе вручает.

— Что это? — спрашивает Тася.

— Это тебе... Подарок... От Недыхляева из нашего класса. Я тебе о нем рассказывал. Чайная штатунка декабриста Анненкова. А это — самурайский клинок, мастер Исихара. Адмирал Колчак лично в Японии покупал. Я подумал: может, тебе это будет интересно?

А нотом пришло письмо от Викентия. И Тася снова стала как прежде. Все дни теперь сидит за столом, письма Викентию без конца сочиняет.

— Ну как он там? — спрашивала Ольга Леонтьевна. — Что пишет?

— Пишет — нашел себе занятие: фотографирует, — рассказывает Тася, сама счастливая такая, улыбается. — К ним каждый месяц в третий четверг приезжают из районного загса браки регистрировать. Вот он и фотографирует новобрачных.

— Неужели там еще и женятся? — удивляется Ольга Леонтьевна.

Потом еще были письма от Викентия. Ольга Леонтьевна видела одно письмо на столе, Тася по рассеянности его оставила.

«Голубка моя родная, — было там написано. — Для меня нет другого счастья, как только думать о тебе. У меня все хорошо, ты не беспокойся. У нас в камере три кошки. Живут себе, никуда не уходят. Погуляют и обратно в камеру возвращаются. Дорогая моя, я живу только тобой и твоими письмами...»

— Бедная моя Тусенька, — говорила Ольга Леонтьевна дочери. — Да они в тюрьмах все так пишут. Это у них так принято.

А Тася ей отвечала:

— Ничего не могу с собой поделать. Меня будто отравили. Отняли разум. Все в мире для меня исчезло.

— Прямо Ромео и Джульетта,— говорит Дорик.— И что ты только в нем нашла? Он и не красивый вовсе. Бородавка какая-то на лице.

— У нас вот тоже был случай,— вмешивается тут дедушка.— Когда я на корабле плавал. У одного матроса любовь была. С русалкой. Песни она ему пела. А как перевели его на другой корабль, очень она тосковала.

Чем бы все это кончилось — неизвестно, только в одни прекрасный день приходит Тася домой и билет на поезд показывает.

— Вот, к нему еду...

Ольга Леонтьевна, понятно, в слезы.

— Куда же ты, доченька? Ты же никогда из дома не уезжала. Ты же у меня домашняя девочка...

— Не могу я без него, мама! — говорит Тася.

Тут и Эльза Егоровна не выдержала:

— В тюрьме же ведь ужасно... Зачем на это глядеть?

— У нас тоже один сидел,— рассказывает дедушка.— Могилы грабил... Так он в тюрьме цингой болел. Зубы своими руками вытаскивал. Все до одного. Может, Викентий твой там тоже уже без зубов. А ты приедешь.

Но Тася свое:

— Не могу я без него!

Ну, делать, видно, нечего. Поплакала Ольга Леонтьевна, поплакала и стала Тасю в дорогу собирать. Гостинцев накупила — не с пустыми руками же ехать, пирогов напекла целую сумку.

Последнюю ночь перед отъездом Тася уснуть не могла, лежала с открытыми глазами. А как светать стало, смотрит — женщина какая-то незнакомая в комнате.

— Не надо тебе ехать, голубушка, не надо,— говорит гостья.— Ты подумай, прежде чем ехать. Ты ведь не знаешь, на что обрекаешь себя.

— А вы кто? — спрашивает Тася.

— Полина я, жена Ивана Александровича Анненкова, государственно-го преступника. У вас шкатулка моего мужа. Вспомнили?

— А,— говорит Тася,— декабрист...

— Меня перед поездкой к нему тоже предупреждали: «Твой-то,— говорят,— может, запил там, опустился». «Тем более мне надо ехать»,— отвечала я. Вот и поехала в Читу. Молодая была, глупая... Мадемуазель Поль... Ни слова по-русски... В Великом посту мы венчались. Иван Александровича в церковь в окопах привели. На паперти только сняли. А его и узнать нельзя. Мужик в полушубке и с бородой. Я-то помню: блестящий офицер, кавалергард. Я к офицеру ехала. А тут вконец больной человек... Черная меланхолия... Говорили, он в крепости хотел покончить с собой, часовой спас. Все это на меня ужасно подействовало. Лучше бы мне его не видеть, не приезжать...— Гостья всхлипнула.— Все же это ужасно — жена ссыльнокаторжного! Сколько унижений! Обыски! Свидания раз в три дня... Непременно при унтер-офицере...— Она вытерла слезы, успокоилась. — Я все время себя спрашивала: надо было мне ехать или нет? Отказаться от вольной жизни! Помню, где-то по дороге, в Казани, что ли... Канун Нового года. В Дворянском собрании бал. Залы ярко освещены. Маски входят. Я говорила себе: «Какая разница! Здесь собираются веселиться, а я еду в пропасть. Для меня все кончено — музыка, танцы». Так что ты, голубушка, подумай... Не надо бы, может, тебе ехать...

Когда она уходила, сказала:

— А шкатулку Ивана Александровича я у тебя заберу... Все же память...

Потом уже, когда Тася поднялась и подошла к столу, видит — клинок адмирала Колчака на месте, а шкатулки нет. Тут в дверь Ольга Леонтьевна стучит:

— Пора собираться...

Сидят они завтракают, Ольга Леонтьевна все успокоиться не может: — И на что он тебе — уголовник? И потом он же старик! Он же старше тебя на десять лет!

Тася уже ничего и не отвечает матери. После завтрака Ольга Леонтьевна с Дориком стали собираться на вокзал проводить Тасю. Дедушка тоже начал было суетиться, но ему сказали, чтобы он оставался дома — дорога неблизкая. Дедушка обиделся, конечно.

— Уйду я от вас,— говорит.— В дом престарелых уйду...

— Да пусть едет,— сказала Тася.

На вокзале Дорик говорит дедушке:

— Ты тоже придумал — в дом престарелых... Ты хоть знаешь, что там творится? Какие там дела? Спроси у Колупаевой с первого этажа, ее отец там был. Люди исчезают. Пропадают на два-три дня, потом снова появляются. Только уже без волос, остриженные наголо.

— Это еще почему? — недоумевает дедушка.

— А это дельцы, новый бизнес. Увозят стариков, усыпляют их и стригут.

— Зачем же это им надо?

— Волосы за границу продают. Громадные деньги. Оказывается, из волос пожилых людей готовят особо ценный лекарственный препарат. При чем из волос только пожилых людей. От молодых не выходит...

— Господи, опять ты что-то выдумываешь! — говорит Ольга Леонтьевна.

А тут и вагон тронулся, Ольга Леонтьевна кричит Тасе:

— Смотри, осторожнее там!

Добиралась Тася долго. На каком-то полустанке поезд стоял больше суток. Сказали: впереди авария — поезда столкнулись.

«Вот ведь как судьба меня держит,— думала Тася.— Не хочет пускать».

Она вместе с другими пассажирами ходила на место аварии смотреть. Народу там много, солдат нагнали, наверное, целый полк. По сторонам дороги вагоны смятые, искореженные, все в ржавых пятнах, тягачи их растаскивают. Под ногами битые стекла, вещи чьи-то: то кепка, то ботинок, то пиджак порванный, сумка дамская. Бродяги какие-то здесь уже хозяйничают — подбирают вещи, роются в карманах, в сумках. В одном месте Тася увидела на земле фотографию — женщина и мужчина рядом, лица счастливые, радостные. Она вспомнила дачные фотографии, где Вера, Викентий такие же веселые.

Наконец путь был расчищен, движение восстановлено, снова пошли поезда. Приехала Тася в поселок где-то под Иркутском. Возле станции, у хлебного ларька, увидела старушку.

— Где здесь комнату можно снять? — спрашивает.

А старушка поглядела на нее и говорит:

— К осужденному, что ли? В колонию? Едут и едут... Дуры эти бабы — вот что... Как мотыльки на свечку... Нужны вы им...

— Я знаю, что нужна,— отвечает Тася.

Привела ее старушка к себе домой. Комната маленькая, вроде чулана. Глянула Тася в угол, испугалась даже — у стены большая каменная плита, какие на могилах ставят.

— Это я обелиск себе надгробный приготовила. Давно еще купила, когда дешево было. Пусть, думаю, стоит. Теперь-то цены на памятники все растут. А у меня уже есть...— Потом Тасе на ухо: — У меня и гроб припасен. На чердаке стоит. Я как поругаюсь с кем, на чердак лезу и в гроб ложусь. Вся моя злость и проходит...

Дом старушки совсем рядом с колонией. Тася всю ночь слышала оттуда какие-то переговоры по радио, команды. На другой день она наконец увидела Викентия: стриженный, уши торчат и глаза какие-то пустые.

— Как там Вера? — спрашивает.

Тася сказала, что Вера, как оформила развод, сразу же выскочила за того самого начальника-паспортиста и укатила с ним к его родственникам

куда-то под Ярославль. Викентий слушает ее, сам молчит, что говорить — не знает. Потом вдруг говорит:

— Случай смешной вспомнил. Позвали меня как-то в один дом покойницу фотографировать. Пришел я, в комнате стол, на столе гроб. Забрался я на стул, прилачился, спрашиваю: сколько снимков делать? И вдруг покойница из гроба: «Шесть, милок, шесть». Я со стула так и полетел, расшибся весь... Смешно, правда?

— Смешно,— говорит Тася.— Покойница — и разговаривает...

— А это они захотели сынка из армии вызвать. Вот и решили послать фотографию матери в гробу.

Смотрит Тася на Викентия, хочется ей дотронуться до него, но между ними сетка железная. Ближе увидеться им не дали.

— Вот если бы вы были законные супруги, тогда другое дело,— сказали Тасе.— Тогда пожалуйста. На трое суток. У нас и комнаты для семейных есть.

Тася вдруг и говорит Викентию:

— Давай поженимся. Брак оформим, все, как положено.

— Что, прямо здесь? — спрашивает Викентий.

— А что? Как Полина Анненкова. Ты же сам писал, что у вас здесь браки оформляют.

Викентий подумал и говорит:

— Ты знаешь, у нас здесь даже часовня есть... Для венчания, кто пожелает...

Написала Тася заявление, отнесла к начальнику колонии. Начальник ей говорит:

— В ближайший четверг никак нельзя. У нас — испытательный срок. Как и везде, два месяца.

— Как же так? — говорит Тася.— Я через два месяца не смогу приехать. Это же сколько денег на дорогу надо...

Начальник посмотрел в окно, потом спрашивает:

— Зачем вам это нужно? У заключенных свои интересы, это понятно. Им бы только на время отсидки жену получить. А как освобождаются — прощай.

— У нас все по-другому,— говорит Тася.

Начальник тогда закурил папиросу и говорит:

— Ладно, так и быть. Пометим ваше заявление задним числом.

Во время регистрации Викентий просил охранника, который привел его, чтобы тот сфотографировал его с Тасей. Охранник сначала долго отказывался, говорил — не положено, потом согласился. На другой день Тасю, уже как законную жену, пустили в зону вместе с другими приехавшими на свидание женами. Дали им с Викентием комнату в бараке: две койки, заправленные по-солдатски, тумбочка, холодильник. На окнах занавески. Викентий сделал Тасе подарок — шерстяные носки.

— Мой сосед носки вяжет... Вот я и взял у него...

Днем вышла Тася на кухню, там приехавшие жены картошку жарят. Тут же дети бегают, совсем, как дома. Все, конечно, Тасей интересуются — новенькая, поздравляют с законным браком.

— Мы с моим тоже здесь, в зоне, расписались,— рассказывает какая-то рыжая, в халате по-домашнему.— По переписке познакомились.

— Им же главное, чтобы на воле их кто-то ждал,— говорит другая, немолодая уже, стриженная, в очках.— Иначе они сломаются.

— Вот и ты, я вижу, пожалела своего,— говорит Тасе толстушка, на голове под платком бигуди.— Жалко стало, понимаю... Русские бабы все одинаковы. Спасти, поднять...

— Нет,— отвечает Тася,— у нас другое... У нас — любовь...

Все на кухне так и покатались со смеху.

— Любовь! — хохочут.— Да какая она, любовь? Ты бы показала нам!

— А я и сама не знаю, какая,— отвечает Тася.— Люблю — и все...

В тот же день вечером вынесли в коридор из комнат несколько столов,

застелили бумагой и газетами, расставили чашки чайные. Тася принесла пироги, какие из дома взяла. Дежурный офицер стал было возражать, но ему сказали:

— Свадьба же, начальник! Новобрачные! Поздравить надо!

Рыжая подарила Тасе флакончик духов, уже начатый, который с собой привезла. Муж ее, из заключенных, взял у нее гребенку, обернул тонкой бумагой и стал играть какую-то музыку.

Когда все расселись, толстушка с кудряшками на голове ушла в комнату и выносит бутылку белесой жидкости. Все оживились, а муж ее говорит:

— Молодец! Это она по моему рецепту! Я дома так делал! Жидкость для обезжиривания, уксус, сахар, вода. И в стиральную машину. Напиток выходит царский — лучше не придумаешь.

Разлили напиток по чашкам, все стали поздравлять Тасю с Викентием, пить за их здоровье, кричали «горько».

— За вашу любовь! — говорит стриженная, в очках, сама еле сдерживается от смеха.

Все опять хохотать начали, заливаются, остановиться не могут. А как отсмеялись, музыкант с гребенкой серьезно так говорит:

— А ведь любви никакой нет! Есть лихорадка и болезнь! Вроде проказы или оспы. Расстройство всего организма. Делаешься, будто пьяным. По себе знаю...

Ночью уже сидят Тася с Викентием в своей комнате. Тася протянула руку к Викентию, коснулась его лица, смотрит, а он спит. Сидит она, боится шевельнуться, чтобы не разбудить. Рука затекла, она все смотрит на его лицо, шепчет еле слышно:

— Нет у меня на свете никого, кроме тебя... Если бы можно было здесь, в тюрьме, остаться, я бы осталась. Я счастлива, что себя потеряла. Мне кажется, ты для меня родился, а я — для тебя. И нам друг без друга никак нельзя. Я благодарю судьбу за встречу с тобой...

Через три дня Тася уехала. Вернулась домой, не успела в квартиру войти, все сразу к ней кинулись.

— Живая! Слава тебе, Господи! А мы читаем в газете: катастрофа! Говорим: там же Тася! Сами не знаем, что и думать...

А Тася им:

— Поздравьте меня... Я теперь мужнина жена...

— Это ничего, — говорит дедушка. — Это не беда. Главное, что живая! Ольга Леонтьевна сначала даже не поняла, о чем это Тася, а потом до нее дошло.

— Вы что, — спрашивает, — поженились? А свадьба?

Да так на диван и повалилась. До вечера ее валерьянкой отпаивали.

— Что ж, — говорит дедушка, — свадьба так свадьба. Погуляем.

А Дорик, как всегда, ухмыляется:

— Тут в одном доме тоже свадьба была... Колупаева рассказывала. Гости собрались, хозяйка в погреб полезла за продуктами. Пошла и пропала. Хозяин за ней — и тоже пропал. Родственник какой-то спустился — и его нет. Так что оказалось? У них там в подвале баллоны стояли с жидким азотом. Для холода, кто-то посоветовал. А крышки плохо прикручены. Пары азота, сами понимаете. Вот вместо свадьбы — похороны...

— При чем здесь жидкий азот? — спрашивает дедушка.

А Ольга Леонтьевна, как в себя пришла, спрашивает:

— Что-то я не пойму... Он что, у нас жить будет, уголовник этот?

— Ты его не знаешь, мама, — чуть не плачет Тася.

— Как же я с ним буду? — недоумевает Ольга Леонтьевна. — Я не смогу...

— Размениваться надо — вот что, — предлагает Дорик.

Дедушка слушал эти разговоры, слушал, потом говорит:

— Мне сегодня булавки всю ночь снились. К чему бы это?

— Ну, размениваться, так размениваться, — согласилась Тася.

А дедушка опять:

— Вот я знаю, если, к примеру, вода студеная снится, будто ты пьешь ее, это значит, у тебя в желудке змея завелась. А вот к чему булавки — это я уж и не припомню...

А как дали объявление о размене, через день в доме гостя — чистенькая такая старушка, на шляпке цветочки.

— Я по объявлению, — говорит.

Тася как раз дома одна была, Ольга Леонтьевна с Дориком дедушку гулять повели. Ходила старушка по комнатам, смотрела. Потом увидела у Та-си пианино.

— Сыграйте мне что-нибудь, деточка... Тысячу лет не слышала живой музыки... Мой отец был прекрасный пианист, профессор консерватории. У нас в доме музыка не смолкала.

Стала Тася ей играть. Старушка слушала, слушала, потом вдруг и заявляет:

— Я ведь адмирала Колчака знала, Александра Васильевича. Любовь у нас с ним была... Роковая...

Сказала и опять музыку слушает, потом снова:

— Мне тогда двадцать три года было. Замужем уже пять лет, сыну два года. И у Александра Васильевича семья. Мы с его женой очень дружны были. А каждая встреча с ним — праздник. Разбуди меня ночью, спроси: что я хочу? Я бы только и сказала: видеть его. Вот я и призналась ему в любви. А он мне: «Я вас больше, чем люблю...» Это было в зале Морского собрания, в Ревеле...

Тася все играет, не останавливается, старушка слушает.

— Потом Александра Васильевича арестовали в поезде, — продолжает она. — Я была тоже там. И не могла его оставить. Пошла с ним в тюрьму. Это в Иркутске... По своей воле... А, в сущности, за все время мы вместе мало были. Все больше порознь. Разве что в Японии. Я уехала туда от мужа. А Александр Васильевич ко мне приехал. Какие были дни! И как мы были счастливы! В тюрьме уже, гуляем мы с ним во дворе, нам давали раз в день свидание, он сказал как-то: «А что? Неплохо мы жили в Японии! Есть о чем вспомнить!» Я видела в глазок, как его уводили. Свалил меня тогда мертвый сон. В тот самый час, как прощался он с жизнью. Как душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики... А после его гибели началась моя вторая жизнь с ним — тайная. Тридцать лет в тюрьмах, лагерях, ссылках. Семь раз арестовывали. И все время любовь к нему... Только ею и жила...

Старушка еще посидела немного и стала собираться. Вынимает из сумочки какое-то письмо и протягивает Тасе:

— Вот его письмо. Вы прочтите... Зовут меня Анна Васильевна...

— Вы уже уходите? — спрашивает Тася. — А как же обмен?

— Что вы, деточка! — отвечает Анна Васильевна. — Какой обмен? Я же давно умерла. Я уже много лет мертвая...

— Тогда, может быть, чаю? — как-то невпопад спросила Тася.

— Спасибо, деточка. Не пьем мы чаю... Не пьем...

Ушла старушка, Тася понять не может: была она или нет? И тут письмо у себя в руках видит. Развернула его, читает:

«Прошло два месяца, как я уехал от Вас, моя бесконечно дорогая. И так еще жива передо мной картина нашего расставания, так же мучительно и больно на душе, как будто вчера это было. Я не знаю, есть ли у меня столько сил, чтобы вернуть Вас. А без Вас моя жизнь не имеет ни смысла, ни цели, ни радости. Вы для меня больше, чем сама жизнь, и продолжать ее без Вас мне невозможно. Все мое лучшее я несу к Вашим ногам, как боже-ству моему...»

Читает Тася, сама думает: «Нет, Викентию так никогда не написать».

А вечером, когда собрались за ужином, случилось странное происшествие. Сидят все за столом, пьют чай, вдруг Дорик говорит:

— Горит что-то!

Глянули, а на скатерти, в самой середине, кружок блестящий, монета какая-то, а вокруг пятно черное, и паленым пахнет. Ольга Леонтьевна возьми и выплесни остаток чая на пятно. В тот же миг монета пропала. Одна дыра осталась на скатерти с черными краями. Тут давай все спорить — что это была за монета.

Дорик и говорит:

— И спорить нечего... Я хорошо разглядел — золотая монета, царский червонец. Что ж я не знаю, что ли?

Все, конечно, сразу: не может быть, не может быть, откуда здесь царская монета? А дедушка вдруг как хватит ладонью по столу:

— Вспомнил! Точно — царский червонец!

И рассказывает такую историю:

— Это сразу после революции было. Пришли к нам чекисты с обыском. Спрашивают: «Золото есть?» Отец тогда вынимает из коробочки золотой червонец, который хранил, и в сердцах на пол бросает. Кинулись чекисты за монетой, а ее и след простыл. Исчезла, как сквозь землю провалилась. То ли закатилась куда, то ли еще что, только два часа шарили в комнате, а золотой так и не нашли. Вот, стало быть, это и была та самая монета...

— Это уж совсем чепуха какая-то! — машет рукой Ольга Леонтьевна. — Монета исчезла, чтобы появиться у нас на столе через семьдесят лет!

— Одно только мне непонятно, — говорит дедушка. — К чему бы это явление? Ведь неспроста оно... Это как предупреждение...

А через день из колонии извещение: Викентий скончался в больнице после болезни. В этом же конверте были фотографии бракосочетания: Викентий и Тася стоят, улыбаются.

— Вот оно, к чему этот червонец был, — сказал дедушка. — Я так и думал: помрет кто-то...

А через неделю еще письмо из колонии, от больничного врача. Он писал Тасе, что обязан рассказать ей о гибели ее мужа. Оказалось, Викентий умер от истощения. За неделю перед этим он убежал из колонии и скитался по тайге без пищи и воды. Нашли его охранники совсем уже обессиленного недалеко от зоны.

«Мы все удивлялись, — писал врач, — зачем он бежал? Ему сидеть оставалось совсем ничего. А он знает, что ответил? Меня, говорит, любовь там ждет. Я не могу без нее!»

Ольга Леонтьевна все боялась за Тасю — как она переживет все это, но Тася ничего, держалась. Лишь потом уже, когда прошло время, стали замечать за ней какие-то странности. Вот говорит она, говорит, все вроде хорошо, а потом как бы заговариваться начинает. Бормочет что-то уж совсем непонятное:

— Через любовь... Только через любовь... Вечность сквозит... Истинная жизнь... Жить в другом, как в себе... Это и есть свет любви... Путеводный луч к потерянному раю...

Дома только удивлялись: откуда что берется, где она выражений таких хваталась? А Тася отойдет немного, потом опять:

— Соединение, которое ведет к бессмертию... Свободное единство... Смертная жизнь перерождается нетленной благодатью... Превращение временного в вечное... Оправдание и спасение... Это и есть любовь... Оправдание и спасение...



Виталий ПУХАНОВ

И з л и р и к и

* * *

Не до сумы, не до тюрьмы —
Судьбы испита чаша.
Как были бы прекрасны мы,
Когда б не бедность наша.

Произрастают валуны
В тоске бесплодных пашен.
Как были бы прекрасны мы,
Когда б не бедность наша.

Во тьму врата отворены,
И узок путь, и страшен.
Как были бы несчастны мы,
Когда б не бедность наша.

* * *

*Мальчик, того, кто не знал родительской нежной улыбки,
Трапезой бог не почитит, не допустит на ложе богиня.*

Вергилий. IV эклога.

Шесть пехотинцев разило копые Ахиллеса,
Прежде чем те успевали, мечи обнажая,
Левой ногой заступить на полшага навстречу.
Я был четвертым из них, и, сползая по древку,
К сильной руке, сжимающей древо без скрипа
В пальцах, пригодных для арфы,
Целованных мудрой Фетидой,
Славя отца, разделившего ложе с богиней,
Я говорил, обреченный:
Слава тебе, Ахиллес-победитель; целую
Нежную пятку твою...

* * *

Нет смерти на земле. Но нет ее и выше.
Цветами пахнет смерть. Звезда звезду не слышит.
В забвении каком я вспомнил — в эту ночь
Смерть кончилась, бессмертье началось.

Не приходи ко мне — нет больше сострадания.
Ни страха, ни мечты, ни жажды обладанья.
И, забыв меня, не сможешь мне помочь:
Смерть кончилась. Бессмертье началось.

Останься, как стихи забытого поэта.
 Как от свечи, сгорела ночь без света.
 И океан непролитой крови
 Чернел во мне и ширился вдали.

* * *

Л. П.

Воды прозрачней, неба голубей
 И дерева простого деревянней
 Я выкормил желанных голубей
 И отпустил — чем дальше, тем желанней.

В твоём доме остался на ночлег,
 На десять лет застигнутый потопом.
 Постель твою носило, как ковчег,
 Над Азией, Америкой, Европой.

Пока Господь нас не перемесил,
 Все тварное перекрестив попарно,
 Безвидный дождь потопа моросил,
 Бесплодны мы, и жалоба бездарна.

Я ждал вестей, заученных примет,
 Но голуби носили терпеливо —
 Сирени кисть, колючей сливы цвет,
 Ветвь тополя и никогда — оливы.

Так сплетена из веток колыбель,
 Ковчег иной, свободный от скитаний,
 Воды прозрачней, неба голубей
 И дерева простого деревянней.

* * *

Красивой женщине, похожей на других,
 Таких же взрослых и красивых,
 Лишенной — вдруг — нарядов дорогих,
 До стога терпкого от форм её нагих,
 Доступных и невыносимых,—
 Ты только зеркало.
 Отобразиться в нём,
 Как рыба скользкобедрая, кругами
 Расходится вода меж берегами.
 Оно и есть — наедине вдвоем.
 Я говорю на русском языке,
 Но я его не понимаю.
 И голос твой, зовущий вдалеке,
 Почти как шум воспринимаю.
 На свете есть и счастье, и покой,
 Где мы парим бесчувственно нагие.
 Но я не знаю сам: кто я такой
 И для чего мне счастье и покой
 С тобой и здесь? Я знал его с другими.

За этот сон прекрасный и пустой —
Многopаренья, многознанья —
Я осужден. И дар любви простой
Из рук твоих мне в наказанье.

* * *

Гере-Ангелине

Когда звезда суровая взойдет,
Живой утихнет, мертвый спать пойдет.
Земля трещит, благоухают розы,
Язык бежит от повивальной прозы,
Перо гусиное выводит силуэт.
Ночь душная длинна,
Но томности в ней нет.

Я более себя обманывать не в силах,
Я землю кочевал, я ночевал в могилах,
О смерти и любви не знаю ничего,
А мертвых вспомню всех до одного.
На свете смерти нет — я не нашел следа.
И мертвый вторил мне: «О да!»

Но, зная все об имени твоём,
Как знаем все, что именем зовем,
В одно ушко две разноцветных нитки
Ввела рука поспешно и легко.
Вскипая, речь бежит, как молоко,
И выпадают из ушей улитки.
От всех имен, произнесенных вслух,
Ты выберешь себе одно из двух.

За свадебным столом теряет силу яд.
Ткут тутовые черви твой наряд.
А век спустя их земляные братья
Тебе откроют скользкие объятия.
И мысль последнюю, что нас переживет,
Прозрачный червь небесный обовьет.
Уже ты родилась и первые слова
Произнесла. Кружится голова.

* * *

Я шел по лезвию воды
На край зеркального провала,
И, кроме собственной судьбы,
Ничто меня не волновало.

Я сравнивал тебя с землей
И уходил из поля зренья,
А ты бросалась плыть за мной,
Отягощенная сравнением.

Так пустота касалась рук,
И я о волны спотыкался,
Но плугом был распахнут круг,
Где лимб прозрачный замыкался.

Из отраженной глубины
Я выходил к себе навстречу.
Мы, как часы, разведены!
Но дольше незачем и нечем.

* * *

Психиатрический больной
В тиши больничной заповедной
Делился тайнами со мной.
Я повторял: «О бедный, бедный!»

Совсем как нерожденный стих,
Замученный в беззвучном теле,
Он был для жизни слишком тих.
Три года не вставал с постели.

Но говорил, суров и строг,
Что он пророк и принц наследный.
И знает Имя, смысл и Срок.
Я повторял: «О бедный, бедный!»

* * *

Могильный холм забытого поэта
Давно осел и заново нарыт.
Теперь над ним, как верная примета,
Гранитное подобие стоит.

Ужель, поэт, и ты был монолит,
Стоял безликий, гранями сверкая,
Предчувствуя, что будешь позабыт,
На волю дух свой отпуская?

Стоял у края, медлил: или — или...
Я точно знаю — нет тебя в могиле,
Спасенный, безымянно ты бредешь
И счастлив здесь, что нет тебя в помине.
И все ж...

Проходит жизнь, и наступает время
Любить хорошие, но слабые стихи.
В журналах роясь, вырывать из плена
Листки чужие. Как они легки.

Шумит забвенья дуб вечнозеленый.
Я задремал под сенью роковой.
Как поцелуй, как шепот губ соленых,
Твоих стихов автограф белой...

Всю крону пролистал —
Священна эта мгла.
Покойся в ней, поэзии игла.

* * *

День медленно истек и обмелел.
Сгущалась тьма, и камень тяжелел,
Где теплился урод невоплощенный,
Бесмысленный, но права не лишенный.

Так наступила ночь. Стояли мы,
Как неправдоподобные холмы,
В чужой земле застигнутые мглой.
В густой ночи был камень растворен,
И я был в каждом камне повторен,
Мне кажется, что нет тебя со мною.

Но вечно жили мы, и эта мгла
Нам долгой показаться не могла.



Цветы невиданные, райские птицы

ПОВЕСТЬ

Чужие сады Плахова

Девушка вошла на Матвеевской, яркая в узорном платке и длинном черном пальто, двигалась по проходу, возвышаясь над всеми на полголовы, и рассеянно проглядывала ряды занятых сидений. Плахов как посмотрел в ее лицо, так уже не отрывался, безо всяких мыслей ожидая, что она приблизится наконец и тогда он уступит ей свое место. Электричка дернулась, поехала, и девушка, удерживая равновесие, ухватилась за поручень, осталась в проходе за три ряда от Плахова. Ее заслонил толстый парень в пуховике, можно было видеть только гордую маленькую голову, розовую гладкую щеку. Плахов представил, что эту нежную кожу он может погладить пальцами, всей ладонью.

Когда-то у него была настоящая любовница, с редкими поспешными свиданиями, они жили на одном этаже, и она была женой его товарища по курсу. Если случайно сталкивались на лестнице и никого не было поблизости, схлестывались тут же, задыхаясь, целовались, хихикали, руками мучили друг друга. Хлопала внизу дверь, Наташка вмиг трезвела, отскакивала, оглаживала грудь, бедра, будто стряхивала следы его, Плахова, рук. Потом разъехались, и Плахов очень легко забыл о ней. Некоторое время еще смутно помнилось тогдашнее приятно-тягостное ощущение своей порочности и вины перед женой, скоро и это прошло. А просто смотреть на красивую девушку — другое дело и его полное право.

Одна такая молодая красавица с этого лета тоже бегаёт по утрам на пруд, они уже кивают друг другу при встрече. Девушка после короткого заплыва обегает, блестящая от воды, пруд, затем подтягивается на турнике, белея бритыми подмышками. Спортивная фигура, ни жиринки, залюбуешься. Плахов проследил, просто так, где она живет, — по ту сторону шоссе, где старые дома. Его дом — на самом краю новой улицы. Через дорогу еще и не начинали строить, только груды кирпича от разваленных частных домов лежат, а вокруг этих кирпичных обломков — одичавшие яблоневые деревца. Эта осень была урожайная, земля под яблонями пестрела осыпавшимися плодами, и старухи из ближних новостроек — может, и бывшие хозяйки этих садов — приползали с вместительными тряпочными сумками, набивали их под завязку, тащили на местный рынок. Жена Плахова купила у одной такой старухи целую сумку: «Юрочка, она на мою маму была похожа». Яблоки выбросили, твердыми и кислыми они оказались.

Из выселенных и разрушенных домов хозяева вывезли, конечно, что могли. Но какие-то предметы, для перевозки непригодные, были оставлены, и Плахов с балкона видел, как те же старухи да и мужички какие-то деловито по вечерам рыщут, выискивая в свалке что-нибудь для хозяйства. Однажды разгребли целую ванну, и втроем, впрягшись на манер бурлаков, мужички поволокли ее куда-то. Плахов, удивившись, даже Аллочку позвал

посмотреть: вот смешные люди! А жена не посмеялась — заплакала, и Плахову тоже сделалось тошно, он почувствовал вдруг, что сильно устал, давно уже устал.

Когда заселяли дом, семья офицера Плахова в числе первых заняла свою квартиру в две комнаты на тринадцатом этаже. Плаховы получили наконец постоянное жилье, и казалось, что теперь-то они хозяева своей жизни, в которой первым делом следует завести правильный порядок. Каждое утро перед службой Юрий Плахов делал пробежку с коротким купанием в ближнем пруду. Ехал в часть, где бежал кросс уже с солдатами, налегал на тренировки и устраивал соревнования. Не терпел вопросов, отвечал одинаково: «Пятьдесят отжиманий». На службу Юрий Плахов отправлялся в форме, возвращаясь с некоторых пор стал в гражданском. Вечерняя электричка возла идейных с митингов, возбужденных и возмущенных. Одна такая цапнула его погон. Дома, глядя на Аллочку, возрадовался — пирожки печет, с тряпочками возится, ненавижу идейных. Сказал тогда, что будет брать брюки и рубашку на службу. Она не спросила почему.

— Только не оранжевую эту дурацкую, это же невозможно, какой ты в ней нелепый!

Рубашку оранжевую мать подарила, в поселковом магазине выбирала самую видную. Обиделся за мать, но не спорил, другую взял. Плахов спорить не умел, не находилось слов. Тем более что жена уже к столу позвала, сама с работы, а ужин к его приходу всегда готов, и петрушкой украсит, это как закон — правильный порядок. Когда еще по общезнаниям переезжали, она цветы свои в горшках перевозила, с лимонным деревом в обнимку и кочевала: «Юра, они же все чувствуют, как же это — бросить, невозможно!» Любит он ее, глупенькую. Привык, что встречает со службы угодливо, в халате нарядном — для него. Порхает птицей от плиты к столу, от стола к мойке; длинные полы халата вьются, косу заплетает необычно. А увидел ее раз на остановке, все как раз едут с работы, народу туча толпится на пятачке, то и дело нетерпеливо выкатываются по одному на дорогу поглядеть автобус — наткнулся на нее там неожиданно и растерялся вдруг. В глаза бросается из всех — что за чучелка? Смутился, стыдясь узнать: может, не она? Она, жена: стоит бездвижно, в атласном павлиньем костюме, ножки балеринкой вывернула, подбородок тянет, на кончик носа своего смотрит. На макушке на самой бант здоровенный, голая высокая шея между петлями тонкого шарфа беллет узкой полосой. Нелепая птица, чужая и ненужная, от этой первой мысли смутился растерянно Плахов. Потом жалко ее стало, ее шею, плохо забинтованную, — ее же словом пожалел: «Нелепая, дуреха». Бывает, Плахов и по-настоящему злится на Аллочку, что не понимает: человек со службы пришел, не приставай. Она с вытаращенными глазами газетку под нос сует: «Юра, смотри, я сегодня что прочла! Ужас какой!» А вычитала о ночных бабочках. Ему бы уложиться на койку, устал. Из-за Ильи еще противно бывает, когда долбить его учит по клавишам: «Цветочек мой! Ты гений!» Хотя бы Лушей не называет больше, от этого Плахов бесился. Не выдержал, сказал, что если хочет вырастить Лушу — Лушу и получить, бабу то есть. А Ильей Юрий Плахов сына назвал в честь деда, отца своего. Но растет Илюха при Аллочке, и чуть ли косички она ему не заплетает. Семь лет парню, а все — птенчик, солнышко. Хотел Юрий порядок навести, вместе утром бегать — хуже рева нормального были тихие его слезки: «Ну не надо, ну пожа-алуйста...» И жена обхватила своего птенчика, как бы защищая от вражины.

За пять лет, что прожили они в новой квартире, было событие: Плахов получил майора. Аллочка сидит дома, позволили себе роскошь. Плахов ходил теперь на две службы, дежурства в обменном пункте приносили хороший заработок. Ночь и день перемешались, перепутались в дежурства. А хуже всего, что порядок-то правильный в своей жизни будто когда-то навели, да вот и нет его, порядка. Аллочка, главное, все большой прикидывается, если заговорит, лучше бы молчала совсем. Смеется даже по-другому, расхохочется громко, будто лошадь заржала, и так же резко замолчит.

Илюха в школу пошел — как сбыла с рук. Хорошо, бросай свою контору, решил Юрий, проживем, заработаю. Тогда обнаружилась новая ее глупая черта — тратить беспоточно деньги, покупать какие-то гели, пенки для волос, тюбики и корбочки с кремами и прочей дребеденью — зачем? Не понимает, что деньги не с неба падают? Или вместо мяса купит клубнику, заграничные взбитые сливки — «десерт». Ладно, но еще и жертвой себя считает, всем своим видом несчастным показывает. До чего дошло — стелить постель хотела отдельно, собственная жена. Во всем мире так, видишь, все живут. Цивилизованном. Кончилось его терпение, дурой набитой назвал. И пожалел, что не сдержался, — кинулась тряпочки свои из шкафа вон выгребать, посреди комнаты кучу навалила. Куда ж ты денешься, княжна ситцевая? Десять лет прожили нормально. На руках, на вытянутых, носил когда-то. Решил, что хорошо бы поехать вместе куда-нибудь, отпуск взять. Обрадовалась, ожила будто, а тут несчастье: теща помирает. Больную привез, думали — вылечить можно, это Аллочка надеялась, он — нет. Но содержал весь месяц как родную мать, а она-то, теща, за десять лет слова ему хорошего не сказала. На похороны потом деньги тоже дал. С Ильей управлялся один, она про Илюху будто позабыла. Приехала Аллочка пришибленная, все спит и спит, но и понять можно, он понимает, устал только, давно устал. И кто посмеет упрекнуть его, что радость нечаянную переживает, когда девушка незнакомая в узорном платке посмотрела на него, рассеянно улыбаясь, или спортсменка в фиолетовом купальнике кивает ему при встрече.

Белые лилии

Просыпается Аллочка тревожно. Лежит, в потолок глядя. Что могут означать эти сны, невозможные для ее человеческой памяти? Где ее как бы и нет, а все она видит и слышит, и запахи ощущает: сад цветущий и плодоносящий одновременно — млечными плотными цветами, бархатистыми и влажными, и меленькими красными яблочками, злыми, она это во сне понимает, и опасными. Кто здесь есть, кто? Эти слова она, как показалось, выкрикнула, уже пробуждаясь. И пожалела, что пробудилась, — недобрый, конечно, сон, но оставалось в памяти, что совершенно точно в том саду был кто-то живой, это было важно. А она сама себя разбудила своим же криком — и теперь не узнает. Ощущение тревоги от этого сна, она знала, будет теперь напоминать о себе долго, и, забываясь в заботах дня, она время от времени будет глубоко вздыхать и морщить лоб: что это такое камнем на душе лежит? Ах, этот сон...

И обсудить не с кем. Возможно, это мамочка ей знак дает оттуда или бабуся, предупредить хотят о чем-то, они ведь там все наперед видят. Аллочка поискала на потолке любимую фигуру, где волна образует спираль, и если долго смотреть, то можно улететь через нее — сквозь потолок и верхние этажи — в небо, а потом той же дорогой вернуться. Ничего не получилось — с досадой Аллочка обнаружила, что обои в углу колом встали, встопорщились, и не только в углу, а местами и на потолке, и на стенах пузыри образовались. Яркие голубые, с белопенными бурунчиками, и нестаршно, что такими, оказывается, во многих квартирах ванны оклеены, а ей вот именно в спальне нравится — засыпать и просыпаться как бы в аквариуме. Что теперь делать, по углам можно подклеить, но с пузырями — что? Может быть, проколоть осторожно иглой, загладить? А цветы на подоконнике, и по стенам, и на трельяже — вьюны, традесканции, папоротник, фиалки, кактусы, маленькая пальма, вот еще карликовое лимонное деревце с мясистыми глянцевыми листиками и миниатюрными плодами — это как водоросли, кораллы и прочая подводная растительность. Или живность, они ведь живые, это уж не Аллочка придумала. У них, что самое удивительное, могут быть и чувства — свои, цветочные. У людей радости и горе человечьи, у собак — собачьи, у цветов — цветочные. Когда Аллочка на месяц с небольшим уехала, у пальмы отсохла одна из трех лапок. Пережи-

вала пальмочка. Возможно, и умерла бы без хозяйки. Но Аллочка успела вернуться. А человек от разлуки не умирает, даже от смертной.

Аллочка проснулась окончательно, встала. Сонник раскрыла, поискала. Нашла — затрепетала, руки опустились. Потом подсчитывать стала: если сон на вторник, луна в третьей четверти — нет, не сбудется. Для верности руку под струю воды подставила, прошептала трижды: «Куда ночь — туда и сон». Ванну набрала, легла с наслаждением, руки расслабила — тут же на поверхность поплавок всплыли, как отдельные. Вся в пене, только руки до локтей видны, покачиваются. Кому земля требуется, кому огонь, кому воздух. Ей — вода, обязательно. Утром и вечером теплая ванна, только так. И после ванны еще пять минут — на защитное поле. Сесть хотя бы в кресло, закрыть глаза, представить себя внутри фонтана, непробиваемой стеной ограждающего ее от энергетических вампиров. Кому внутри огненного круга надо посидеть, кому — внутри розы ветров. А кому, выходит так, в земле. Ей же только вода нужна, фонтан. Юра подарил колечко с александритом, это же страшный камень — если не в тройке. Были бы еще сережки такие же или браслет, но только обязательно чтобы три камня — только так носить еще можно. Одинокий александрит лишь несчастье приносит. У Юры вот сильное биополе, его ничто не возьмет, а ей какво, только что внутри фонтана себя представлять. Вампиры кругом, только выйди из дома. Она почти и не выходит.

Вода помогает — прояснено на душе, и небо в окне будто расчистилось. Там осень. Другие люди ждут весь год отпуска, или дня рождения, или еще какого праздника. Она — всегда осени ждала. Можно радоваться прохладному воздуху, в котором далеко слышны, особенно вечерами, все звуки, густой остывающей синеве над головой и яркой желтой, не побитой еще дождем и холодом листве под ногами, тревожным горьким запахам от самой земли, от этого становится тесно в своем теле, душа рвется соединиться с небом, и землей, и пальми листьями, с холодным терпким воздухом, с той радостью, которая в природе куда огромней, чем в маленьком Аллочкином теле. Нынешняя осень — другая. Она почти закончилась, а — как и не было. И будет ли еще когда-нибудь так легко и радостно потому лишь, что воздух похолодел и попрозрачнел, и так ли уж велика власть природы, отнявшей равнодушно маму и взамен предлагающей: а вот осень твоя любимая! Из окна тринадцатого этажа хорошо видно небо; если не смотреть вниз, то только небо и видно. Бездна. Роза ветров. Облака как громадные лунные камни. Ау! Откликнись! — кричи — не кричи... Всех поглотит, по очереди и безвозвратно. Была жива бабуся — она их отгораживала, собой прикрывала. Мамочка же, как спящая красавица в хрустальном гробу, очнулась после двенадцати лет вяло протекавшей душевной болезни — в день бабусиной смерти. И затем еще двадцать лет заслоняла ее. Так Аллочка теперь понимала и до ломоты в глазах вглядывалась в эту близкую бездну, перед которой осталась первая. Об Илюше подумала — у него есть еще какая-никакая стенка, они с Юрой, с невыносимым.

Мамочка вот могла только уехать, умирающая собралась и уехала, пра и честь знать, а потому, что он молчал, недовольный, но она-то чувствовала, и это, и многое другое. Лежала в кресле-кровати, думала неотрывно о чем-то своем, хмурилась, и, когда Аллочка хотела поговорить с ней, о чем теперь столько думает, мама слабо шевелила иссохшими пальцами, словно отгоняя назойливую муху, шептала: «Глупости...» Иногда, очень редко, мама и улыбалась. Это когда Аллочка из детства вспоминала. И сердилась, если дочь на мужа или на сына жаловалась. Закрывала глаза, сдвигала брови: «Это ваши проблемы». Такой у мамы характер — давно еще, сразу после свадьбы, сказала: «Вам решать, не мне». Может, это и правильно, но тогда для Аллочки лучшей помощью и стал бы ее совет, да и потом, а если разобратся, то и всю жизнь. Не умерла бы так рано бабуся, насколько бы все было яснее. А подруг у Аллочки не было, приятельницы разве что, но с ними откровенничать она зареклась давно, когда еще жили в Ленинграде. Юра тогда учился в академии, Аллочка сидела дома с трехлетним Илюшей, а жи-

ли они в семейном общежитии. И сдружились — не сдружились, а, похожими заботами и общей жизнью объединенные, стали ходить друг к другу в гости и на праздники собираться с другой молодой семьей. И Наташка, женщина вроде открытая и веселая, пожаловалась как-то Аллочке: «Мой отличник совсем заучился, так и спит с книжками в обнимку. Терплю-терплю, а потом и беру его посреди ночи штурмом». Аллочка, краснея, ответила: «А у нас наоборот...» Смутилась еще жарче: «То есть я, конечно, не заучилась, это он отличник, Юра...» А Наташка как блеснет глазами да как вцепится в Аллочкину руку: «Да ну?! Юрка? Ну кто бы мог подумать, а такой дохленький с виду...» — и засмеялась, развеселилась. Аллочка тогда же пожалела о своих словах, будто предала, и его ли вина, если Наташка стала поддавливать Юру наедине, а на глазах у всех залеплять поцелуи, будто бы дружеские, и обращаться не иначе, как капризно кривляясь: «Ну Ю-урик...» Юрий только глупо улыбался, а дома успокаивал измученную стыдом и ревностью Аллочку: «Да ты что, птичка! Мне противно, ну что я могу поделать, она же сама липнет, клянусь тебе — я кремень! Железобетон!» И так продолжалось около года, пока не закончил он учиться и не уехали они из Ленинграда. Тогда они еще не стали такими чужими. Аллочка нет-нет и вспоминала о Наташке, особенно если Юрий как бы попрекал: «Рыбка ты моя холоднокровная». Она понимала, почему он так говорит, и чувствовала себя в первые годы виноватой, а потом — и оскорбленной, и произнесенным срывался ответный упрек: «Ну кто ты есть-то сам?»

Илья, злой мальчик, не подходил к бабушке: «Фу-у, мам, там так воняет», — и Аллочка не находилась в ответ, пугалась только, чтобы не услышала мамочка. Ела мама совсем мало, в день — один грецкий орех, а пила помногу, разбавленного гранатового сока выпивала по два или три литра. Стеснялась Юрия, что это дорого, но он ничего не говорил. Да ведь и молчание бывает разное, и Аллочка, зная скупость мужа, сама уже сжималась душой, докладывая вечером как бы весело:

— А тот старик грузин меня уже в лицо узнает, здороваётся. Подешевле гранаты уступает, и сам выбирает послаще.

Юрий молча долго мыл руки и лицо, переодевался в домашние джинсы и футболку, садился за стол: «Ну, корми, жена». Раньше, когда она работала, он так не говорил, вот так требовательно, и не отставлял тарелку со злостью, чуть не отшвыривал, если не нравилось. Жадный стал, за каждый потраченный рубль требует отчитываться. Смотрит стеклянными глазами, как удав. Никто так никогда на Аллочку не смотрел, чтоб ноги от страха немели. Аллочка весь вечер старалась присидеть с мамой, покормит их — и к ней.

Мама не помнила многого и не знала, только теперь от Аллочки слышала. Что на нее как на Царевну-лебедь приходили посмотреть люди со всего света, из разных цехов огромного завода, заглядывали в их плановый отдел, рассматривали — иные исподтишка, а некоторые откровенно и восхищенно; она же цепенела, поджимая под стулом стоптанные туфли, а лицо оставалось невозмутимым, надменным даже. Аллочка так точно это пересказывала, что и сама не понимала, откуда ей известны все подробности, — может, бабуся рассказывала, а ей — мамыны сослуживицы или... Но как же еще объяснить? Что мама тайком рисовала, школьными цветными карандашами в школьных же альбомах для рисования, растирая пальцами, отчего получалось будто бы пастелью — неведомые пейзажи, диковинные цветы и птицы. Еще как их с отцом разводили, это уже точно с бабусяных слов: он собирался жениться второй раз, торопил с разводом и добился, чтобы трехлетнего Витюшку отдали ему. А пятилетняя Аллочка осталась при матери. Бабуся была убеждена, что он таким способом избавил себя от алиментов, а сам Витюшка ему был безразличен, хотя на суде злодей утверждал, что жене его по болезненности не по силам будет поднять двоих детей да и мальчику отец нужен. Бабуся не смогла отстоять Витюшку, и Анна была не в помощь. Будто Божье наказание — как только слово ей дали, как встала, так и задохнулась, затряслась. Постояла так, задыхаясь и дрожа, как

малый ребенок после долгих рыданий, и вернулась на место. А злодею того и надо.

— Ну вот видите! — кричит. — Нечего же ей сказать!

Витюшку отец увез по закону.

— И какой же такой закон позволяет мать с ребеночком разлучить! — обивала разные канцелярии бабуся, и женщины, там работавшие, сочувствовали ей, беспомощно кивали.

Бабуся еще ездила туда, к ним, на край России. Вернулась одна. И перестала ходить в организации, при Анне о Витюшке не упоминала. Годы спустя Аллочке рассказала:

— Я выкрасть тогда решила Витеньку. Добиралась как — не вспомнить, по адреску, адресок-то мне добрая женщина раздобыла. Добралась, ну и место, одно слово — край света. Как увидела его, вечер был уже, там же мерзлота смертная, хоть и лето — земля не теплеет, а он в одних трусиках у подъезда играл, и трусишки-то старенькие, как марлевые светятся. Подхватила, я бабуся твоя, шепчу ему, едем к мамочке, к сестрице. Ну, он как закричит, как заколотит ножками, несмышлениш ведь, ему что злодеи наговорили — тому и верит. Не хочу, кричит, не буду, и все вот так ножкой-то норовит. Там и злодейка выскочила, ахх... Заболеет же, заболеет.

Бабуся, чтоб выглядеть всегда цветущей, каждое утро выполняла упражнения: сто легких хлопков ладошками по щекам. И румянец был, как у девушки, до самой старости. Они жили в большом уральском городе, в разных квартирах, и бабуся поначалу на выходные, а потом и совсем забрала к себе Аллочку. Видела, что будто червь точит Анну. И все молчком; Аллочка подрастает, веселенькая, глазастая, ласковая, а мать смотрит и не видит, слушает и не слышит, отрешенная, не веселая, и печальной не назовешь, тень от человека, а не человек. И, однако ж, красивая была, белее лилии, сам директор завода подвозил ее на служебной машине после работы. Месяц подвозил, другой подвозил. Она благодарит рассеянно, попроцается — и в подъезд, и даже из окна не глянет, как он отъезжает. Разговоры пошли и по заводу, и дальше, вот тогда и любопытные потянулись в плановый отдел, и директор однажды собрался с духом.

— Анна Алексеевна, — говорит, — вы же знаете, я люблю вас.

Она глянула, отвернула лицо и вздохнула, промолчала.

— Выходите за меня, — жалобно сказал директор. — Я буду вас всю жизнь любить.

Разговор происходил в машине, и, должно быть, шофер рассказал о нем кому-то, а кто-то еще кому-то, а тот — бабусе, потому что Аллочка не могла всего этого видеть и слышать, но вот знает же. Как Анна неожиданно резко и с удовольствием ответила:

— Нет. Остановите машину. Прощайте.

— А куда подевался тот директор потом? — спросила Аллочка теперь у матери и, не слыша ни звука в ответ, вгляделась в худое старческое лицо. В сумерках оно казалось отлитым из темного металла, глаза плотно закрыты, губы сжаты. Лишь поддрагивающие сдвинутые брови показывали, что мама не спит, что не надо бы Аллочке вспоминать об этом. Трудно с мамочкой, так всегда было, с самого детства.

Как бы она росла, если бы не бабуся? Ее запах она помнит и теперь — сдоба, корица и к вечеру ощутимее лаванда. Бабуся водила Аллочку в музыкальную школу, в балетную студию, научила вязать крючком ажурные салфетки-снежинки, печь нежнейшие бисквиты, а также держать спинку.

— Держи спинку! — строго прикрикивала бабуся, когда Аллочка вымучивала домашнее задание.

Когда Аллочка стала девушкой, бабуся была ей как старшая подружка, с ней можно было обсудить, какое платье шить к выпускному вечеру, какие босоножки подобрать, как ответить дворовому хулигану Цареву, Царьку, вздумавшему ее преследовать и побивающему всех ее прочих ухажеров, и как вообще с ними со всеми разобраться, если в каждом есть что-то симпатичное, но это не любовь, нет. И так хорошо им было сумерничать,

прижавшись друг к другу, чувствовать тепло и покой, что минутами Аллочке казалось, что она и бабуся — это одно, и если пошевелить ногой, то качнется не вот эта, с узкой ступней и тонкой голенью, а вон та — в шишечках солевых отложений и переплетениях вздутых вен. И когда тромб, шарик застывшей крови, зашевелился, оторвался от стенки одной из этих вен, и отправился в сердце, и в считанные минуты разделался с бабусей, а случилось это как раз после Аллочкиного выпускного вечера, и утром она нашла дома окоченевшее уже тело, тогда она почувствовала не ужас, не страх смерти, а странную вещь: хотела вдохнуть — а сердце не дает, словно где-то между ребер иглу воткнули. Никак не вдохнуть, игла не пускает! Тогда Аллочка, стараясь не глядеть на посиневшую бабуся, осторожно опустила на корточки, обняла руками колени и так сидела без вдоха. Когда уже не могла вытерпеть, медленно, потихоньку попробовала воздуха. Иглы не стало, сердце соглашалось жить. То была минута, когда по ошибке в бездну заглянула Аллочка. Но проснулась Анна — и порядок восстановился.

Аллочка осталась в бабусиной квартире. Похороны прошли словно бы по краю сознания, на кладбище Аллочка не поехала, несколько недель еще она не выходила на улицу. Мама переехала к ней. Аллочка почти со страхом вглядывалась в незнакомую строгую женщину, которая приносила продукты, готовила на кухне, убирала в квартире.

— Ты умеешь жарить котлеты? — удивлялась Аллочка, недоверчиво пробовала. — Точно как у бабуся...

Аллочка поступила в институт, но это не было для нее сколько-нибудь важным событием, это как-то само собой разумелось. Событием же стала мама. Анна обменяла две маленькие квартирki на одну большую. В трех комнатах им жилось просторно. Утром расходились, вечером встречались за ужином, рассказывали друг дружке о прожитом дне. Перед сном Анна воевала с вечной пылью, которая словно бы плодилась сама из себя даже при закрытых форточках.

— В каком городе мы живем, каким воздухом дышим... — вздыхала мама, работая быстро тряпкой.

Всегда собранная, озабоченная хозяйственными делами, она словно бы наверстывала отхваченные болезнью годы.

— Ах, мамочка, как хорошо! — призналась ей однажды Аллочка. — И страшно: вдруг это всего лишь сон, и все пропадет, исчезнет в любую минуту?

— Не говори глупостей, — хмурилась Анна. — Тургеневская ты девушка, бабусяно воспитание.

Аллочка слегка побаивалась ее, потому и не договорила тогда главной своей страшной догадки: ведь для того, чтоб стало так хорошо, должна была умереть бабуся? Значит, и эта их жизнь, такая сейчас хорошая, может состоять в какой-то пока неизвестной связи с чем-то еще? С появлением отца, например? И* в другой раз она решилась задать вопрос:

— Ты что-нибудь о Витюшке знаешь? — И испугалась.

Лицо матери помертвело, взгляд стал пустой и ищущий, такие глаза Аллочка много лет спустя видела у овчарки, потерявшей хозяина. Анна прошептала:

— Что с ним? Вы скрывали? Что с ним, говори! — И когда Аллочка в слезах бросилась к ней успокаивать, уговаривать, она поверила и слегка еще сиплым голосом, но спокойно сказала: — Детка, не волнуйся, все, все, никуда я не денусь. Значит, бабуся тебе говорила...

Анна в раздумье произнесла:

— Я виновата, так. И все же это так странно, непостижимо — он там живет где-то, у него есть мать, отец, семья... Но родила-то его я, и грудью кормила, и ночами не спала, любила как умела — так в чем моя вина? И есть ли этому объяснение? Хоть какое-нибудь?..

Аллочка хотела бы ответить матери в таком духе, что одно только знает точно — человек этот, ее отец, обязательно ответит, хотя бы лично ей. И открыла было рот — осеклась: уткнулась в нее пощечьями, затихла.

Витюшка сам их нашел через несколько лет, он как раз демобилизовался и возвращался домой через их город. И нашел он их легко, позвонил с вокзала в справочное, назвал фамилию — имя — отчество Анны и тут же получил ответ. Был вечер, и Аллочка сразу даже не сообразила, кто это так уверенно потребовал по телефону: «Позовите Анну Андреевну! Передайте, ее Виктор спрашивает». Аллочка тогда еще разозлилась на этот требовательный тон и ответила исключительно вежливо: «Добрый вечер. Если вы имеете в виду Анну Алексе-е-евну, то она придет с работы минут через двадцать. Я обязательно передам, что ее Виктор спрашивал». Эй, так ты ее дочь? — обрадовался парень. — Ну привет, сестра! Это я, Виктор, Чурин. Все правильно, Алексеевна. Андреевна — это ты, верно? Ха-ха, я же тоже Андреевич». У Аллочки тогда руки стали подрагивать и голос. Она сказала: «Привет, Витюшка. Ты откуда звонишь?»

От вокзала до их дома было полчаса на троллейбусе, и за эти полчаса Аллочка успела всплакнуть, ужаснуться, умыться холодной водой и переодеться, вскрыть в дополнение к рядовому ужину две банки шпрот в масле и накрасить губы. Встретить Анну в прихожей и объяснить свой парадный вид как бы буднично: «Мамочка, только спокойно. Через десять минут здесь будет Витюшка, он отслужил и теперь здесь проездом, прямо с вокзала». Подхватить сумки, усадить ее, раздеть и разуть, стереть дождевики с лица. Прижать лицо к своей груди: «Я люблю тебя». Открыть дверь на долгий, долгий двойной звонок.

Виктор оказался невысоким толстоватым мѳлодцем. Он смущенно хмыкнул, переступил порог и сказал Аллочке:

— Ну, со свиданьем, что ли. — И обнял ее неловко, не выпуская из одной руки дипломат в ярких наклейках.

Анна вышла из комнаты как в замедленном кино. А он и вовсе растерялся от этих женских слез, объятий, оглаживаний, бормотал:

— Ну чего вы, чего, ну ладно, ладно.

Аллочка поначалу незаметно, а потом и совсем откровенно изучала его добродушное лицо здорового человека. Он рассказал быстро, как анкетку заполнил, что после школы сразу поступил в институт — думал, началась вольная жизнь: куда там! Отец тут же, легкий на подъем в свои пятьдесят, все бросил и переехал в Москву: взяли в стройуправление рабочим по лимиту, прописали в общежитии, а теперь он там прораб, специалист же крепкий, комнату даже дали почти сразу, через три года. А Люся, мачеха, уехала от них давно еще, не смогла: из дыры, говорила, ты меня в трясиину затащил. А там болот и не было, лесотундра, сопки — красотища.

— А у вас хорошо, квартирка ого какая, — приговаривал Виктор, уминая картошку с мясом. Шпроты он вылил вместе с маслом сюда же, в тарелку, и аппетитно собирал хлебным мякишем подливку. — А я так подумал: если уж все равно еду через свой родимый город, надо навестить, да и самому хотелось: кровь — не вода... Старик пишет: приезжай скорее, заболел — стакан воды некому подать. Письма мне писал, смешные письма. Комнату, говорит, жалко, приезжай — хоть пропишешься, а случись что — пропадет, приезжай скорей, пропишешься, чтоб хоть не пропала. Боялся, что там останусь — на сверхсрочную или женюсь. А я не женюсь. — Он помедлил, раздумывая. Спросил, глядя в тарелку: — Приедете, может, к нам? В гости?

Аллочка не смотрела на мать, подкладывала Виктору то картошку, то салат, грела чайник, кормила его булочками с корицей; Анна сидела беззвучно. А после чая она сказала:

— Вот так, детки мои... Вот так, значит.

Наутро Виктор хотел ехать и остаться еще дней на несколько отказывался. Заснул на Аллочкином диване мгновенно, завернувшись после ванны в ее длинный махровый халат. «Хорошо-о...» — пробормотал он, засыпая, и Аллочка некоторое время еще рассматривала его лицо. Широкое, розовое, губастое — чужое вроде бы. «Братец, братец ты мой, со свиданьем», — подумала она и поцеловала его в теплую щеку. Анна не спала, и,

когда они уже наплакались вместе, жалея его, и себя, и всю такую судьбу, и решили, что старика одного и не следует жалеть, а надо оставить Витюшку здесь, не отпустить его, задержать насильно, и настроили планов, и обессиленно замолчали, Аллочка еще долго, пока сама не заснула, угадывала по дыханию, что мама не спит. И утром с легкой душой, как бы уверенная, что планам достаточно было построиться этой ночью в их разговорах, чтобы непременно и незамедлительно осуществиться, она пошла на кухню, на запах и радостное шипение яичницы.

Анна сказала:

— Виктор обещал приезжать. Звонить.

Аллочка хотела спросить, но мать вдруг закричала, впервые вот так зло, будто бы Аллочка и была главным злом для нее:

— И все, я сказала! Довольно болтать! Марш умываться!

Сколько раз потом Аллочка проигрывала в памяти это утро, сколько правильных слов и жестов находила, и они бы не были игрой, они тоже были бы правдой, или вообще ни слова в ответ, но тогда — то ли злое лицо Анны так поразило, то ли досада на беспомощность, то ли еще что — она нашла другую правду, самую худшую, которую только сама Анна могла знать.

— Это ты во всем виновата, — сказала маме Аллочка.

А Виктор звонил, приезжать — не приезжал, но звонил в праздничные дни обязательно, и грустно было Аллочке слышать его голос, и грустнее всего было думать, что вот братец Витюшка, кажется, всем и правда доволен, и ему в голову не приходит, что с его появлением, как того и боялась Аллочка когда-то, случилась одна непоправимая вещь. Хотя внешне все как бы вернулось на места, Аллочка тогда сразу же попросила прощения, Анна — тоже. Как перед смертью тогда просили они друг друга простить и ни одна не сказала, что прощает, потому лишь, что каждой было стыдно за себя, и невозможным было посчитать себя вправе прощать.

Никто не был виноват, конечно. И она сразу все поняла и согласилась, когда Анна стала жаловаться на эту невыносимую пыль в центре города, на эти потолки с лепниной, не добраться до них, и даже подыграла матери, чтобы это считалось ее идеей:

— А как замечательно было бы жить за городом, и квартиру бы нам поменьше, как у бабули была, зачем нам такие метры-километры.

Целый год они менялись, торговались, побольше доплату искали, и однажды все сложилось, как требовалось, как в сложном пасьянсе: они оказались в башне на окраине города, Виктор позволил выманить себя по случаю их переезда, как бы в помощь, что было шито, конечно, белыми нитками, но Анна опасалась, что он вдруг не захочет принять от нее деньги, и потому придумала этот смешной повод. И вот все вместе они отмечали новоселье, и хмельная Анна заявила:

— Сынок, а у нас для тебя тут кое-что...

После этих слов она стала шарить в ящике письменного стола, и на мгновение на лице ее проступил страх, но конверт с деньгами был на месте, и она торжественно его извлекла, вложила в руку Виктора.

— Тебе должно этого хватить для отдельной квартиры, сынок.

А он — не принял! Сказал, что им нужнее, отговорился, не взял.

Когда он уехал, Анна сказала:

— Моя порода.

Она сидела на обшарпанной кухне, смотрела в голое черное окно, прямо улыбаясь, словно видела там что-то, кроме своего отражения. Аллочка осторожно погладила мамины редущие волосы и поразились ее сходству с бабусей: прямая спинка, легкий светлый профиль, черные глаза — и подумала: «Вот и я буду такая...»

К тому времени, когда в их жизни появился Юрий, Аллочка, бросив институт с третьего курса, успела поработать от простой копировщицы до какого-то младшего инженера и приунуть: нелюбимая профессия, скучные кавалеры, да и те, как только сообразят, с кем дело имеют, не задержива-

ются. Аллочку это удивляло и неприятно тревожило: вокруг все встречаются, влюбляются, бегут на свидания, целуются, гуляют в обнимку — не может же быть, что ей это недоступно? Две свои влюбленности, на первом курсе и потом еще, она помнила не то чтобы с болью, но неловко ведь все закончилось и почти одинаково: пощечиной и «дурой» в первом случае, «сидистой» — во втором. А главное — оба раза она влюблялась в октябре, когда готова была любить всех подряд, каждое мелькнувшее в густом пузыристом потоке своих мечтаний случайное лицо, — осень была причиной!

— Ничего не поделаешь, — успокаивала Аллочку мама с плохо скрываемым удовольствием. — Это в тебе кровь протестует.

А против Юрия не протестовала вот, почти. Но и парень оказался необычный — дарил ей розы, каждый день. Встречал у проходной, подходил с неизменно смешным: «Здрасьте...», вручал букет и сопровождал до дома, отвечая на ее вопросы коротко. Она узнала, что он недавно из армии, живет в общежитии, хочет поступать в институт. Младше Аллочки на четыре года. Узкий нос, тонкие губы, невысок — ничего особенного. Глаза вот очень светлые, цепкие, будто насквозь видят, столкнешься взглядом — как морозом обдаст. И тянет еще посмотреть. Сентябрь заканчивался, ничего не поделаешь. Аллочка, чтобы не молчать, рассказывала о себе, и не заметила, что скоро все уж, всю свою жизнь, в которой и не было особых секретов, ему выложила. И теперь он сделался ей кем-то если и не близким, то почти что своим. Выходило так, что она же ему все о себе рассказала, и от этого к нему и привязалась. А о нем знала только то, что и в первый день знакомства. Но он так хорошо молчал — и Аллочка ни минуты не усомнилась, что во всем этот странный друг ее понимает, а еще все ловила на себе этот его взгляд. Не удивилась, когда Юрий решился и сразу заговорил о женитьбе. Аллочка просто согласилась, и обоим сделалось так весело и легко, будто бы они все давно уже знали, но вот требовалось выполнить какое-то не ими установленное условие. Весь остальной вечер Юра шутил и рассказывал ей, что это ведь он ее не просто повстречал, он ее помнит, когда еще давно студенты приезжали к ним «на картошку», он пацан был совсем, шестнадцать лет, но — запомнил ее, на танцах тогда увидел. Неужели совсем забыла, он пригласил ее на медленный танец, ведь и познакомились тогда же, имя ее он четыре года уже повторяет. Девушки все брови выщипывают, а у нее настоящие, красивые — он сказал ей это, тогда еще. Ездил даже в город потом нарочно, возле института ходил. А в армии уже дал себе слово, что найдет эту Аллу, вот и нашел. Они целовались под деревом, пошел дождь, и он нес ее на руках к дому, чтобы ноги не промокли, потом в темном подъезде целовались. Ключом она долго не могла попасть в замочную скважину, а Юра взялся помогать, но поворачивал не в ту сторону, и ключ сопротивлялся — это Анна уже открывала дверь.

Она встала в проеме, сонная, хмурая, и с одного взгляда поняла. Потом посидела с ними на кухне минут пять, сказала: «Ну, что ж, чему быть...» — и ушла к себе.

Наутро Юрий пришел в белой рубашке, торжественный. Они подали заявление. Расписались, сняли комнату и стали жить отдельно, потому что Анна сказала Аллочке:

— В доме появился хам.

Для нее все хамы. Аллочка ответила:

— Я хочу от него ребенка.

И Анна махнула рукой.

— Вам решать, не мне...

А еще через год он поступил, по настоянию жены, в Военно-политическую академию. Аллочка с новорожденным Илюшей уехала к нему в Ленинград. Виктор по каждому событию присылал телеграмму на художественном бланке, все с зайчиком. Подписывался: «Витя и папа». Академию Плахов окончил с отличием, и местом службы ему определили вначале подмосковный Загорск, а затем и саму столицу. Новая квартира, Илюша как раз в школу пошел, работа в отделе на режимном заводе, от звонка до звонка

ка. С братом они теперь жили в одном городе, а за несколько лет виделись лишь однажды наспех, братец торопился по своим делам. Он сильно похудел, был неразговорчив и откровенно спешил распрощаться, как будто она навязала ему эту встречу. Маме привет передал.

Уже в дверях ухватила его Аллочка за рукав.

— Ты с отцом живешь?

— А-а, старику мы дом купили, на Азовском море.

По праздникам стали приходиться телеграммы из села Ботево, а в Илюшин день рождения — почтовый перевод с приглашением приезжать на лето. Аллочка ни разу не ответила, а деньги тут же отсылала обратно.

Она ушла с работы — Юра сам и сказал бросить. Аллочка понимала: он хочет как лучше. Но она ведь и старалась — на кухне потолок побелила, занавески прошила, свитер Илюше довязала, всего не перечесать. За два месяца все сделала, даже эти обои морские поклеила. Под цвет обоев купила плотную атласную ткань, из нее покрывало для дивана и накидки для кресел сшила. А он, видно же, недоволен. Может быть, старая стала. Аллочка накупила парфюмерии, чудо-средств от старения. Лучше бы не делала этого, он ведь и всегда жадный был. Взглядом одним, она ясно чувствует, ауру ее хрупкую смял. Чем она виновата? Еще подумала, что, может быть, потомить надо мужа, приелась такая домашняя. Дурой назвал, набитой, она убежать хотела куда глаза глядят, как только выдержала. Что ему еще нужно — не понимала Аллочка. Мини-юбку натянуть? Юра — давно еще — купил ей мини, она даже не примерила: «На меня предки смотрят оттуда, что ты». Еще бабуся ее была княжной по рождению, об этом Аллочка не забывала, и был у них в центре Петербурга двухэтажный особняк, и род это был высший, аристократический, — не просто дворяне. Бабуся семилетней девочкой везли в Сибирь в товарняке со многими другими людьми и с крысами, а там она выжила у доброй простой женщины, которая служила еще у бабусиных родителей и которая дала девочке, единственной живой из всей большой семьи, свою фамилию. Каково было бабуся узнать правду в тридцать лет, когда женщина та только перед смертью рассказала! И дальше скрывать, даже от мужа. Дедушка не вернулся с войны, так и не узнал, что женился на княжне, чьи предки давали блестящие балы в Петербурге, всего лишь сто лет назад, об этом Аллочка прочла у Лермонтова, в четвертом томе. Когда жили в Ленинграде, Аллочка ходила смотреть этот дворец, один раз, всего один, лучше бы не ходила. Мама вот ни разу даже в город этот не приехала, и желания такого не было — не хотела. А в другой книге вычитала, что в шестнадцатом веке один из ее предков взял в жены невыносимой красоты цыганку, вот эта цыганка проявилась, верно, теперь в Анне и Аллочке, и у бабуся такие же были черные блестящие глаза и волосы, до самой старости. И вот как представить себя в мини-юбке? Стала наряды подбирать, по журналам мод. Шила она и раньше что-нибудь попроще, и машинка хорошая имелась, так что неудивительно, что к некоторому месяцу домашней жизни разгорелась в Аллочке портняжная страсть. И таких нарядов она себе нашила, от домашнего парчового халата и летних крепдешинных сарафанчиков постепенно переходя к самым сложным моделям костюмов и пальто, что руки опустились. Дальше своего спального района Аллочка и не бывает, да и здесь — только по магазинам, даже с соседями не знакома. Обрадовалась, когда Юрий сказал вдруг, что, возможно, летом получится съездить за границу, в Турцию. Заграничные паспорта начали оформлять, счастье какое. Воображала свое там появление и всеобщее изумление — где, чье? — она не видела точно этого места и этих лиц, мелькала позолота на подсвечниках, сверкали белизной мраморные колонны, люстры... Было у нее одно платье, «королевское», — его она не по выкройкам, а уже по собственной фантазии создавала, темно-коричневого тонкого бархата, расшитое речным жемчугом и с норковой отделкой. Длинное до пят, талия на корсаже, плечи открыты — Илюша и Юрий как увидели ее в нем, так и речи лишились: королева. Аллочка походила в нем по квартире минут пятнадцать — и убрала в шкаф. Никуда они не поехали, от мамы

письмо пришло. Анна писала, что ее прооперировали в прошлом году, она не хотела им сообщать, но теперь болезнь возвратилась — и окончательно. От повторной операции она отказалась, считает все это бессмысленным. Мама звала их к себе.

Аллочка позвонила брату, все-таки она и ему мать, но Виктора не было, никого не было, только автоответчик просил оставить сообщение. Аллочка несколько раз бросала трубку, не дослушав эту машинку, но надо было торопиться, и она, пересиливая свое отвращение к этому разговору в пустоту, «оставила сообщение». В начале августа они вылетели. Несколько лет не виделась Аллочка с матерью, а оказалось — несколько десятков. Показалось, что болезнь съела не только тело, но и большой кусок души ее, — то, что проглядывало во взгляде, нельзя было назвать жизнью. Аллочка действовала решительно: встретила с лечащим врачом, выслушала приговор и, услышав, что один шанс из ста все же есть, ухватилась за этот последний шанс. Маму она уговорила ехать в Москву, собрала необходимые документы. Юрий тем временем купил обратные билеты, и уже в конце первой недели августа они были дома. В дороге у мамы опять открылось кровотечение, и в больницу ее положили прямо с самолета. А через месяц, не нужна была операция, выписали. Еще через две недели мама сказала:

— Загостилась я здесь что-то. Пора и честь знать.

И ничего Аллочка не смогла поделать, та сила, что двигала ею, когда один шанс обещали доктора, теперь истаяла. Аллочка собиралась медленно, чего-то словно ожидала. Прошла еще неделя, мама сердилась:

— Здесь мне умирать ни к чему, не хочу быть в этих местах похороненной! — И они наконец вылетели.

Аллочка смотрит в окно и видит много неба. Снизу оно кажется могущественным, всесильным. Какую силу надо иметь, чтобы сдвинуть эти громады облаков, гигантские лунные камни, а они разбегаются на глазах, ветшают и рвутся на части, как серое больничное белье. Когда летели с мамой, она захотела смотреть в оконце, где облака были похожи на февральский снег в их городе, тогда они жили в центре вдвоем, давно — она и мама. Анна улыбалась, слепящий свет бил ей в глаза, но она смотрела широкими глазами вниз на облака и забыто улыбалась. Аллочка губами не выпускала, что рвалось из груди, и оно мстило, колотилось в ребра, слезами не могло излиться. Мама повернулась: солнце еще стояло в ее зрачках, и она не увидела Аллочкиного лица, да и ничего не видела после близкого солнца, она, улыбаясь, заснула на Аллочкином плече — и тот пленник в груди стих.

Аллочка научилась делать уколы, чтобы снимать приступы чудовищной боли, накатывавшей на Анну весь последний месяц с такой неотвратимой размеренностью, словно это была не боль живого человеческого организма, а необходимое явление природы. В промежутках, когда боль, смиренная лекарством, притихала, мама шептала, что это она перед всеми виновата, только она.

Вернулась Аллочка скоро, еще и осень не прошла, с тремя школьными альбомами для рисования, где сохранялись мамины картинки — цветы невиданные, райские птицы.

Просторы иной жизни

Витьку Чурина — жалели, что ли, в школе учителя: не выучил, ну ничего, Витя, я точку поставлю — в следующий раз выучи, не забудь; в очереди, будто калеку, все старались протолкнуть вперед, когда за привозным молоком к десяти ноль-ноль у магазина собирался чуть ли не весь поселок. Молоко было помороженное, когда продавщица наливала в бидон, оно пришепывало сгустками белесого ледка, забрызгивало ее клеенчатый фартук и стекало каплями. «Рупь восемь», — бормотала продавщица, все брали по три литра. И он — как все. Почему же вперед всех? И Витька, бледнея, упирался, отстаивал сколько надо, не желая слышать, и жадно все же вслуши-

вался, что могут про него сказать. Но люди быстро забывали о нем, негромко переговаривались о своем, и он тоже забывал на время. Если отец есть — какой же он сирота? Пока была с ними Люся, хоть и злая, но он не замечал, чтобы все обращали внимание на их с папкой жизнь. Люся каждый день кричала на папку, что он ее сгноить решил, что здесь не жизнь, а тупое существование, она с дипломом пирожки в ресторане печет. Квартиру, кричала, мог бы поделить. Борщ Люся вкусно варила, папка тоже умеет, но не так. В одно лето она уехала на материк, в отпуск за три года, и не вернулась. Витька был рад: теперь никто не кричал, они жили в хорошем двухэтажном доме, в деревянном, на восемь квартир. На стене у своей кровати Витька наклеивал картинки из любимого журнала «Техника молодежи», и никто на него не кричал за это, папка одобрял: «Ну ты, Витюха, будешь конструктором, глаз есть, е-есть...» А лучший Витькин друг с первого класса Саня Неведомский помогал. У него была еще сестра и совсем маленький брат. Саннин папка был страшный, с трубкой в горле, сидел почти всегда дома. Он умер, когда как раз Саня приклеивал «Тойоту» возле «Мицубиси», у изголовья была вся Япония, а вдоль кровати — Европа и в ногах Америка. Саня пальцем для верности заглаживал картинку, чтоб не запузырилась, и будто гладил ее, «Тойоту» настоящую. В марте стены еще холодные, а под кроватью в углу можно наскрести льда. Не слышали, как вошла Санина сеструха, дверь не запирали. Она хихикнула за их спинами, и оба гневно кинулись к ней: смеяться?! Она отпрыгнула: «Дураки, вы че, папа же умер!» Саня, будто не понял, посмотрел на «Тойоту», на Витьку, потом на сестру задумчиво: «Да катись ты, Светка, это опять приступ. Обещали же три месяца. Это еще до лета». Светка возмутилась: «Я че, вру, по-твоему?! Его уже в больницу увезли!» «Так и говори, что в больницу. Приступ же. Врачи знают». «Дурак! — закричала Светка и разревелась. — Морг-то где, в клубе, что ли? В морг!» Они жили на одной площадке, и Санина старенькая мама, родившая этого горластого Вовку, открыто радовалась, что старший сын всегда торчит в соседской квартире, — считай, что под присмотром. Санина мама совсем седая, будто нарочно покрашенная, и всегда радуется — улыбается и бледными полными губами, и коричневыми блестящими глазами, и всеми мягкими морщинами вокруг губ и глаз. Витьке нравилась Санина добрая мама, а когда он увидел ее пиджак с медалями — Саня показал в шкафу, сама она не надевала его даже в День Победы, все ветераны стояли на трибуне в таких пиджаках, а Санина мама и на торжественное собрание не ходила, никогда, — это были боевые медали, Витька разбирался, тогда он почувствовал и зависть: «Вот это мама!» Они вторым кинулись к Неведомским. «Ну?!» — угрожая неизвестно кому, крикнул Саня. Его мама вышла из комнаты, показала рукой: «Тихо», — там Вовка заснул. Она не могла улыбнуться, Витя видел, что хотела, но губы непослушно искривлялись, она мелко закивала головой, совсем как старуха. «Так ведь врачи же обещали?» — требовал громко Саня. Вовка закусился, мама скользнула к нему, а Саня все повторял, что обманули, три месяца еще, до лета. Через много лет, в Москве, дружба их в один день прекратится навсегда, в один даже час. Институты без военной кафедры стали отдавать своих студентов. Чурин не мог понять, почему ребятам кто как может открываются — кто «косит», находит старые болезни или придумывает несуществующие, кто по другому адресу живет, чтоб на повестке на расписаться. Сам он сразу засобирался, комиссию бодро проскочил. Отец чуть не испортил все: «Ну что? Как напишешь — я приеду. Устроюсь там, сгожусь небось». Витя накричал на него, хлопнул дверь. У Неведомского в общаге решил до утра пересидеть, наказать. Саня учился в автомеханическом, военная кафедра, а и там новость: ему тоже повестка пришла, Саню летом отчислили за драку с командантом общежития, это был год Олимпиады, не прошло. Неведомский пил, похоже, который день подряд. Родителей своих стал клясть. «Суки безмозглые! — кричал Неведомский в пьяном остервенении, сидя на расхристанной своей койке в мятой одежде. — Наплодила нищету — от кого? От трупа! Где? На Колыме! Кто тебя родил и где тебя родили — вот и вся судь-

ба, понял, ты! Вон бай сидит, у него «шестерка» дома в гараже, подарочек! Приехали-отмазали, а мы — в нищете по гроб жизни, уроды!» Сосед Неведомского по комнате Тимур закурил, надел наушники, отчего стал походить на монгольского космонавта. Пританцовывает головой на тонкой шее, глаза прикрыл — иной мир. В дымной комнате над Саниной кроватью яркие плакаты, те же авто, что в детстве, только с девушками. «Твари, твари вшивые, ненавижу!» В такую девушку впечатался Саня круглым смоляным затылком, получив первую, без слепой еще ненависти затрещину, — думал, придет в себя, прекратит. Но Неведомский словно того и ждал, копил в себе, словно по камешку собирал, ничего не растерял — вывалил. «Ты, тварь, еще хуже твари! Кого корчишь, че, не знаем! Убийца, тварь!» Чурин стал бить Саню в бесноватое лицо, в грудь, а тот не сопротивлялся, выкрикивая свое, взбулькивая смешками, будто подзадоривал. «Космонавт» скользнул из комнаты, когда Чурин в беспамятстве рванул на Саню одежду, и яркая рубашка разверзлась. Неведомский замолчал. Виктор встретил его трезвый злой взгляд, отстранился. «Единственный батничек расфигачил». В голубых ошметьях то выступала, то пропадала волосатая грудь — кабан, с детства дрался покрепче любого в поселке ровесника. Виктор ушел, назавтра — сбор в военкомате.

В девятом классе отец взял его с собой на охоту. Не дошли еще до места, «во-он на ту сопку подыдемся, там хорошее место, в ложбину олени заходят», еще и до сопки далеко — отец подстрелил двух куропаток. Фр-р, короткими перелетами, будто крыльев не хватало, кинулись из-под ног еще несколько птиц. Двух подбитых отец завернул в чистую тряпку, уложил Витьке в рюкзак. Якутские лыжи были широки и подбиты нерпичьей шкуркой, чтоб не скользить назад, но они и вперед шли все тяжелее. Отец будто родился таежником, ускользает, легкий, наверх, молча — мороз. В какой-то миг теряется из виду, а Витька тоже молчит, отстают все больше и думает только, что хорошо — нет снегопада, лыжня синяя, видно. Щеки отнялись под шерстяным респиратором. Дышит уже только ртом, и шарф, завязанный на лицо, покрылся толстой коркой. Пальцы болят от мороза, лыжи, как гири на ногах, а еще пилить до макушки — отец сказал, там передохнут. На вершине било солнце. Другие сопки, еще выше этой, зазубривали горизонт. Внизу тихая тайга. И все — тихо. Из запахов только свое дыхание от мокрой шерсти. Первый человек будто на земле. Отец показал вниз: «Ну что, казак, дойдем?» Там деревья в снегу только, а отец говорит, там — избушка, охотничья. Вниз хорошо катиться, легко. В избушке дрова и уголь заготовлены, печку растопили, согрелись. Стены — бревна листовенничные — ошметьями мха проконопачены. Скамьи у стен, стол посередине. В углу пакеты всякие, Виктор покопался — чай, пшено, хлеб промерзлый. «Андриевский оставил, — отец кивнул на пачку сигарет. — Был здесь недели три назад. Рогача уложил». Чудно младшему Чурину, был вроде единственный нелюдимый на сотни километров мир, а тут — Андриевский мордастый три недели назад курил. Охотились все поселковые, куропаток много, а если повезет — одного оленя семье хватало на зиму. Хранили мясо за окном в раздутых авоськах. Не всего, конечно, оленя — делились с водителями, которых надо было поймать еще на трассе, чтоб довели. Но все равно хватало. Папка жарил плотные красные куски: «Жареное самое вкусное — оленье мясо». У них на кухне долго лежала голова старого самца с прикрытыми веками, рога-деревья. Витька водил пальцем по костянистым веткам рогов, трогал морщинистые сухие губы. Потом отец выбросил голову на помойку, где курицы с облезлыми задами выклевали все съедобное. Куропатки — пушистые, кажутся большими, а ощиплешь — цыплята. В избушке Витька в первый раз выпил спирта, отец сказал — надо. Вино уже с Саней пробовали, водку. Спирт отец разбавил, но обжегся все равно. Потом и правда стало горячо телу, легко. Закипел чайник. Папка заваривает крепко, до густой ржавчины. Потом сварили суп из пакета, Витька блаженствовал. Когда затушили свечу и улеглись по скамьям, отца потянуло разговаривать. Сначала он спросил про девочку Олю: влюбился? В нее все влюб-

лены, сказал Витька. Оля — маленькая, волосы белые до плеч, на концах закручиваются. Ноги бутылочками горлышком вниз, всегда волнуется. А когда волнуется — ярко краснеет, и глаза светлые до сероватой белизны, будто иной. В нее все влюблены. «У нее отец — парторг на шахте, подлюга», — говорит папка. «Отчим, — вступается Виктор, — она уедет в Ленинград после школы. В политехнический хочет, у нее — голова. И руки у нее стертые — стирает руками». «Стирает — да...» — не смог возразить отец. Витька не сдержал смех — вспомнил, как отец мучался со стиркой, пока не купил машинку. Стоит в ванне, трет белье и матерится. Так не ругается даже пьяный, а за стиркой — мат коромыслом. Витька в такие дни не приближался — отец, завидев его, орал: «Пшел вон! Стою тут сверху, а он тут...» Остервенело вцеплялся в белье, трепал его одиноко в пене, не подпускал помочь. Что мальчишки, в Олю влюблен кучерявый амбал после ВВС — физрук Игорь Радиевич. А она — всем улыбалась, сияя белыми, один к одному, зубами и ало краснела по пустякам. Маленькая Оля — капитан школьной девчачьей баскетбольной и волейбольной сборной, рост сто пятьдесят пять. Выйдет перед всеми на комсомольском собрании: «Ребята...» — а сама, как брусничина, Чурину вначале страшно за нее, вдруг смешно скажет, хоть и отличница, но вдруг? Спрятать ее хочется. А Оля говорит, говорит, глаза светлыми огнями, все рот разинули, глаз не отведут. Как закалялась сталь. Неведомский рядом шепчет, слышно, и Витя каменеет, коротким тычком его под ребро: «Но, ты...» Неведомский, он знает, только треплет языком, а когда Оля попросит о чем-нибудь, собакой служебной кидается выполнять. «Разъедетесь через год — забудешь», — говорит отец. Витя молчит, спорить нет желания — об Оле хочет вспомнить, как всегда перед сном привык. Белый танец, девочки приглашают, она подошла — к нему. «Я вот — забыл же», — подает голос папка. Витя не откликается, затаил дыхание, страшно сделалось, что отец может сравнить всерьез. А он продолжает, удивляясь будто: «Забы-ыл... Лица не могу вспомнить: так, ерундень всякая лезет, Люська ли, другие. Во сне, бывает, вижу, а проснусь — фить, и нету. Люська — знаешь, почему бросила нас? Я ее Аннушкой, срывалось, называл не раз. Только забылся — тут тебе и Аннушка, а ей какво, Люське. Так и не пойму, что это было тогда. Думаю, думаю иногда, в голове мокрая труха. Не уезжай! — это она кричала, понимаешь ты?»

— Тебе?

Отец рывком сел, обугленно замаячил его силуэт.

— Мне? Мне?! — Черная рука его вскинулась. Витя догадался: фигу скрутил. — Вот что мне! Это она ему, на вокзал прибежала, все слышали: кричала «не уезжай!» Почему она так кричала, а? Я ее тридцать три миллиона раз спрашивал: почему?! Утром спрашивал, днем, вечером. Ночью! Ты можешь мне объяснить? Трясется только. Я понять хочу! Я ей письмо потом отправил, только ответь почему, больше ничего, я понять хочу. Аннушка?... Думаю-думаю, а ты без матери вырос уже, какво... — Он всхлипнул, раскачиваясь потихоньку. Встал, неразбавленного налил себе спирта.

— Ложись, па... — позвал Витька. — Ты не пей помногу, сопьешься же. Многие так...

Он зорко следил, как отец, запив спирт водой, подкладывал дрова в печь. Оттуда красноватым светом обдавало его носастый профиль, подчеркивало впадины под скулами. Мучительно морщил рот, глядел в огонь, забыв о сыне, шевелил бровями: почему?

— Пап, ложись, давай спать, — сказал Виктор громко. — Нам и вдвоем нормально. Не спийся только. Спи.

Отец сказал невпопад:

— Чурины — казаки с Дона!

— Спи.

Покорно улегся, затих. Когда захрапел обычно, с присвистом, Витя стал думать о маме. Точно он помнит мало: снег, белые стены, оранжевые душистые шары, радость — мама! Отец говорил, двухлетним Витьку положили в больницу с какой-то детской болезнью, зимой. Маме

не разрешили, не было места, она приходила каждый день с домашней едой. Насчет апельсинов отец уверен не был, но Витя помнит: оранжевые шары. После них — радость: мама. Каждую осень в школе выдавали бесплатные валенки и меховые черные полушубки — не всем. Помощь детям из неблагополучных и многодетных семей, говорила Зоя Николаевна важно, вызывая по фамилии. В пятом классе назвала вдруг Чурина. Витька удивился: «Почему мне?» Зоя Николаевна тоже удивилась: «Так в списке». Все в поселке знали про Люсю, что не вернулась. Витька понял, что поэтому, крикнул: «А нам еще лучше без нее, нам и не надо! Есть у меня валенки, есть же!» Зоя Николаевна засуетилась, переставлять стала валенки на полу, позвончик через пиджак проступает. «А че такого-то?» — сказал в тишине Неведомский. Он всегда получал, отец — инвалид. «Не че, а что, Неведомский», — вздохнула облегченно Зоя Николаевна и вызвала следующего по списку: «Чусов! Получи». Оля сидела впереди, и Виктор мог на каждом уроке рассматривать ее затылок, розовую аккуратную линию кожи между косичками с голубыми лентами. Полоска тоже краснела, когда Оля волновалась. Она обернулась: «Чурин, я за тебя!» — сказала шепотом быстро, и опять — затылок перед глазами, пробор темнеет постепенно, косички на плечах лежат, будто и не оборачивалась, показалось. Витя тут же забыл про валенки. В животе словно белка скакала, шекотала, толкалась — радость.

Самое страшное с Олей случилось после ее смерти. В белом платье с выпускного бала, всего лишь лето и прошло. Тяжелый гроб, таких здесь не бывало — из самого Ленинграда привезли. Невысока сопка с кладбищем наверху, но крутая — на машине не въедешь. В сентябре снег лежит, солнце выглянет — мокнет земля. Десять человек вносили, один поскользнулся, другого толкнул. Народ ахнул, ужаснувшись: раскинув руки, Оля словно взлетела. Покатилась вниз. Платье в грязи. Женщины, кто не лишился сознания, крикнули. «Кто нес? Кто?!» — метался Чурин вокруг Сани. «Нет про это ничего, сам читай!» — совал он Светкино письмо. Они плакали вместе по Оле, брусничка, брусничка, прости, выл Чурин, и Неведомский вторил ему, упав пьяной головой на стол, — прости, — еще не понимая. В том платье Оля гуляла с Чуриным до утра, шли по трассе к пятой сопке, взявшись за руки, белая ночь. До этого весь год был — одна Оля. Улыбалась всем, а ему особенно, выступала на собраниях для всех, а смотрела на него, на уроке у доски отвечает, пять баллов, а на него глянет в конце, вспыхнет всем лицом. Все будто отступили на шаг, не приближались, весь год так. Традиция — после выпускного пошли к пятой сопке, весь класс, и Неведомский где-то рядом с гитарой, но Чурин и Оля были словно далеки от всех, возвращались порой, опять уносились, всем ясно. Вскарabкались чуть, пятая сопка высокая — устали. «Солнце!» — кричали ему, когда взошло. Все пошли обратно, а Оля — нет, на вершину, на самую! Кто со мной — тот герой! Всем ясно, кто герой. Маленькую, приподнимал ее, целуя. В июне и на Колыме дни жаркие. Оля сплела венок из разноцветья: «Говори, что я красивая». «Самая!» «Навсегда?» «Да». Через два дня начали разъезжаться кто куда. Чурин уперся: нет, не могу в Ленинград, давно же решено — в Москву. Давай ты с нами, Неведомский тоже. Оля уехала раньше них, прощалась тихо: «Встретимся в сентябре, найдешь общежитие политехнического, я сама не знаю, где это, найди. Раньше не вздумай, не отвлекайся. Ну, пока». Отчим ждал в машине, бибикнул. Махнула рукой. После аборта она умирала постепенно в ленинградской больнице, выявилась болезнь крови: тело, слух, зрение, речь — все отключалось одно за другим, потом лежала просто, сердце ведь не останавливалось. «Так и написано?» Он вертел письмо, находил это слово, мертвел над ним, Неведомский начал понимать. «Так это ты, урод?!» Попятился, не в силах отвести выпученных глаз. «Другой — было б легче?!» Выскочил, оставил. Вместо встречи. Закопали в грязном — ее. Лежала бездвижно слепая и глухонемая, только сердце все качало ее большую кровь, чтобы успела еще — что понять? — когда лежала так? Четырнадцать суток! Живой понять не может. Вечное познание зла,

всплыло, когда резал одну руку, ад. Ну и отлично, мстительно радуясь, подумал, чиркая по другой. Для верности два раза.

Отец фальшиво ликовал:

— Вот я так я, ну и отчубучил! Не ждали! — показывая Виктору свой паспорт с московской пропиской.— Пока временная, но обживемся, будет все путем. Где наша не пропадала, Витюха, брехня, пробьемся!

— Саня написал? Честно!

Отец заюлил глазами.

— Что Саня, какой еще Саня, я всю жизнь в Москве мечтал побывать, музеи, театры... Вить! — Он сморгнул, обмяк вдруг, состарился на глазах.— Ну как же, Вить? У меня ж никого. Как бы я-то?..

Витя не ожидал, это уж точно. Бросил квартиру со всеми вещами — раз; шахтерский стаж — два; колымские надбавки — все легкомысленно перечеркнул, примчался с одним чемоданом. Первым делом купил газету с объявлениями — требуются рабочие руки, общежитие предоставляется. Там вытирашили глаза на старого, взяли.

— Ладно, пап. Проехали. Будем жить.

Стали жить Чурины московскими расстояниями — от одного общежития до другого больше часа. Витя учится, старик строит Москву весь день — встречаться часто не получается. Приедет отец, подвыпивший, к сыну вечером — и засыпает на вахте. Плюнул Виктор, перебрался к нему: комната большая, вдвоем не тесно. А через год — армия. Как ему, старику, быть? Мучиться одиноко одним страхом каждый день, ночью — кто выдержит долго? Думал рвануть вслед за сыном, в Забайкальский округ. Тут — прописали постоянно, комнату дали, в прорабы повысили. И Витюха пишет: сиди, мол, не дергайся. Уверенно пишет. Успокоился, ждать стал. Девчужка, Неведомская Света, навестила его — будто и оставались они соседями после двенадцати тысяч километров, помогла женским умом, чего он не догадался сделать: шторы, плед на диван. Мелочь все, а — другое дело. «Как нашла-то?» — удивился, вспомнив. Рассмеялась: «Москва — большая деревня, говорят». Дурит девка, догадался старик, и про Витюху-то не зря эдак краешком спрашивала. Родителей ее Чурин уважает, воевали они вроде вместе, потом его за какое-то дело — на Колыму, она — за ним, жила в поселке рядом, пока не освободился. Неведомский болел неизлечимо, а жена его тихая рожала и рожала. Улыбалась всегда, как самая довольная. Денег нет, он умирает, всем известно, а она — и третьего родила, у нее своя правда. На руках и умер у нее. Света на отца похожа, беленькая. Дело к зиме, а на ней курточка куцаяголубенькая на рыбьем меху. «Где устроилась?» — спросил у нее Чурин. «Работаю, — опустила ресницы. — Провалила математику устно. На курсы хожу». Понятно — на стройке, куда ж еще возьмут. Жалко девчонку, в общежитии она научится там, он повидал. А что он может, не к себе же, большая ведь вроде, неудобно. «Ты ходи, ходи на курсы, — покивал Чурин. — Поступишь, куда они денутся». Помолчал: «Не обижают тебя?» «Меня-то? Кто? Да нет, дядь Андрей, нормально». Что-то больно ее окно заинтересовало. «Так обижают? Ты скажи мне, если что». Она плечиком дернула: «Просто люди ведь, не святые ж... А так — не тронет никто, вы меня еще не знаете, дядь Андрей». Ишь ты, не знает. Зато красоту ее молочную видит, не слепой пока еще. Заскочит на полчаса изредка, а уже как родную ее Чурин поджидал, волновался, если всю неделю не видел. В ГУМе купил ей шубку за двести рублей, из искусственного меха, откуда ей денег взять. Заставил надеть, оглядел критически, на глазок ведь брал. «Не велика?» Света поначалу отказывалась надевать, а тут выдала себя сразу: «Нет, нет! Рукава немножко подошью, а на талии так и должно быть. Спасибо, дядь Андрей! Я деньги по частям верну, хорошо?» Не задумывался раньше — свои заботы, — теперь память шибанула: все зимы ведь на глазах Неведомские дети в полушубках не по размеру бегали, что школа выдавала. Ненабалованная, оно и лучше — укреплялся Чурин в своей мысли женить Витьку. Ничего что молодые, он-то зачем рядом — поможет, внуков понянит. Свадьбу им справит, не как-нибудь. Девочку ту пар-

торговскую забыть пора, жизнь идет. Комнату снять на первое время — тоже подкинет, не зря же столько лет копейку к копейке откладывал. Пить — пил, а кто не пьет. Но и копил ведь, не каждый умеет, казачья завкасса. Прописать их здесь надо будет, всех на его площади. Внуки родятся — дадут квартиру. Не сразу, очередь на то и очередь, но и он не последний человек у себя на работе. Брехня, пробьемся. Соседки косились на Чурина: старик, а молодую водит. Косились-косились, а одна самая вредная, Зойка, перегородила ему вдруг дорогу в коридоре, когда в ванную шел: «У меня ребенок, я не знаю, какую заразу вы занесете со своей девкой! Мойтесь в общественной бане!» Чурин застыл от ее бесстыдства, не нашелся сразу, как ответить, — женщина все же. Видал в своей жизни разных, и похлеще видел, а тут испугался — не за себя, за девчущку. Ведь и ей ляпнет, не задумается. Пришел в себя: только не ругаться, слово за слово. «Она как дочь мне, — сказал тихо. — Невеста сына». Зойка фыркнула, но посторонилась.

Упрямый Витька, обидел старого, куда уж сильнее. Сидели тихо-мирно, ужинали. Вместе наконец, первый вечер. Витька в начале удивился заметно, встретив здесь колымскую знакомую, чуть не подпрыгнул. А Чурин гордился собой — сюрприз получился. Глядел на них умиленно, пара уж так пара, хороши. Выпили по капле. Беседу ведут, все как положено — человек из армии пришел. Закусывают, стол не хуже, чем у других. Принялись за голубцы.

— Вкусно? — гордится Чурин. — Света наша наготовила, хозяйюшка. Ну, чтоб в этом доме была хозяйка! — Многозначительно, хитренько им кивнул, выпил.

Как о деле решенном говорит, поводя рукой вокруг:

— Видал, Витюха, комната какая. Двадцать метров. Пропишетесь, еще внука мне родите — на очередь поставят, квартиру получим...

Витька мирно улыбается.

— Не понял?

Отец опять за свое:

— А пока что перегородку можно поставить, дело молодое... Или деньжат подкинуть, комнату снимете?

Света тихо ахнула, замахала протестующе руками: «Не слушай, я ни при чем!»

— Поня-ятно теперь, — все еще улыбаясь, протянул.

Глянул на нее, хмыкнул. Она замерла, не сводя с него напряженного взгляда.

— Свет, посиди, мы сейчас придем, — сказал Виктор и потянул отца из комнаты.

В темном коридоре сжал ему сильно руку, зашептал непонятно:

— Вешали черных вестников, головы им рубили. Пап, ты мне встречу эту удружил — врагу не пожелаешь, я ее видеть не могу, а ты — внуки, ты в своем уме? Своей рукой написала, я ее видеть не могу. Видеть не могу!

— Да что ж? — не мог так вдруг отвернуться от своей мысли, взлелеянной, отец. — Она ж хорошая деваха, ждала тебя вот, а могла бы и не ждать. Кобылка-то вон какая, красавица, только свистнула б — набежали б. Чего ж еще, и небалованная...

Виктор ослабил руку, молчал. Старик подумал, что дождет:

— Она ж как дочь мне. Пальтишко ей купил вон.

— Плакали твои денежки, па, такая неудача, — как чужой, сказал насмешливо. — Хочешь — удочери, будет мне сестренка, ради тебя стерплю. Или сам женись. А ей — скажи, или сам скажу. Света! — Он открыл дверь.

Теперь уже старик вцепился в него, зачастил, утягивая от двери:

— Не надо говорить, не надо, чем она виновата? Чем она виновата? — распалаясь. — Что письмо написала — виновата? Нет, ты послушай меня! Все говорили, все видели, а она — виновата? Из-за той я сына чуть не лишился, забрать хотела за собой, а кто его спас? Сколько ж можно мне бо-

яться-то! Сколько еще-то? Молчишь! Я думал — все, забудется, сколько можно. Старый я, чувствую, нет сил-то бояться,— замолчал, вздохнув шумно.

Оглянулся — в дверях Света стоит:

— Я пойду.

Чурины смотрели вслед: с неизъяснимой болью — один, враждебно и растерянно — другой, и под взглядами их она медлила, путалась в замке. Чертиком выскочила Зойка: «Я открою!» «Спасибо», — выскользнула, прошелестев почти безголосо. «На здоровье!» — Зойка крикнула, на лестницу выглянув.

Вдвоем dokonчили бутылку водки, немногословно, будто избегая друг друга.

— Ладно, я дурак старый, не обижайся,— сказал утром Чурин сыну.— В своей-то жизни ничего не смыслю — так в твою полез, туда же.

Не спрашивал больше, отмечая порой про себя лишь, что вот, пришел Витька под утро, под глазами черно — и то хорошо. Другое время помчалось, понеслось стремительно. Дом их выселили, отдельную квартиру и Чуриным предоставили в новостройке. Старик хлопал себя по ляжкам: «Витюх, а помнишь? В Кадыкчане? Поначалу там и унитаза не было, ведро выносили в яму — помнишь? Лоджия, елки! Не лоджия — бригантина. Своя!» На пенсию вышел, будто обхитрил всех: только квартиру получили, ездить совсем далеко стало, а тут — возраст подошел, шахтерские годы на Колыме — льготные! И в тот же год чуть не помер Чурин — реформу ту денежную одолевал, накопления свои спасал. Докажи, как это накопил честно, бумажка к бумажке, и на все про все — три денька, тьма народу у сберкасы. Доказал, успел. Отлежался, потом вспоминал удивляясь: как не помер? Эти деньги спасенные быстренько решил старик употребить в дело, такое время — ничего наперед не можешь знать. Купил по дешевке домишко на море, на Витькино имя, мало ли что, вон как прихватывает. Дом тот пристроил еще раньше, когда в санаторий ездил от профсоюза — за три года на него никто и не позарился, на отшибе стоит. Витька закончил свой институт, недоступный пониманию старого Чурина: художник. Что удивительно: хорошо платят. Втайне гордись, подсмеивался старик: ну и профессия для мужика. Потрясен был не на шутку, когда Виктор показал картину: Аннушка. И другая с ней сидит постарше, теща та баламутная. «Это не теща,— пояснил Виктор.— Молодая — это Алла, а мама на стуле». «Видел ее?» — подступил к сыну Чурин после, придя в себя. Тогда Виктор признался о своей побывке у них, проездом. Что ж раньше не говорил, молчал отчего, вредитель! И еще раз виделся, звонит им еще, каков! И слушать не хотел, что он там объяснить пытался. Успокоился только, когда про деньги узнал, что Виктор не принял: «Молоток, козацкий корень!» — хлопнул по плечу.

Дом в одно лето отремонтировали, обустроили, баньку даже сколотили. Отец легко принял решение: «И чего я в той Москве не видел? Останусь, поживу на старости, в Москве-то как козьявка». После Светы он долго приучался к мысли, что каждый проживает свою жизнь, у каждого свое право. Не сразу, но свыкся: у Витьки жизнь — своя, в которой есть место и старому Чурину, но уж и не важно, рядом ли отец, далеко ли. Лучше, может, чтоб и подальше. А то из жалости, что ли, что уходит сам до утра, бутылку ему купит вина дорогого: «Не скучай». Телевизор японский включит: «Па, не жди меня, ложись». Будто стыдится или жалеет, темнит, ускользает. Осмелился разок, встрял-таки: «Что это,— спросил,— ты все зайцем-то скачешь, не приведешь сюда свою симпатию? Я на кухне и всегда стелюсь, места, что ли, не хватает?» Витька хмыкнул только, свысока: «Не болтай, па». Был маленький — все было ясно, не то что теперь. Когда из-за девочки той вены резал, и то было понятно — хоть и вытерпел тогда Чурин страху, на всю остальную жизнь. А что теперь? Сказать по правде, плохо: два медведя в однокомнатной берлоге. Друг на дружку утром не смотрят, злой Витька спросонья. Решено, надо оставаться, новое место обживать, перекати-по-

ле, эх-х. «И чего я там не видел, в Москве-то?» — сказал Витьке. Картину забрал: «Пусть висит. И адрес мне, слышь, ихний дай. На всякий случай». Записал ему Витя, хоть и противился душой: понял сам давно, что ничего не изменишь, другие они, жизнь там своя, целая жизнь — душная, как в склепе, но своя. Записал адреса: «Мама одна живет, а сестра замужем, в Москве теперь».

Их компанию прохожие торопливо обходили, спешили проскочить, подстегиваемые порывами влажного воздуха, который рядом с ними крепко смешивался с их запахом. Четверо, среди них одна женщина молодая, которая время от времени шла к кассе метро, просила на жетон, заглядывая в глаза очереди. От нее отворачивались хмуρο — не калека, алкоголичка просто, работать не хочет.

Конец недели Виктор провел у женщины, за несколько лет он привык к ней, как к своей. Ничего не изменилось в их темных встречах-убеганиях после переезда отца, незачем. Женщина — немолодая журналистка, пьянькая с утра, к вечеру — «в сиську», как сама выражается. В коротких юбочках всегда, на тонкие прямые ножки белые колготки надевает. Длинные волосы хной красит, распущенными носит. Чистые, блестят — он гладит их, текут меж пальцев. Глаза в толстых линзах — маленькие, как у собачки некрупной, готовы пролиться слезой. Вечерние страдания об искусстве: заматерится, разрыдается. Читал ее статьи — умная, скучно. А заговорит — любой разговор к постели сведет, и очень хорошо — такая женщина, три мужа было официальных.

Подходя к метро, Виктор прикидывал, может ли запросить аванс побольше, в издательстве его знают, иллюстрации будут раньше договорного времени. Деньги вылетают мгновенно, сквозь пальцы, как волосы женщины. Мимо компании алкашей — они сидели на лавочке — ускорил шаг. Не понял сразу, что это его кто-то из них окликнул хрипло, по фамилии, через несколько шагов остановился: «Неведомская?..» Она отделилась от своих товарищей, подошла к нему вплотную.

— Узна-ал ведь...

Чурин отодвинулся невольно от близкого рта.

— Вижу, спешишь. Ладно, о чем говорить, по старой дружбе — дашь в долг?

Не было денег, с женщиной два дня подряд тратили. Виктор торопливо стал искать в карманах, если что заваялось. Нащупал — пятитысячная. На метро единый есть, нормально.

— И то,— царственно двумя пальцами, на указательном засохла кровь, взяла.— На помин души Неведомских... Гуляем.

И пошла к своим товарищам, которые молчаливо смотрели, повернув к ней свои опухшие разбитые лица. Виктор после мгновенного сомнения кинулся за ней, за руку ухватил.

— Что ты сказала, ты почему сказала?

— Отстань, дурак, чего цепляешься? — заканючила с обидой.— Че, че! Мамка померла, Саньку — пуф, мало? — Скрюченным пальцем изобразила пистолет. Пятно бурое увидела у ногтя, рванулась, крикнула с надрывом: — Все мало, да?!

Ее товарищи молча встали — уходить или, напротив, на помощь ей прийти.

— Да погоди! Саня — что? Скажи.

— Вон там,— махнула рукой, пошла, бормоча невнятно, грозя в сторону.

Им выпить надо, почему он мешает? Дома Чурина ждала телеграмма, вчера принесли. Светкино тоскливое лицо, давнее: «Я пошла». Надо же было встретить сегодня, надо же так!

В этом городе, Мелитополе, в конце октября было так же слякотно и промозгло, как и в Москве. По мглстой вокзальной площади сновали только старые «Запорожцы». От города Чурин добирался на такой лущайке —

ни повернуться, ни вздохнуть. Старик умер. Телеграмма пришла в воскресенье. Сутки потерял с поездом, сегодня — третий день. К дому проехать на машине, на такой, трудно, дороги замесились, а дом — на отшибе, через овраг. Он расплатился, высвободился. Пешком можно уже добраться. Третий день, это не шло из головы, словно бы само собой так могло случиться, чтобы человек на третий день после смерти захоронился. Не будут же это брать на себя соседи, баба Лида и на телеграмму-то наскребла, наверное, последние гроши, а Афанасьевна подавно, она в конце лета уезжает в город, к своим детям. Эту женщину, жена-не жена, он видел два лета подряд у отца: хитрая, себе на уме хохлушка. Не станет же она тратиться на похороны, поминки и прочее. Кто еще? Сестре дела нет, телефон не отвечает, да и не поехала бы. Мать — тем более, никого у старика, кроме него. А отцу нравилось здесь, прижился. Вот он, дом. «Кто это приехал!» — Старик с раскрытыми объятиями навстречу — наваждение.

Так он всегда выходил встречать. И спрашивал, когда же Аллочка со своими придет, он для них комнату держит, не заходит туда почти. Витя знал, что сестра не принимает денег от отца и ни разу не написала. От него же и знал, но поддерживал эту жалкую игру старика, отвечал, что, возможно, следующим летом выберется.

Дом неказистый с виду, обшарпанный, но каменный; в одной из четырех комнат, самой маленькой, чтоб быстро протапливать зимой, обитал старик. Здесь у него к осени сушились горами семечки, потом он отвозил их на маслобойню и получал литров пятьдесят душистого подсолнечного масла. На стене большая картина, Анна и Аллочка. Хотел им отдать, а старик вцепился — и ни за что, сюда вот перевез, повесил у себя. Как только Афанасьевна мирилась? Витя останавливался в смежной комнате, с окном в степь, за которой скоро начиналось море. Здесь было хорошо, прохладно в самую жару. Приезжал младший Чуриин к отцу в мае, с отцовской пенсией и собственными накоплениями, этого хватало им на все лето. Витю ценили за трезвость в жизни и быструю работу. Сам он уверился, что в новой жизни не преуспеет («Теперь хорошо идет зеленый с синим» — это не для него), но и с голоду не помрет. Привык, что есть теперь этот дом, отчий, — отец ведь как врос сюда, по-хохлацки заговорил. Встречал всегда вот так, со старушечьим умилением: «А кто это к нам приехал!» И радостно перебирал нехитрые гостинцы: «И! Чай «липтон»! Ну, теперь живем! И!! Крышки! Ура!» Ему всегда не хватало крышек, он консервировал помидоры и огурцы. Витя отказывался брать с собой — и банки потихоньку, в несколько заездов, увозила хохлушка. В последний раз, этим уже летом, отец жаловался: «Боюсь я ее, она баптистка». Витя удивился: «Ну и что, чего же страшного-то?» «Да боюсь — и все. Глаза видел какие у нее? Как зыркнет — хоть тикай». «Почему это ты должен тикать? Пусть она и сваливает, если так — дом-то наш». Отец вместо ответа головой покачал. Посмотрел в дверь, испуганно вздрогнул, заулыбался: «Ой, а это моя хозяйшюшка, моя Галочка идет!» Галина Афанасьевна двигалась по двору неторопливо, но появлялась всегда неожиданно, точно в одно мгновение успевала побывать в разных местах. Смуглое лицо ее, несмотря на полноту тела, сохранило сухощавость и четкость черт и было красиво, пока она не улыбалась. В улыбке же морщины наплывали густой рябью на лоб, на скулы, собирались у глаз и вокруг темного рта, и чудилось, что это чужая кожа, готовая сползти с лица, а не лицо. И в глубине этой маски темными без блеска дырочками были глаза. Виктор старался не встречаться с ней взглядом, прав старик. А женщина заговорила певучим голосом: «Ну и шо це мои хлопцы зажурылись? А ну геть працювати!» И не смели Чурины возразить, послушно лезли на крышу, они этим летом крышу перекрывали.

Никто не вышел навстречу. Несколько старух во дворе, соседки, разом повернули в его сторону головы, стали что-то кричать, замахали руками. «Беги, беги на кладбище, — волновались бабки, — ах ты ж, Боже ж ты мой, сын приехал, ах ты Господи. Закапывают вже, може вспиешь!» Он развернулся, побежал. Через степь бежать — срезать путь. Там кладбище прямо к дороге подходит. Дождь превратил степь в болото. Скользящая почва, кочки, вода. Он сдерживал себя, чтобы не закричать, не завывать в голос посреди

этого чавкающего, хлещущего, ветряного пространства, где нет человека и можно не сдерживать крик и вой, все смешается. Виктор как заведенный твердил: «А, черт, а-а, че-ерт», шлепался, вставал, бежал, чертыхался — и так словно по кругу, словно этот короткий путь бесконечен. Вынырнул он на дорогу как раз у крайних могил. Кучку людей увидел в размытом дождем отдалении. Он добежал быстро, узнал Афанасьевну, соседа дядьку Санию. Мокрый земляной холм был насыпан. Одинокий веночек из тополиных ветвей лежал на той могиле. Чурин сел рядом с венком, уткнулся лицом в колени.

Они собирались уже уходить, и при появлении младшего Чурина сбились в стороне, сгучились. Вдова, в черном платке и пестрой вязаной шапке поверх платка, стояла, крепко расставив ноги, всхлипывая, цепко смотрела на Чурина. Запричитала вдруг высоким голосом, залилась слезами, закачалась, словно бы падая. Ее подхватили мужички, не зная — уводить? Она заголосила пуще прежнего и не унялась, пока Виктор не поднялся. Не глядя, он кивнул им, молча пошел по дороге к дому.

В доме сухо, в большой, «Аллочкиной», комнате столы сдвинуты для поминок. Бабки со своей посудой. Сказали перенести из летней кухни большую кастрюлю борща, рис-кутью. Командовала соседка напротив, баба Лида. От ее коровы отец всегда брал молоко. Внучка бабы Лиды, девчонка Иринка, заправляла на кухне. Увидела Чурина, бросилась к нему. Обхватила двумя руками, всхлипнула: «Ой, дядя Витечка, не успел. Дождище еще этот, ждять не стали». Он перенес кастрюли в дом, вернулся к Иринке.

— Расскажи.

— Бабушка ж для него всегда держала утреннюю простоквашу, если с вечера переберет. Придет рано-рано, ох, говорит, голова раскалывается. Бабушка ему подает банку: «И что же ты, Андрюша,— говорит, — так?», а он выпьет простокваши: «Ну вот, порядок. Все, Лида, больше не буду, все. Пашешь вот так, пашешь — все хорошо как будто, а потом вдруг такая тоска накатит. А пропади все пропадом, думаешь, надо выпить, веселей хоть. Но теперь все». А последний месяц совсем не пил, сердце, говорит, разок ночью прихватило, испугался. В доме никого, она в город уехала, а его так прихватило, что думал — все. Бога тогда, говорит, вспомнил. А перед тем, как раз только Афанасьевну проводил, его «белочка» навестила — очнулся посреди села, далеко убежал и не помнил как. Помнил, сказал, только, что ему чудилось, будто баптисты его к себе хотят в секту затянуть, а он от них-то и бросился наутек, в окно выскочил. Опомнился когда, вернулся в дом, а дверь изнутри заперта. Через окно и влез обратно. Говорят, что после белой горячки люди долго не живут. Он так сам и говорил. А умер трезвый совсем. С вечера еще молотком стучал во дворе, наутро к нему трактор должен был приехать, землю перепахать. Вот утром трактористы стучат к нему: «Васильич, мы пришли!» Он не отвечал, тогда они заглянули на кухню. Он сидит за столом, вроде спит, голову на руку положил. Они говорят: «Васильич, пойдем пахать!» — не просыпается. Дотронулись, а он уже твердый. Бабушку позвали, она телеграммы разослала, милицию вызвала, а из морга уже Афанасьевна его забрала. Ты не видел, у него лицо было тихое, как будто спал.

Иринка встала с табуретки: «Вот здесь».

— Дядя Витечка, ты поставь водку на подоконник вечером и хлеб положи,— прошептала девочка, когда сидели уже за столом.— Он сегодня ночью пойдет, попроситься. Я знаю, моя мама приходила тоже. Я помню. Зашуршало тогда в хате, а я не забоялась, пошла к окну, там бабушка оставила. И я видела ее, стала звать. Нельзя с ними говорить, можно только знаками, от голоса они исчезают. И мама пропала. А ты дождись, не разговаривай только.

За столом размеренно ели, негромко переговаривались, выпивали — «земля пухом...». Поминали старика. Чурин тягостно молчал, пребывая словно бы в пустоте после измотавшей его погони за тем своим законным долгом, которого он оказался не по чьей-то злобной воле, а по установленному порядку лишенным,— третий день. «И все-то у тебя, дорогой мой, не как у людей»,— давным-давно приговаривала мачеха Люся, напяливая на

него, ревущего, клетчатое пальтецо и чуть не силой выставляя за дверь, погулять. Чурин вышел из дома. Думал, покурит и вернется за стол, а оказался, сам того не заметив, на летней кухне, на табурете. Облокотился на стол, голову уложил на руку, закрыл глаза. Начал зачем-то подсчитывать, сколько это часов назад случилось, если теперь уже вечер третьего дня. Шестидесять часов — всего-то. А если на секунды — Чурин силился умножать тридцать шесть на шесть, два нуля еще. Время, как взбесившаяся черная дыра, выталкивало зятянутые было секунды, их оказалось много. Страшно умереть ночью одному, бедный мой маленький папка.

— Ой, мамочки! Дядя Витечка, та шо с ним, ой, мамочки мои! — Иринка, увидев с порога Чурина, сидящего так, лишилась в страхе голоса, и крик ее был едва слышным писком.

Этот писк, однако, заставил Чурина услышать себя, вздохнуть глубоко и открыть глаза. Девочка стояла в дверях, прижимая ладошку к губам, испуг быстро сошел с ее лица, она покачала головой:

— Испугалась я, дядя Вить, ты сидел так...

— И что ты ходишь за мной, Ира? — тоскливо сказал Чурин.

Иринка вспыхнула румянцем, до слез:

— Я не хожу за тобой. Там приехала твоя сестра, точно, как на той картине, я сразу и узнала. Муж у ней военный? Так и видно, они в доме, и малой с ними. Я только сказать хотела.

Аллочка не садилась за стол, ждала брата, не решаясь покинуть комнату, где Юрия уже усадили, окружили мужички, наливали вторую стопку — помянув покойного, расспросить не терпелось про кацапские дела, про политику, военный человек все ж. Шо там с флотом надумали ваши? Витю давно такими разговорами не донимали: «Та вин тильки малюэ, що з нэго визьмэшь». Илья хлебал борщ и жался к отцу. Старушки охали, наперебой сожалели: «Тэж не вспилы, та Боже ж мий, шо ж це такэ». Чурина показалось в первое мгновение, что это Анна, мать, стоит в черном платке. «Алла?» Она коснулась его руки:

— Я только что от мамы. — Она как бы сглотнула с трудом, но сказала потом нарочно спокойно: — И вот представь себе, они умерли почти в один день, почти как в сказке.

Чурин смотрел, не понимая, в ее лицо.

— И мама?..

Легкое, безумное стояло в черных глазах сестры. Она таинственно, шепотом повторила:

— Почти как в сказке, а? Что бы это значило? Почти в один день.

Алла, он почувствовал, существует теперь одной этой загадкой, будто это головоломка такая, разгадай которую — и все встанет на свои правильные места, вот-вот! Надо только еще раз, последний, постараться, ухватить ее — и все станет ясно. Но она же с ума сойдет — не ухватит, сестрица моя бедная.

— Все верно, сестра, ты же помнишь, как надо: они любили друг друга.

Ягодка

Галина Афанасьевна потратила триста гривен на похороны мужа: двести пятьдесят своих и пятьдесят у покойника лежали на черный день. Теперь, она понимала с облегчением, ее деньги вернутся — и сын приехал, и даже дочка, не с пустыми руками же. Этой Лиде она решила ни копейки не давать за телеграммы, покойник всегда платил за молоко вперед на весь месяц, а умер-то двадцатого. За десять дней, получалось, переплатил. К тому же все, кто пришел помянуть, частенько, она-то знала, позычали у него, кто рубль, а кто и пятерку — из самой Москвы получал пенсию, российская, у

этой гольтильбы таких денег и не водилось. Она подозревала, что он долги с них не спрашивает: куда же пенсия тогда девается, он ведь на себя почти не тратит? А то, что ей отдавал,— так это тьфу, а не гроши. Или скрывал, а сам откладывал где-нибудь в укромном местечке. Она обыскалась — только эти пятьдесят рублей и нашла. Зла на него не хватает, замуж выходила — думала, денежный хоть мужик, а что с него толку, только что муки мешок на зиму привезти да огурцы в банках. Дети эти понаехали, кручину свою показывают, а нужен он им был, когда надрывался тут один? А мать их колдунья, ведьма, не иначе приворожила его, часами ведь на картинку ту маялится, притворялся, что спит, а сам через веки и глядит. Гордые мы, видишь. А гордыня, сказано,— грех смертный.

Афанасьевна оказалась в баптистской общине к своему большому утешению — но и мучению новому. К старости часто и с сожалением стало вспоминаться сельское детство, и особенно как раньше пели, в каждом дворе — этого теперь и в помине нет. А хорошо как бывало, голосисто и радостно пелось, особенно в хоре. Теперь и слова позабылись, а чувство то необъяснимое радостное помнилось. Галина Афанасьевна видела, как одна за другой, получив раннюю пенсию, умирали подруги ее по цеху. И это все? — пугалась она. Вот так и вся жизнь прошла? И что в ней было хорошего? Только те давние голосистые украинские вечера. Галина Афанасьевна решила тогда, что доживать будет в селе, хватит с нее. А где жить — а хоть за того деда замуж пойти, который возле их дома отдыха ягодой торговал, он в шутку как бы звал ее к себе хозяйкой. Шутки шутками, но Галина Афанасьевна с одного взгляда определила, что дед, во-первых, одинокий и, во-вторых, не ленивый. Взяла на следующее лето путевку туда же, а дальше все сложилось, как рассчитала, и лучше того: пенсия у него оказалась побольше, чем иная зарплата у них на заводе. Но вот беда: летом, конечно, в селе хорошо, и море рядом, а с первыми осенними дождями Галина Афанасьевна будто жизни лишалась: все тело ломит, руки-ноги неподъемной тяжестью наливаются, и душа неспокойна за детей, хоть и взрослые давно. Ездить туда-сюда не наездишься, не ближний свет. И дед какой непонятный: есть она рядом — хорошо, нет — и ладно, и какая ж она ему жена, одно слово — что жена. А как чекалдыкнет — убила бы, такой дурной становится. Спокойная старость. Песен, как раньше, во дворах не поют. На краю села красивый молельный дом построили, туда Галина Афанасьевна и зашла в первый раз, на пение. Обнаружила после и в городе с ажурными крышами строения. Зашла раз, другой, сперва все по случаю, а потом озарило будто, что этого как раз ей и не хватало, не тех именно стародавних песен, а душой отойти от жизни тяжелой, и чтобы объяснили, что жизнь прошла не напрасно, что она и не прошла, а только теперь начинается. Если б на краю села или хоть в городе церковь православная стояла, Галина Афанасьевна так же на голос туда вошла бы. Потом уже узнала она, есть и православная украинская церковь, да только это одно название, служат в вагончике, какие у рабочих-строителей бывают, крест привинтили на крыше бытовки — вот вам и храм. Туда, в вагончик, она бы не пошла. А Книгу читают — что там, что здесь — одну. Так что это глупые только люди боятся баптистов, она и сама такая была раньше. И почувствовала Галина Афанасьевна, походив на общие собрания, что меняется настроение ее жизни, и как не измениться, если веруешь, что жить будешь вечно и счастливо,— и это было утешение. Но мучением стала постоянная борьба — с тем, который пока что хозяин на земле, лучше по имени и не называть, не накликавать — тут же слуги его прискочат, и опомниться не успеешь — обведут вокруг пальца, облукавят. А способов обмануть у него не счесть ведь сколько, и армия его — тьматьмущая чертей, ведьм, прочей нечисти. Глазом моргнуть не успеешь, как окрутят. Галина Афанасьевна видит, что вокруг, куда ни глянь, враг торжествует. Дочка, дурная, прелюбодействует налево от законного мужа, а сказано, что тело жены только мужу принадлежит. И слушать не желает, го-гочет: «Доживу,— скалитесь,— до твоих лет, тогда и поглядим». Галина Афанасьевна в гневе кричит на нее, что это черт, черт в ней — и хуже то-

го, кощунствует в ответ, и не повторишь, такое отвечает. Когда опомнится Афанасьевна, что это ведь искушение ей, гневом-то своим она вражину как раз и тешит, и слово-то, слово произнесла! — изгонять его из углов бросается, святую воду лить, псалом читает — громко, нараспев, чтоб понял — нет, не взять ему душу ее вечную! И так все вокруг будто сговорились искушать ее. Покойник коммуняка был убежденный, не дай же Боже говорить с ним про святое: есть, твердит, только совесть — это, мол, только и есть в человеке. А еще разум. А где же были твоя хваленая совесть и разум, напоминает ему Афанасьевна, когда напился и дули мне, своей жене, крутил? На, орал, выкуси со своими — и не повторишь, как называл братьев и сестер. Не дождетесь, кричал. Черт старый. А самому же и хуже, не будет ему там хорошо теперь. Позаботился бы раньше, когда она ему добра желала, по-хорошему звала, глядишь — и простилося бы. И ей, Галине Афанасьевне, зачлось бы. А что теперь? Унесут тебя служки те косматенькие к себе, никакие молитвы не помогут. И дети эти, видно сразу, не о душе пекутся — одна беда: успели — не успели. Он-то хоть парень тихий, малюет себе картинки все лето, а дочка — ведьмина дочь, одно слово. Ручки, как те макароны. С мужем и ребенком явилась. Не запылилась, ишь как разодела. А батьку родного чужая тетя схоронила, на свои гроши. Ушли от стола, шепчутся. А какая разница: успели — не успели? Она, Галина Афанасьевна, уж позаботилась, чтоб все по-людски было, вон какие поминки, десять кило окорочков на своем горбу из города приперла, водку купила — все на свои, его денег только что на сатин ихватило, гроб обить. Дед ее, между прочим, любил, ягодкой называл, случалось. «Волчья, что ли, ягодка?» — притворно строжилась Галина Афанасьевна, не привычная к таким словам, и они тихонько смеялись, как молодые.

Дом и дерево

Вечером растопили печь в отцовской комнате. Запахло семечками, дом прогрелся. Илья, сморенный, просил, засыпая: «Только не забудьте про меня, разбудите. Па, разбуди меня, не забудь. Я тоже к бабушке пойду». Плахов кивнул, присел в ногах сына. Усталости не было, он прислушивался, удивляясь, к себе — к странному смещению печали и умиротворенности в своей душе, и жалость к умершему незнакомому тестю, которого он, войдя в этот дом, словно бы вспомнил, узнавая по сельскому крепкому запаху, по спартанской обстановке дома, даже по заварочному чайнику с треснутым носиком, эта жалость была острой и понятной; в глубине же, почти втайне Плахов ощущал удивительное спокойствие, будто в душе его вызревало какое-то главное понимание, которое непременно откроется, и оно будет ясным и простым. Аллочка мыла тарелки, притихшая. Увидев картину, она без удивления сказала брату: «Ты рисуешь... Мама тоже рисовала, я тебе покажу. Кто она?» — кивнула в сторону другой комнаты, там Афанасьевна неуклюже двигала ветхую этажерку, с которой шлепались одна за другой книжки, мелкие предметы. «Жена, вдова то есть», — ответил Витя. Поставил водку и хлеб на подоконник — там лежали отцовские очки. Взял их зачем-то, вышел во двор покурить.

Дождь перестал, выступили звезды — как это бывает на Украине, все разом, крупные и мелкие. Прозрачное облачко наволоклось на луну, словно пригушили светильник. В Аллочкиной комнате тихо переговаривались.

Окно Афанасьевны выходит на улицу. Наверное, молится. Или деньги пересчитывает, Чурин отдал ей за похороны. А может, спит вдова, устала же. Не ожидала, что дом продаваться не будет. «Так свою половыну продам!» Сказал, что дом на его имя куплен, — не верила, пока документы не показал. Заплакала горько. «Ну, живите и вы, сколько хотите, комнат хватает». Отказалась: «Та грошив же ж трэба». Отсчитал еще несколько купюр — утешилась немного.

Виктор докуривал и смотрел в звездное небо. Надел очки отца, снял — больно глазам. Луна открылась жестянкой — облачко сплыло. Трудно осознать, когда вдруг. И мама еще, вот ведь как. «Эх, папка-папка...» Чурин в последний раз затянулся, выпустил дым. И вздрогнул — почувствовал: рядом кто-то есть. Будто подходит неслышно — с какой стороны?

— Ира?

Тишина.

— Ир, — позвал опять Чурин, чувствуя определенно человека совсем близко. Ну не призрак же, в самом деле. Сделалось не по себе. — Это ты? Вышла бы, что прячешься-то. Я все равно тебя слышу, выходи. Ну, я пошел спать. Хочешь — завтра с нами пошли, утром. Ты обиделась, что ли? А я, между прочим, хотел тебе кое-что сообщить. Очень важное.

Ни звука, взбрыхнул только спросонья дядьки Санин кобель. Случайный ветерок двинул дымом из трубы — и будто плотная тень неведомого дерева заструилась вширь, раскинулась по небу, в причудливых очертаниях почудились лица родных мертвых, цветы клубились там, трепетали неземными красками, птицы пели нежно, утешительно для всех.



Негатив облаченья

* * *

Август, а после по счету апрель
или сентябрь — негатив облаченья.
Обморок очередного значенья —
птицы последняя первая трель.

Лето мое ускользает из рук,
учит листву отрицательным числам.
Бог — это сила, влекущая звук
вслед за еще не родившимся смыслом.

Бог — это суша сухая и твердь
ножиц воздушных, кромсающих крылья.
Слез ущемленье, ущелье, усилье,
переходящее в полную смерть.

Это подкожная сыпь костерка,
кровообмен с пустотою, больница.
Где воробей успеваает напиться
из прилетевшего с неба плевка.

* * *

Растет себе наперерез
рожденный садом темный лес.
Так голос в поле голом
свершается глаголом.

Без толкача и толмача
кровь холодна и горяча —
и птицелов и птица,
живой воде сестрица.

Я знаю гончей крови круг,
и узел сердца, и разлук
высокое бессилье,
готовящее крылья.

Я знаю, что небесный гром
ночует под пустым ведром.
Ты об него запнешься,
когда домой вернешься.

* * *

Белый берег в дощатой пилотке,
напой меня тенью из лодки,
я хотел бы сорваться с резьбы —
оказаться в пылающей глотке
прямо в небо ревущей трубы.
И прозреть в золотом коридоре
с нарастающим камнем в горсти.
И саднящую корочку моря,
как рисунок седой на амфоре,
на горячем плече унести.

* * *

Плешка шмелиная, потный затылок,
первый озноб в проходном сентябре,
соты пустые — как из-под бутылок
ящиков десять на заднем дворе,
на пустыре привокзального сада
с шорохом на площадях опосля
брошенного как с небес листопада,
чтоб к небесам привыкала земля.

Чувствую воздух, его обожанье
крови, палящей в ресничную щель,
женской щеки золотое дрожанье
там, где в стекло убивается шмель.

Медлят на корточках воды речные,
а распрямятся — пойдут колесом.
И — запечалимся, в дверцы печные
тычась березовым мокрым лицом.

* * *

Кто в винограде нащупал
камешек, зернышко, дно,
моря бутылочный купол,
россыпью соль и вино...

Я ли с последней попытки
вызрел — и стало светло.
Чую, рубанок улитки
чисто строгают стекло.

В небо холодное хлыну —
так окоем в горловину
пережимает зрачок.

Так тополей половину
время вгоняет в сучок.



Мое прошлое

ПОВЕСТЬ

Часть вторая

Начало

В августе 1963 года я ехал ночным поездом из Ростова-на-Дону в Москву. За оконным стеклом покачивалась громадная мгла, позади осталась тысяча дней службы в армии. Впереди ожидали другие тысячи дней жизни, которые я уже знал как потратить. Единственным, ради чего стоило жить, было писательское дело, все остальное стало для меня непривлекательным, чуждым и безразличным.

В вагоне было темно, кондуктор уже выключил свет, пассажиры давно спали, забравшись на полки, лишь я один бодрствовал, сидя за боковым столиком, и сон бежал от глаз моих. Мне было так печально, как никогда раньше, и бесконечная мгла ночи баюкала эту печаль. Да, да — все дело было в том, что в той ночи, через которую я ехал, и в том завтрашнем дне, куда я устремлялся, мне не было места. Никто меня не ждал — вернее, я сам ни с кем не жаждал встречи. В двадцать четыре года я был как вырванное с корнями из земли молодое дерево. Порвались все мои связи с жизнью.

В полутемном проходе показался темный силуэт какой-то женщины. Она подошла ко мне, присела напротив и спросила, чего это я не сплю, о чем горюю, сидя тут один, куда еду и зачем. Тут неожиданно для себя я заговорил — торопясь и волнуясь, ничуть не заботясь о том, поймут меня или нет: о пропащей своей молодости, об утерянной радости жизни, о тошном своем нежелании возвращаться туда, где нужно заниматься такими же делами, как и все вокруг.

Помню, эта пожилая женщина с каким-то молодым жаром, взволнованно и задушевно стала возражать мне...

— Радуйся,— говорила она,— что все кончилось! Ты же домой едешь! Кто-нибудь тебя ждет, кто-нибудь встретит, поди.

— Никто не встретит,— отмахнулся я от нее.

— Не может быть! Ты вон, солдатик, какой хорошенький,— затараторила она,— тебя небось какая-нибудь девушка ждет! Обязательно ждет, а как же!

— Ну, может быть, одна и ждет...— нехотя обмолвился я.

— А ты сообщил ей, что едешь?

— Нет.

— Почему же?

— Не хочу...

— Ты дай мне адресок. Мне на следующей станции сходить, вот я и отправлю телеграмму.

— Не надо,— отказался я.— Если бы хотел, сам сообщил бы из Ростова...

— Ну все равно, черкани мне на бумажке адресок. Давай, солдатик! — не

● Мое прошлое

отступалась женщина. — Уже поздно, почта, поди, не работает, так что телеграмму вряд ли удастся отправить... Это я так, на всякий случай прошу... Ну что тебе стоит? Черкани только адрес и фамилию с именем — и больше от тебя ничего не требуется...

Настойчивость незнакомки была странной, необъяснимой. Но и отказывать ей в ее просьбе было бы странно... И я не стал больше упираться, вынул блокнотик, в котором обычно записывал стихи, на чистой странице «черкнул адресок», написал имя и фамилию девушки.

Вот так и случилось, что на следующее утро эта девушка встретила меня на Казанском вокзале — и вскоре, через месяц, стала моей женой.

Моя новая «философия жизни» не допускала возможности брака и семейного счастья. Я хотел писать стихи и прозу и уже предчувствовал, что это никому не будет нужно, никому, кроме меня одного. При таких обстоятельствах, готовясь к суровому и, может быть, мучительному отшельничеству безвестного поэта, я даже и в мыслях не мог позволить себе удела тихого семейного счастья.

Но, как и всегда, воля судьбы оказалась сильнее моей собственной. Пугающий меня, тревожный брак мой состоялся... Та незнакомая женщина в вагоне ночного поезда — какая все же это была посланница? Союзница ли моего жизненного проекта, или его враг? Потому что ничего более сокрушительного для осуществления этого проекта нельзя было представить, чем скоропалительная женитьба и последовавшее через десять месяцев рождение первого ребенка. В самом начале пути, не имея ни работы, ни жилья, ни каких-нибудь опубликованных работ, молодой писатель обзаводится женой, начинает свою семейную жизнь со скитаний по квартирнкам и комнатенкам, снимаемым в разных районах Москвы, зарабатывает какие-то гроши на случайных работах — то сторожем, то ночным истопником на стройке...

Уже была напечатана в «Новом мире» повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича» и ходили по рукам самиздатовские тексты «Ракового корпуса» и «В круге первом». Самиздат распространял рассказы, повести и куски романа «Чевенгур» Андрея Платонова. Было что почитать вернувшемуся из армии недоучке-студенту.

Я читал самиздат, переведенных на русский Фолкнера, Кафку, слушал песни бардов, но сам ничуть не приблизился к существующему миру поэзии и литературы. Мне неведомо было, где он находится.

Правда, еще на втором году службы в армии я однажды повстречался с ПВР — Писателем Веселовского Района. Произошла она в Ростовском парке культуры и отдыха, жарким и пыльным летом, во время моего воскресного увольнения. Я тогда потолкался в толпе гуляющих, издали присматриваясь к разного вида представительницам прекрасного пола, а затем, часа три спустя, охваченный чувством полной безнадежности, ушел в боковую аллею и присел там на пустую скамейку. И, как это нередко бывало, вдруг из пустоты и душевного отчаяния вылилась сверкающая струйка нового стиха. Я вынул записную книжку и записал его.

И тут на скамье придвинулся ко мне человек в соломенной шляпе, в синей тенниске, в тапочках на босу ногу, с сеткой-авоськой на коленях, в которой был какой-то рыхлый бумажный пакет. Человек со значительным видом посмотрел на меня и вдруг напрямик спросил:

— Стихи пишешь? — и миролюбиво продолжил: — Давно наблюдаю за тобой. Рисуешь и стихи пишешь. По тебе я сразу понял, что ты непростой человек. (Пауза.) Я тоже пишу. Я Писатель Веселовского Района.

И тут он рассказывал, что раньше печатал в газетах всякие материалы, а потом однажды поехал в Веселовский район, зашел в райком партии и предложил себя в качестве районного писателя. То есть он заявил, что будет писать книги о славной истории района, глубоко вкопается в местный исторический матери-

ал, выгащит его на свет повседневности и свяжет с современностью. Предложение было принято.

— Теперь живу в Веселовском районе... Мне там выстроили большой дом. Написал одну книгу, собираюсь написать другую. Чуешь, как здорово все придумано? Всем хорошо. И району слава, и у меня голова не болит, как издать книгу. Райком занимается этим.

— А нет ли там поблизости какого-нибудь свободного райкома? — спросил я у ПВР, стараясь наиграть голосом великую зависть. — Я после дембеля тоже хотел бы так... Прокормиться-то можно?

— Молод еще, ничего не знаешь,.. — снисходительно молвил ПВР. — На продукты по себестоимости, которые райком берет в сельской местности и между своими распределяет, хватит и твоей солдатской полочки. Понял?

— Понял! — бодро отозвался я. — Где есть еще такой район? Дай, пожалуйста, ста, адрес.

— Ишь ты, какой прыткий! Молодой да ранний! — вдруг рассердился и обиделся ПВР. — Ты сначала докажи, что можешь на это претендовать. Что талант имеешь, что человек серьезный. Думаешь, там в райкоме дураки сидят?

Так он и не указал района, где я мог бы пристроиться на дешевый прокорм. Рассердился за что-то на меня Писатель Веселовского Района, встал со скамейки и ушел, даже не попрощавшись.

Таков был первый живой советский писатель, которого мне пришлось встретить в этой жизни. Но, может быть, все это было «туфтой», как выражались зеки? Уж больно неподходящая была физиономия у этого ПВР... И в особенности вызывали сомнение его дешевые потрепанные тапочки, надетые на босу ногу, и какой-то потрепанный бумажный пакетец, который он нес в сетке-авоське...

Спутники

Их было немало, они, наверное, преуспели в жизни, все эти подвальные поэты, художники, композиторы, с которыми я когда-то познакомился в самом начале своего пути, — дай-то Бог!

На меня произвели большое впечатление знакомство и дружба с одним песенным поэтом, который жил где-то в полуподвальном помещении в Столешниковом переулке, в эти темные катакомбы я и ходил на встречи с молодым, чуть постарше меня, бледнолицым поэтом-песенником Мишей. Он мне покровительствовал на первых порах моего литературного пути. Это был уже довольно преуспевающий профессионал, он кормился тем, что строчил детские стихи, писал тексты для телевидения, сочинял вместе с приятелем-композитором эстрадные песенки и куда-то продавал их рублей по восемьдесят за штуку.

Миша был добрый малый и хороший семьянин, имел рыжеволосую кудрявую жену в очечках, рыжего мордастого сынка и такую же кудлатую, как и его жена, белесую собаку со злобным голосом, которая закатывалась на весь подвал, выскакивая прямо под ноги из каких-то темных закоулков. Миша содержал всю эту веселую семейку исключительно на свои гонорары, то есть нигде не служил. К тому же чуть не каждый вечер у него в подземелье устраивались попойки, на которые приходила разношерстная отчаянная богема с вином, дешевой колбасой и сигаретами, шумела, пела, спорила, танцевала.

На первых порах, как того и следовало ожидать, я попал на самые дальние задворки литературного мира, туда, где еще не существующий для большой литературы поэт Миша был уважаемым мэтром — для других еще более не существующих в литературе поэтов, прозаиков, драматургов. Авторитет Мишин поддерживался тем, что он уже кое-где напечатал детские стихи, издал картонную книжку-раскладушку в издательстве «Малыш» и, главное, постоянно сотрудничал с детской редакцией Центрального телевидения, писал стишки для популярной передачи «Спокойной ночи, малыши».

Допущенный к грандиозной московской литературной кухне, Миша принёс нам оттуда попробовать кое-какие лакомые кусочки... Меня он представил редакции «Спокойных ночей...», и я вскоре получил первый в своей жизни литературный заказ — сочинить какую-нибудь современную сказочку для детей. Так я на какое-то время стал внештатным сценаристом дошкольной детской редакции телевидения.

Никогда раньше я не представлял, что буду входить в литературный мир через задворки. Та величайшая значительность и грандиозный размах душевной работы, что были мною уже испытаны и пройдены, никак не вязались с мелковатостью и грустным убожеством Мишиного «салона». Обычно там вечерние бдения задерживались допоздна, и почтенный хозяин где-то после полуночи бросал гостей и удалялся из общей комнаты в соседнюю — но не спать, а работать. Там у него стояла пишущая машинка «Оптим».

На другой день, если кому-нибудь из гостей дома приходилось по делу забегать в полуподвал до, скажем, часу дня, то он мог увидеть торчащий из машинки лист бумаги с новым Мишиным поэтическим произведением. О, Миша был замечательный профессионал!

Итак, мои прежние представления о том, как становятся писателем или поэтом, составленные по прочтении некоторых произведений Джека Лондона, Кнута Гамсуна или Чарльза Диккенса, не совпали с действительностью. И прежде всего несоответствие состояло в том, что литература существовала, оказывается, отнюдь не только великая, обозримая для всего мира, но и вполне мелкотравчатая, ни для кого не видимая — что-то вроде тех песенок, что сочиняли Миша и его друг композитор, маленький и вертлявый паренек, весьма похожий на смышленную дворняжку.

И вообще действительность искусства, состоящая не только из празднеств и торжественных дней, составленная не только из гениев и талантов, а размазанная по поверхности унылой действительности тонким слоем заурядного эстетического повидла, эта картина, открывшаяся в моей послеармейской Москве, явилась для меня ещё одним потрясением.

Праздника никакого не было. Были скверные будни не карнавала, не фиесты, а самой оголтелой алчной ярмарки. Причем купля-продажа на этой ярмарке совершалась товарами самого низкого пошиба и по самой дешевой цене. За те безделушки, которые я должен был поставлять, телевидение мне платило столько рублей за штуку, сколько стоило тогда дешевое демисезонное пальто. Помню, зеленовато-болотного цвета, в мелкую клетку пальто было куплено на мой первый литературный гонорар...

В самом начале я пытался ещё ходить по редакциям журналов. Помню, выбрав один какой-то журнал средней толщины (замахнуться на «толстый» не хватило смелости), я нашел его и, подойдя к зданию редакции... прошел мимо ворот, сделав вид, что никакого интереса к этому дому не испытываю. Не знаю, почему охватил меня сильнейший страх... Я завернул за угол, не спеша прогулялся вокруг всего квартала — и только со второго захода осмелился зайти в подъезд редакции. Но и там, на втором этаже перед дверью с табличкой, возле окна, где стояли и курили какие-то серьезные городские мужички в галстуках, я простоял битый час. Я выкурил несколько сигарет и только после того, как все мужички разошлись куда-то, осмелился осторожно приоткрыть дверь.

Две невыразительные девицы сидели в приемной, о чем-то разговаривали. На меня, конечно, никакого внимания... Только после того, как одна из них ушла, оставшаяся обернулась ко мне с молчаливым вопросом в глазах. Я сдвинутым, противным голосом молвил, что вот, принес свои стихи. Девица попросила оставить рукопись и велела написать на последнем листке, на оборотной стороне, полное мое имя, адрес и телефон. После этого редакционная девица впадала в глубокую задумчивость. Все сделал, я потихоньку ушел. Никогда больше

этих листков со стихами я не видел, никто по их поводу не отозвался ни письмом, ни звонком...

Вскоре я понимал уже, что писательское дело у нас в стране есть дело не частное, а государственное. И при таких обстоятельствах надо было решать, *что писать, как писать и для чего писать.*

Самым правильным на первый взгляд было бы решение вообще *ничего не писать.* Но этого я не мог. И тогда-то обнаружилась двусмысленность моего положения. Окружающая действительность была мне немила, поэтому я не мог вылезать, как некоторые, на ее утверждения и прославлении. Равным образом я не мог оказаться и среди тех, кто творил свои тексты на цементе ненависти, отрицания и диссидентской вражды к этой действительности. Та ненависть и нетерпимость, что царили в жизни, в ответном чувстве не могли вызвать ничего иного, кроме той же самой опустошительной ненависти... а я не хотел бы бороться своей злобой против всеобщего зла.

Все это время я писал стихи и прозу, преимущественно рассказы, и ходил по редакциям журналов с этими рассказами, и получал отказы в лапидарной форме: «К сожалению, не подошли...», «Не в направлении нашего журнала...», «Возвращаем в связи с отрицательным мнением рецензента...».

И вот однажды я пришел к поэту Мише в его полуподвал и держал перед ним исповедь, хотя ему-то слышать мою исповедальную речь было ни к чему и не особенно интересно. Я сказал, что литература оказалась для меня малоприятным делом и человеку лучше не заниматься ею, если только он может не заниматься. А если писать, то делать не телевизионные штучки на заказ, а что-то совершенно новое, свое, пусть и смертельно опасное для здоровья. Лицо Миши, бледное и черноглазое, исказила натянутая улыбка, и он сразу же коротко ответил:

— Не выйдет у тебя... Пропадешь.

Я рассмеялся. Очевидно, он свое положение в жизни не воспринимал как пропащее. Ему от всей души хотелось, чтобы и я тоже уцепился за край пирога, и вдруг я заявляю, что мне ничего этого не нужно! Было отчего рассердиться Мише и, может быть, холодно презирать меня. Я ответил примирительно:

— Может быть, и пропаду. Но дело в том, что мне в любом случае пропадать. Так что не страшно — надо попробовать.

— Ну, попробуй,— согласился со мною Миша.

Я ушел — и с тех пор мы больше никогда не встречались. Но я вспоминаю о нем с самыми добрыми чувствами.

Пустынник

Когда я отказался заниматься литературной поденщиной на телевидении, моя надежда перешла из нулевой отметки в минусовую. Если раньше я надеялся, что мои стихи и рассказы в конце концов напечатают в каком-нибудь журнале, то теперь, когда я уже достаточно походил по редакциям, мою душу застило кромешное облако — *чувство*, что меня никогда и нигде не напечатают. Это облако накрывало все дни первых лет моего писательства.

Но я решил продолжать то, что было уже начато и чему отдано столько отчаянных усилий. Иначе жить я не мог и не хотел. И хотя у меня уже была семья, родился ребенок, я вовсе не считал главным делом своей жизни поднимать эту семью, обеспечивать благосостояние своего дома, держать очаг теплым, холить потомство и тому подобное. Не задумывался я и над тем, как бы мне исполнить долг перед родителями, отблагодарить их за все заботы и постараться дать им покой в старости. Также никакого чувства долга не испытывал я перед могучей державой и ее вождями.

Я начал с того, что ушел из художественного училища и устроился сторожем на стройку, к моему другу Валерию Костионову. Мое дежурство начина-

лось в четыре часа дня, когда строители заканчивали и уходили домой, и продолжалось до восьми часов следующего утра, когда они вновь приступали к работе.

Ночью я писал за конторским столом, в кабинете моего друга-прораба. Время от времени делал обход территории, огороженной забором. Выходил на кровлю отстроенного здания и, стоя в темноте, смотрел на пылающие огни ночного города.

Не помню уже, в каком районе Москвы находилась эта стройка. Утром я выходил за ворота и оказывался в пустынном переулке со старыми малоэтажными облупленными домами, шел к одной из больших улиц, где надо было садиться на трамвай и довольно долго ехать до какой-то станции метро. Одно лишь запомнилось хорошо: переулок, выходивший на большую улицу, упирался в квартал многоэтажных серых домов новой постройки.

Один из этих домов нависал над тем переулком, по которому я проходил, и угловой балкон на самом верхнем этаже был со всех сторон заколочен досками, как бы взят в глухой ящик. Я приостанавливался на минуту под этим домом и, задрав голову, пристально вглядывался вверх. Строители мне рассказали, что там раньше показывались двое собакоголовых детей. Они свешивались через перила и верещали, окликая и пугая прохожих. И вот, чтобы не будоражить народ, балкон был упрятан в ящик, и песьеголовые детки могли теперь сколь угодно бушевать, вопить и прыгать внутри него, шатая деревянное сооружение... Однако мне никогда не удавалось ничего услышать или увидеть. Тихо было в ящике, который я осматривал, остановившись на тротуаре. Видимо, в восемь часов утра эти химерические существа еще не выпускались на прогулку...

Был ли это очередной городской миф, черный, зловещий, или что-либо другое, я не знаю. Однако этот сюжет говорит о многом. Тональность и окраска нашей жизни были мрачными, криминальными. Какой-то зловещий убийца разгуливал по Москве под видом слесаря Мосгаза и, проникая в убогие бедняцкие квартиры, убивал жалких старушек и сидевших дома за уроками детей — безжалостно пробивал им головы молотком. Он был неуловим и жесток, как дьявол, однако непонятно было все же: ради чего ему убивать беспомощных старух и малых детей? Монстр не совершал грабежей и не насиловал блондинок определенного телосложения... И мне казалось, что подобные дела происходят от той великой, дичайшей скуки и тоскливости существования, которыми была охвачена вся наша действительность.

Еще в дни службы в армии я окончательно осознал, почему мне так хочется писать на бумаге слова. Тут я мог быть свободен, быть самим собой, полноценным, родным самому себе и тем персонажам, которых я выдумывал. В словесных сочинениях своих я, человек с утраченной прародиной, вечный чужак на той земле, где увидел свет, — там я обретал себе и родину, и приятное для себя существование. И если в реальной жизни я не получал большой любви к себе, в рассказах моих и повестях я буквально упивался ее живой кровью, словно хищник любви. И с этим жить было можно.

Таким образом, писать книги означало для меня не профессиональное дело, не социальное действие, но скорее способ истинного внутреннего существования. Видимое же внешнее существование в социуме было для меня таким малопривлекательным делом, что я с ним бы не справился, сошел на нет, если бы не эта открывшаяся возможность уходить и быть счастливым в ином существовании.

В те годы писательского пустынножителства в мою душевную жизнь вошел Лев Толстой, как входил он в жизнь тысяч людей разных поколений. Все это были люди, увидевшие скудость и лживость окружающей жизни, не желающие с этим примириться, пытающиеся понять истинные причины такого миропорядка, увидевшие их прежде всего внутри человеческой личности, а не только во внешнем пространстве общества.

Особенно убедительной была для меня та часть философских публицистических трактатов Льва Толстого, где осуждался скверный способ жить на свете, физически угнетая своего ближнего, заедавая чужой век. Не мог, не имел права никто из людей превращать жизнь другого человека в простое средство своего собственного существования. Но вся громада жизни вокруг и ныне и присно была устроена именно по такому порядку!

И все же каждый человек, понимающий это, мог попытаться устроить хотя бы свою собственную жизнь по законам справедливости, открывшимся ему. Мое решение было таковым, что, желая заниматься литературным писанием, я должен был обеспечить это мое личное, бесполезное для других, умственное дело каким-нибудь посильным полезным физическим трудом.

И, поработав первую зиму своего опрощения сторожем, а затем и кочегаром на стройке, весной я поступил учиться на курсы крановщиков, по окончании коих стал дипломированным машинистом башенных кранов. В общей сложности крановщицкая моя карьера продлилась лет пять, и стоят сейчас где-то в Москве многоэтажные жилые дома, типовые больницы и школы, в монтаже которых я принимал самое непосредственное участие в годы своего писательского отшельничества.

Ибо как писатель я стал отшельником, и моя писательская жизнь проходила в полной изоляции от всякого мира литературы, подобно тому как духовный подвиг какого-нибудь пустытника совершался вдали от человеческих жилищ и храмов. Моей пустыней была вся огромная каменная Москва, зимой холодная, в серых льдах, а летом душная, в синем бензиновом чаду. Мое понимание писательства — не как общественного служения, а именно как формы мистического подвига или постоянной отшельнической молитвы — освобождало меня от удручающих переживаний по поводу отказов журналами печатать мои рассказы и стихи.

Да я вскоре и перестал их носить по редакциям. Я писал, как говорится, «в стол». Чем и пополнил, не зная еще того, многотысячную популяцию графоманов, неудачников, шизофреников и непризнанных гениев, коих так много на Руси и которым никогда не грозит, чтобы их труды познали печатный станок.

Зачем все эти люди совершали свою безнадежную работу? Ведь не только по глупости или великому тщеславию. Представить только эти груды пожелтевшей от времени бумаги, на которых графоманы и непризнанные гении мира начертали свои сочинения! Просто оторопь берет... Я хотел бы сейчас пропеть реквием всем мертворожденным рукописям литературных неудачников всех времен. Они желали, наверное, так же, как и я, быть свободными в несвободном мире — и были свободными, уходя в свои медитации, зафиксированные на пожелтевших листах самой скверной бумаги. В этой короткой жизни, прежде чем закончить ее, они ничего плохого никому не сделали, в их помыслах и делах никакого зла не было.

Именно в этот период работы «в стол» я был, как бы это сказать — наиболее писателем, что ли. Никогда после не ощущал я такой радости от самого процесса работы. Где-нибудь в обшарпанной строительной конторе, на безвестной московской окраине, глухой ночью, сидя над своими рукописями, я испытывал всю полноту жизни и ее глубокое, истинное счастье. Подлинность моего писательства была в том, что мне ничего, кроме самой этой работы, стало не нужно.

Итак, после армии я скоропалительно женился, бросил училище на четвертом курсе, стал работать ночным сторожем, кочегаром, крановщиком на стройке... Последняя профессия меня привлекала тем, что, забравшись на высоту птичьего полета, в кабину крана, я оказывался в великолепной самоизоляции, столь необходимой для меня. Настоящая отшельническая келья! Одновременно я мог зарабатывать деньги для семьи. Работа была не трудна, а когда со временем я достиг некоторого мастерства, то начала приносить мне и настоящее

удовлетворение. Замечательное было чувство, когда, поднимая со штабеля пятитонный железобетонный блок, удавалось снять его стрелой крана без рывка и раскачки, мягко и нежно, словно пушинку. Или, подавая на стропях широкую плиту перекрытия, опустить ее на приуроченное место, на раствор, столь аккуратно и точно, что монтажникам, стоявшим внизу наготове со своими ломиками в руках, уж и не надо было поправлять эту тяжеленную плиту, подсовывая кривой конец монтажки под край и сдвигая ее в ту или иную сторону.

Также было замечательно в паузах между монтажными операциями, когда кран был никому не нужен, развернуться окнами кабины на город и созерцать необъятную, теряющуюся в дымке далекого изломанного горизонта урбанистическую панораму. Огромное пространство в нагромождении бесчисленных домов дыбилось, ломалось острыми углами под небом, словно посылая туда молчаливые, тщетные, бессмысленные угрозы...

Кроме кабины башенного крана, вывешенной в поднебесье, и ночных прорабских контор на стройках, моими рабочими кабинетами в те годы были пустые комнаты в необитаемых домах, подлежащих сносу, и свободные, еще не заселенные комнаты в коммунальных квартирах новостроек, а также пустующие художественные мастерские под самыми крышами на Сиреневом бульваре. Так уж получилось, что писать на своей первой квартире, в пятиэтажной «хрущобе» у станции метро «Молодежная», на окраине Москвы, я никак не мог. Квартира была мала: две смежные комнаты, крохотная кухня. Кроме меня с женой и дочерью, в ней вскоре стали жить моя младшая сестра-студентка и парализованная матушка, которую перевезли с Дальнего Востока...

Словом, для моей писательской деятельности судьба предоставляла мне мало возможностей. Не только родственники — весь окружающий мир, казалось, с осуждением воспринимал это мое отчаянное решение. К тому же корейское происхождение как бы всегда оказывалось причиной тайного сомнения моей судьбы, которая начинала впадать в недоверие к самой себе, и точно так же вызывалась вопросительная мина на лицах у всех, кому становилось известно, что я собираюсь стать русским писателем. Нет, я не мог со всем этим справиться дома и спокойно писать. Постоянно надо было искать какое-нибудь уединенное место, убежище, где я мог бы без свидетелей разложить свои бумаги и надолго склониться над ними с карандашом в руке.

Но, побегав по разным московским углам и поработав год-другой крановщиком, я почувствовал, что во мне все меньше остается желания писать. Порой физически трудно становилось сесть за стол.

Через некоторое время мне стало ясно, что если я не буду публиковаться, если не обрету писательской профессии, а останусь навсегда крановщиком, то во мне рано или поздно исчезнет желание писать.

И тогда мне, понявшему, что с ходу вскочить в поезд не удастся, пришлось на ум поступать в Литературный институт имени Горького. Не для того, чтобы научиться сочинять, а чтобы получить доступ в существующий клан литераторов — Союз писателей. С самого начала я отдавал себе отчет, что Литинститут мне нужен лишь как стартовая площадка для литературной карьеры.

Тверской бульвар, 25

Пожалуй, это единственный существующий в мире университет литературы, где обучаются мастерству прозаики, поэты, драматурги, критики, литературоведы, художественные переводчики — считай, люди почти всех литературных профессий. Но я вовсе не уверен, что Литинститут совершенно необходим для отечественной и мировой литературы. Мои сомнения рождены непосредственной практикой, тем, что понял я, еще будучи студентом этого творческого вуза, а потом, годы спустя, преподавателем кафедры литературного мастерства.

Может быть, в смысле получения чисто филологического образования институт немало дает своим питомцам, и «литературный работник», как определяется в дипломе по графе «специальность», вполне может состояться после окончания Литинститута — редактор, переводчик, журналист. Однако почему-то в дипломах не пишется прямо и открыто, что человек окончил определенный факультет и стал, допустим, прозаиком или драматургом, поэтом или критиком. Наверное, есть что-то сомнительное в том, чтобы называть сочинительство стихов или писание прозаических произведений специальностью подобно профессиям инженера или юриста.

Да, Литературный институт может подготовить литературных работников. Уникальных же художников там не воспитывают, да и такой задачи не может быть поставлено. То есть никогда и никоим образом институт не способен был взрастить в своих стенах гениального поэта или писателя. Таковое противоречило бы самой природе этого учебного заведения. Там постигалось литературное ремесло под эгидой определенной идеологии, институт официально назывался *идеологическим учебным заведением*. Главными предметами в его программе были история КПСС и марксистско-ленинская философия. А для нее самобытный гений, выходящий за рамки партийности, был явлением нежелательным.

Но коль скоро литературных талантов и раньше на Руси проявилось немало и все они как-то состоялись без Литературного института, то можно смело сделать вывод, что обучать поэтов и писателей их ремеслу в вузе вовсе не обязательно. Мало того — появлению высшего художественного таланта в институте обязательно сопутствовали бы некое неблагоприятие судьбы и неминуемый конфликт с действительностью. Ибо невозможным было совмещение свободы духа, что есть главное условие для самовыражения таланта, с идеологическими установками данного литературного университета.

Однако я шесть лет проучился в Литинституте, впоследствии пять лет преподавателем и храню об этих годах отнюдь не только горестные воспоминания. Мне приятно вспоминать о художественном руководителе нашего семинара, старом писателе Владимире Германовиче Лидине, в особенности о встречах с ним вне институтских занятий (на которых, кажется, он и сам слегка скучал) — у него дома или на даче в Переделкине, или в музее Льва Толстого, где наш профессор был своим человеком. С удовольствием вспоминаю и о некоторых моментах семинарских занятий уже со своими студентами, которым я, памятуя о тоскливых часах собственных семинарских штудий, старался дать возможность больше говорить самим, чем слушать меня.

Но когда сейчас я думаю о том, что изо всей дюжины моих талантливых семинаристов ни один так и не стал профессиональным писателем, то у меня сразу же портится настроение. Потому что определенно я чувствую на себе какую-то вину за их незавидную литературную судьбу.

В годы учебы я совсем не делал никаких попыток опубликоваться, хотя писал по-прежнему много и постоянно. В основном это были рассказы. Я уже чувствовал, что кое-что у меня начало получаться. Через рассказы мне открылось, что самое главное для пишущего художественные тексты, — это не тема, не выигранный материал, даже не глубочайшая философская мысль. Главное — язык. *Свой* язык, соответствующий единственному духовному феномену — *твоему*. И этот язык я с настойчивостью искал ощущенью, полный неуверенности, тревоги, порою с обрушивающимся на душу чувством безнадежности и полной жизненной катастрофы. О, каким несуществующим представлялось тогда это дело!

Между тем житейская сторона, семья и дом мой пришли в самое плачевное состояние. Первая жена моя, кореянка, женщина послушная, нетребовательная, не проявляла никакой инициативы в крутой жизненной борьбе и только как бы молчаливо и выжидательно следила за моими действиями со стороны. Будучи

по-своему стойкой и терпеливой женщиной, в классическом восточном варианте, она никогда не позволяла себе упрекнуть меня в чем-нибудь или хотя бы раз пожаловаться на жутчайшую нужду и убогость нашего семейного быта. Много лет она хозяйничала в двухкомнатной квартирке, где столик с тумбой, полки, скамейка — вся кухонная мебелировка была изготовлена из древесно-стружечной плиты, которую мы с моим другом Валерием Костионовым унесли с ближайшей стройки. Дома мы разметили ее и, порезав на куски, сколотили необходимым кухонную мебель, книжную полку и письменный стол. Спали мы на пружинном матрасе, к которому я приделал самодельные деревянные ножки. От нашей бедности и тоски, наверное, в щелях деревянной части матраса завелись клопы, а на кухне забегали тараканы. О, эти твари немедленно заводятся там, где влачит свое существование беднота мира! Я вел свирепую борьбу с супостатами, но успехи у меня были переменные. Порой клопы доводили меня до отчаяния. Они искусывали ночью мою маленькую дочь так, что бедное тельце ее, ножки, ручки и даже лицо покрывались красными волдырями.

И вот наступило такое время, когда я вдруг почувствовал, что почти сломлен, продолжать дальше подобную жизнь, стараясь не замечать всей ее страшной и мелочной подлости, я не в силах. Однажды на зачетах, собираясь уже идти отвечать профессору, я машинально полез в карман куртки достать носовой платок, хотел вытереть лоб — и вдруг увидел, что достал из кармана вовсе не платок, а красные штанцы своей дочки-малышки. И вспомнил, что утром, отведя девочку в детский сад, я передел ее в сухое, а мокрое сунул в карман куртки и забыл об этом. Вечером в институте сие обнаружилось...

Мой друг Валерий Костионов в то время уехал из Москвы на заработки в далекую сибирскую страну Туву. Приехав оттуда зимой 70-го года по каким-то делам в Министерство строительства, он зашел к нам и увидел, до какой жизни я дошел, сидя на шее своей жены, которая зарабатывала в ателье портнихой совсем крохи, и мы иногда почти голодали. Я же, не обращая ни на что внимания, учился и писал про жаркий воздух и текучее волнистое марево Сальских степей... Валерий Костионов предложил мне поехать к нему в Туву, чтобы я там поработал на башенном кране.

Доведенный до отчаяния, я был на все согласен. И вот в феврале, вскоре после визита к нам Валерия, я заработал немного денег, выпустив плакатик в медицинском издательском бюро, половину оставил жене, на другую половину купил билет на самолет и отправился в далекую страну Туву.

Путь в никуда

Никаких денег я не заработал на строительных участках моего друга-начальника в Туве. Уж больно было холодно на стройках, и друг пожалел меня, оставил у себя в теплом доме, где я начал работать над повестью «Луковое поле» — часть первая, — а также готовил обеды на всю его семью из замечательной телятины, замороженной целыми тушами, замороженной же рыбы-хариуса, придумывал соусы к мясу из заледневших ягод облепихи. Этих экзотических продуктов заготовлено было у друга достаточно, ими была набита вся серебристая от инея веранда, которая в зимнее время использовалась как холодильник.

Друг дал мне заработать на обратную дорогу тем, что заказал для украшения строительного участка нарисовать гигантский портрет Ленина — шесть метров в высоту и четыре в ширину. И я такой портрет нарисовал на фанерных щитах и получил за это несколько сотен рублей — немалые деньги для того времени. А вернувшись в Москву после двухмесячного отсутствия, я узнал от жены, что скоро второй раз стану отцом.

С рождением второго ребенка стало совсем худо. Жена в роддоме застудила почки, и у неё начался туберкулезный процесс. Она стала подолгу пребывать в больницах, в специальных санаториях, а я оставался дома с двумя дочерьми,

одна из которых только что пошла в школу, а вторая, младшая, едва научилась ходить. Но она гораздо увереннее чувствовала себя не в стоячем положении, а в ползучем, и часто бывало, что малышка моя вползала под письменный стол, за которым я работал, и там засыпала, обняв мою ногу и прижавшись к ней головою. А я в это время писал какие-то слова, которые почему-то имели для меня большее значение, чем радость простой жизни, покой семьи и здоровье скромной, терпеливой жены.

Я снова пытался заработать на телевидении, но как-то плохо это у меня получалось. «Больничных» денег жены было явно маловато для выживания нашей семейки. Однажды дошло до крайности — денег не оказалось даже на еду, и я срочно собрал все бутылки из-под вина, накопленные на балконе за несколько лет, набил ими рюкзак и понес в пункт приема стеклотары.

В ближайшем пункте оказался выходной, и я вынужден был поехать на троллейбусе к дальнему продовольственному магазину, где также принимали пустые бутылки. Никаких денег у меня в кармане не оказалось, так что пришлось ехать «зайцем». Когда я подъехал к магазину, то еще издали, от остановки, увидел, что у ларька приемки стеклотары хлопочет женщина в синем халате — закрывает деревянным щитом окно и навешивает висячий замок. Я понял, что опоздал, — приемный пункт закрывался, время уже было вечернее. Без какой-либо надежды подошел к двери и, движимый одним лишь отчаянием и крайним ожесточением (к себе, к одному только себе!), открыл ее и вошел внутрь помещения. Там было полутемно, горела голая электрическая лампочка под потолком, и приемщица, полная, не старая еще, склонившись над столом, что-то писала. Подняв голову, она с молчаливым вопросом в глазах уставилась на меня. И я неуверенным голосом, заикаясь, спросил, не может ли она принять у меня посуду. На что приемщица вполне спокойно предложила мне пройти в соседнее складское помещение и самому выложить на стол все мои бутылки... На вырученные деньги я смог купить в том же продовольственном магазине хлеба, молока и пачку черного китайского чая...

На другое утро я сидел на кухне один и смотрел в окно. Перед нашим длинным пятиэтажным домом находился такой же длинный «хрущевский дом». Картина, раскрывавшаяся перед глазами, была удручающе убогой и бездарной. На широкой плоской стене — одинаковые квадратные окна. В них кое-где видны какие-то люди... Но небо над прямой крышей соседнего дома было чудесной голубизны и бездонности, как и всегда! Где-то в комнатах звучали голоса моих домашних — девочки ссорились и пищали, мать увещевала их. Я вслушивался в эти привычные мирные звуки, смотрел в пустое голубое небо и загадывал. Если появятся в створе окна какие-нибудь птицы — вороны, голуби или воробьи — и пролетят справа налево, то принятое вчера решение ни к чему не приведет, и я все же погибну. А если в экране окна птицы пролетят слева направо, то все будет хорошо, я добыю своего и спасу мою маленькую семейку... И птицы, надо сказать, пролетели слева направо, слава Богу, — несколько молчаливых черных ворон самого будничного вида.

В один из дней, когда я сидел с детьми дома, а жена находилась в больнице, вдруг раздался телефонный звонок... Звонил мне грузин Ш., который заканчивал Литинститут. Я раньше видел его, но почти не был знаком, никогда с ним не общался — длинный белобрысый грузин с платиновыми зубами, про которого говорили, что его дядя — крупнейший правительственный деятель в Кремле.

Ш. изложил мне по телефону деловое предложение: чтобы я по подстрочнику сделал художественный перевод его дипломной работы — повесть и рассказы... За что он обещал «лично из мой карман» заплатить мне по двести рублей за авторский лист... Тогда это были неслыханные деньги для меня. Я спокойным голосом, чтобы не спугнуть его, попросил приехать ко мне и привезти рукопись.

Так появился в моем доме этот плоский и длинный, как фитиль, Ш., мой пер-

вый литературный работодатель, благодетель и слегка жуликоватый, но вполне добрый ангел, в то самое драматическое для нас время выручивший меня.

Возникнув на пороге, он торжественно протянул мне скатанную в трубочку рукопись. Но она оказалась написанной по-грузински! Я удивился: а где же русский подстрочный перевод? На что Ш. объявил мне, что подстрочник не понадобится, потому что: «Я сам буду читать по-грузински, говорить по-русски, а ты слушай и быстро-быстро переводи. На грузинском это великолепный текст, дорогой Анатолий! Слушай, я великий писатель Аджарии». Пришлось записывать за ним кое-как передаваемый на ломаном русском, порой едва понятный по смыслу «великолепный текст» великого писателя Аджарии. Я потом обрабатывал и, чего там скрывать, порой писал что-то от себя, потому что в произведениях Ш. было много несуразностей (или устный перевод был таким?), и я, чтобы добросовестно отработать деньги, исправлял как мог все эти места.

Правда, он не сразу хотел отдать честно заработанные мною деньги! Когда я сделал и передал ему свою работу, грузин Ш. стал бегать от меня, прятаться и хотел, видимо, как-нибудь увильнуть. Но я узнал его домашний адрес и послал ему длинную телеграмму, в которой пригрозил, что если он не соблаговолит мне заплатить, то я пойду на кафедру творчества, заберу свой перевод и таким образом не дам ему защитить дипломную работу. И буквально на следующий день Ш. принес мне домой деньги. Я тогда не стал их считать при нем, а он как раз и надул меня на сотню рублей — этот рыжий грузин никак не мог, очевидно, обойтись без того, чтобы не сжульничать.

Он мне рассказывал, что у него в Аджарии имеется двухэтажный дом и гектар мандариновой рощи, доход с которой каждый год составляет примерно два чемадана денег... Когда с моей помощью Ш. успешно защитил свою дипломную работу, то на радостях устроил банкет в дорогом ресторане «Минск», куда пригласил всех, кто только попался ему в Литинституте, — студентов, канцелярских работников, преподавателей, аспирантов, самого ректора института Пименова, руководителей семинаров. Дело происходило летом, было время каникул, и поэтому народу набралось на пиршество всего человек семьдесят. Кажется, Ш. был несколько огорчен этим обстоятельством. Потратил он на банкет столько, что этого хватило бы мне, наверное, года на три или даже четыре.

А затраты на мои переводы Ш. возместил с лихвой: он напечатал рассказы в еженедельнике «Литературная Россия» и в журнале «Огонек», повесть опубликовал в журнале «Молодая гвардия», затем издал ее миллионным тиражом в «Роман-газете». Очевидно, мои переводы и «редактура» не очень испортили их, раз они были напечатаны в таких престижных изданиях... А мои собственные рассказы и повести, увы, по-прежнему нигде не хотели печатать!

Постепенно мне стало представляться, что какие-то могущественные тайные силы стоят на моем пути и злонамеренно не допускают меня к публикациям в журналах. Я даже стал как будто бы ощущать на себе чье-то пристальное незримое внимание, улавливать чью-то насмешливую ухмылку... Словом, я с тоски начал по-настоящему сходить с ума. Мне все труднее становилось просто зайти в какой-нибудь журнал или даже позвонить туда. Бедные редакторы и редакторы! Если бы знали они, какие только проклятия не посылаю я на их головы! Много лет спустя, когда меня стали печатать и я даже обрел какую-то известность, с этими же редакторами мне пришлось иметь дела, и с некоторыми из них я подружился. И узнал, что ничего сверхъестественно чудовищного, дьявольского нет в существе по имени «редактор», что он более обездолен, чем даже плохонький писателишка...

Выход из подполья

И все же что-то начало помаленьку изменяться в отношении меня со стороны внешнего мира. Как бы прошла его абсолютная глухота и неотзывчивость

к моим литературным воплениям. В редакциях некоторых журналов, таких, как «Дружба народов» и «Москва», со мною стали разговаривать более внимательно, чем раньше. И рукописи стали возвращать не сразу — с полным и окончательным отказом, — а с некоторой нерешительной задержкой. Порой эти задержки длились по году. И в журналах *стали просить*, чтобы я приносил другие свои сочинения. Все это было для меня новым, обнадеживающим...

Однако и уверенность моя в собственные силы укреплялась. Я читал вслух свои рассказы на каких-то московских литературных вечеринках с чаем, легким вином, с дешевой колбасой на закуску и неизменно имел успех. Какие-то дамы появлялись, с умными глазами и приятными манерами, которые начинали внимательно расспрашивать меня и предлагать знакомства с некоторыми московскими мэтрами литературы. Я охотно шел на эти знакомства, хотя и убеждался каждый раз, насколько они докучливы для самих этих значительных лиц и бесполезны для меня. Мэтры смотрели в мою сторону с плохо скрываемой досадой, подозрительно, словно полагали, что я пришел к ним просить денег.

Но я быстро разобрался, что к чему, и в посещениях подобного рода разгадал некое поведенческое проявление культурно-стадного инстинкта. Надо, надо было шастать за добычей по московским литературным саваннам и джунглям! И не в одиночку, но обязательно в свите какого-нибудь заметного льва. И если вожак бывал уже несколько облезлым, глуховатым или беззубым, это не имело большого значения. Лишь бы тебе оказаться в львином прайде. Ибо литературный ареал Москвы давно был поделен между стаями, и существование каждой шло почти независимо от других. Иногда могло получиться и так, что никогда не пересекались пути-дороги какой-нибудь Г-ской группировки с Е-ской, и литературные прихвостни, кормившиеся в каждом из этих прайдов, ухватавали свои куски в разных издательствах, в разных журналах, всю жизнь ни разу не сталкиваясь друг с другом.

Одиночек практически не было. Одиночки не выживали.

Десять лет я старался избегать участия в подобной охоте, но постепенно пришел к выводу, что в одиночку мне не добиться толку. На исходе десяти лет после того, как я начал заниматься литературой, исподволь накопилась в моей душе огромная усталость. Мое первоначальное желание, заставившее пойти по этому пути, за прошедшее время постепенно видоизменилось. И если прежде мне хотелось писать, чтобы уйти в мир слов от реального социума, то теперь пришло желание обязательно опубликовать в этом социуме то, что было мною написано. Я понял, что моя жестокая борьба за право и возможность писать плавно переходит в не менее жестокую борьбу за право и возможность печататься.

В нашем доме подобрались в основном жильцы среднего советского класса: инженеры, интеллигенты-гуманитарии, военные чиновники невысокого ранга. Я попал в этот дом потому, что отец дал мне денег на первый взнос в жилищный кооператив. Соседями по лестничной площадке оказались симпатичные старик со старухой, еврейская семья, муж был художником-акварелистом, жена — писательницей, писавшей на идиш. Совпадение по интересам оказалось двойным — я ведь был в какой-то мере художником, ну и писателем тоже... Одним словом, я и моя корейская семейка в скором времени подружились с соседями Горшманами.

На протяжении многих лет они могли наблюдать за моими драматическими коллизиями с действительностью. Люди отзывчивые и сами пережившие все неизбежные стадии художественной безвестности и неприкаянности, Горшманы как могли помогали мне в моей схватке с житейской рутинной, поддерживали во мне боевой дух.

Голубоглазая Шира Григорьевна учила меня ухаживать за больными детьми, варить особенно питательную кашу из овсянки, выслушивала мое чтение — я читал ей кое-какие свои рассказы. Муж ее, тщедушный и болезненный ста-

рик, прекрасный акварелист Мендель Горшман, также уделял мне много внимания, подбадривал и вселял в мою слабеющую душу всяческую надежду. Однажды он предоставил мне на целую зиму свою художественную мастерскую, расположенную на Сиреневом бульваре, и я мог там уединиться, чтобы вдали от семейных дрызг творить свои бесполезные пока «нетленки». Не представлялось, что когда-нибудь они смогут принести хоть какую-нибудь пользу моим близким, моей маленькой семье, затерянной в огромной столице, и мне самому.

У этих добрых соседей оказался зятем самый, пожалуй, знаменитый артист того времени — Иннокентий Смоктуновский. Слава его была так велика, что в Киеве, в Ленинграде и Москве были созданы общества поклонников, которые время от времени устраивали конгрессы фанатов. Эти общества самозабвенных любителей Смоктуновского несколько иронично называли сами себя «сектой смоктунов». Они вели меж собою активную переписку, производили обмен культовыми ценностями: фотографиями артиста, открытками, автографами, пуговицами с его пиджака, оторванными во время одного из захватов фанатичками зазевавшегося кумира у подъезда его дома, статьями о нем во всей многообразной отечественной и зарубежной прессе и т. п.

Я сам очень любил этого артиста, считал его, пожалуй, единственным у нас, которому удалось быть абсолютно самобытным. В конформистском обществе все таланты должны были так или иначе принимать участие в создании всеобщего стереотипа. И только у Смоктуновского, игравшего те же пресловутые роли «наших» положительных или «наших» же отрицательных героев, получалось в высшей степени своеобразно, с неожиданными глубинами, хорошо и подлинно прочувствованными и переданными. Смоктуновский не играл своих героев, он перевоплощался в них.

Помню, впоследствии, время от времени встречаясь с ним, я часто совершенно не узнавал его. Ибо он весь менялся в связи с какой-нибудь новой ролью. Я впервые увидел его вживе на лестничной площадке перед дверью своей квартиры. Мой кумир стоял в унылой позе, положив руку на перила лестницы, глядя вниз — оказывается, пришел к своей теще, да не застал ее... Передо мной находился принц Гамлет с короткой прической русых волос, глубоко ушедший в себя, должно быть, в размышления о полной безнадежности человеческой природы. Драма отсутствия тещи Гамлета была не столь уж глубокой и значительной, но он все еще продолжал оставаться в образе, потому как съемки фильма «Гамлет» и премьеры прошли совсем недавно.

Впоследствии у той же его тещи я однажды увидел какого-то лысого, мясистого, с розовым голым лицом человека, которого я принял за одного из ее гостей. Довольно часто в квартире Горшманов появлялись эти господа из провинции. Раньше жившие в коммуналке, в одной комнате со взрослой дочерью, а потом и с зятем, старики с получением отдельной двухкомнатной квартиры почувствовали себя владельцами полумира (наверное, точно так же, как и я!) и стали чуть ли не зазывать к себе иногородних друзей и поселять их на столичное проживание у себя. Налысо обритый, с блестящим черепом и сытым загривком новый гость моих соседей без особенного удивления посмотрел на меня, стоявшего посреди комнаты и разговаривавшего с маленьким хозяином в зеленом свитерке, молча кивнул мне и затем прошел на кухню. Я еще немного поговорил с хозяином, и вдруг в разговоре обнаружилось, что прошедший на кухню господин был вовсе не гость, а зять. Смоктуновский тогда снимался в кинофильме «Преступление и наказание» в роли следователя Порфирия Петровича, и он у актера почему-то выходил таким: обтекаемо-лысым, сытым, с плотоядными губами, с внимательным и в то же время ускользящим в сторону взглядом синих выпуклых глаз...

Так бывало несколько раз. В те дни, когда он снимался в «Чайковском», я неудачно разминулся с ним на пешеходной дорожке у нашего дома, задел локтем и, извинившись, прошел дальше. Меня окликнули, я остановился и оглянул-

ся. Бородатый человек с красивым одухотворенным лицом несколько болезненного вида — какой-то очень сосредоточенный, *светло* напряженный — смотрел на меня и окликал по имени. Это был он, милейший Иннокентий Михайлович. «Что же вы, Толя, не хотите поздороваться со мной? — усмехаясь, молвил он.— За что-нибудь обиделись на меня?..»

И все же самое яркое впечатление было при первом знакомстве со Смоктуновским — Гамлетом. Впоследствии, когда мы вроде бы подружились (у него, конечно, было очень много и других людей, называвших себя его друзьями) и он даже крестил меня вместе со своим двадцатипятилетним сыном Филиппом — мне же было тогда сорок лет,— много разных обличий и личин наблюдал я у этого гениального актера. И не знаю до сих пор, какая личина была его самая-самая настоящая и единственная. Мир праху его.

Он был крестным отцом мне не только по православной вере. Подлинным крестным оказался для меня Иннокентий Михайлович Смоктуновский и в литературе. В ту первую нашу встречу на лестничной площадке я осмелился предложить ему зайти ко мне и там подождать возвращения тещи. На что мой кумир довольно охотно согласился. И чудесный посланец судьбы переступил порог моего дома.

Тогда еще проживала у меня одна из моих сестер, студентка химического института. Она чуть не сошла с ума, увидев перед собой столь знаменитого гостя. Иннокентий Михайлович посидел у нас совсем немного, вскоре вернулась его теща, и он перешел к ней. Прежде чем уйти, Смоктуновский открыл небольшую картонную коробочку, что держал в руке,— там оказалась золотистая копченая мойва. Это был гостинец теще, но в благорасположение к нам он выложил из коробки копченой рыбы, сколько могла захватить его рука с длинными хватистыми пальцами, поросшими рыжими волосами. И эту рыбу сестра моя не желала отдавать на съедение, хотела сохранить навеки как бесценный раритет, однако я воспротивился, и вкусная рыбка была все же съедена. Тогда сестра собрала все рыбки хвостики и куда-то спрятала — может быть, и до сих пор держит их где-нибудь в семейном сундуке...

Через месяц после этой встречи Смоктуновский снова появился в моей квартире. В прошлый раз при знакомстве я кое-что рассказал о себе: чем занимаюсь, как живу. Но он сам прекрасно увидел, как живу. В крошечной моей квартире имелось всего три стула, два пружинных матраца с деревянными самодельными ножками, один самодельный письменный стол. У стены стояла детская кроватка, над нею на стене бурые следы от давленных клопов. Прошедший в молодости свирепую школу артистической богемной нищеты, Смоктуновский в одну секунду все понял, и мне не надо было пытаться скрыть что-то...

Он зашел к нам и попросил у меня рукописи каких-нибудь рассказов, которые, на мой взгляд, могут быть напечатанными. Он хотел их отнести в какой-то журнал. Я совершенно откровенно рассказал ему, что все бесполезно, что десять лет уже бегаю по редакциям и никто не хочет печатать меня. Тем не менее он настоял, и я отдал ему рукописи двух небольших новелл.

Не знаю, что заставило артиста прийти мне на помощь. Я ее уже ни от кого не ожидал — и не потому, что разуверился в людях, а просто считал, что в нашем деле никто никому помогать не должен. Да и невозможно это было. Ради такого дела, которое нужно только мне одному, откуда и какой же мне ждать помощи?

Он отвез мои рукописи в Ленинград и там передал в редакцию журнала «Аврора». Не знаю, как он представлял меня, но всего через три месяца я уже держал в руках зеленый номер журнала с первыми напечатанными моими рассказами. Произошло это славное событие в январе 1973 года.

Очень скоро после этой публикации, в следующем месяце, появилась в «Литературной газете» обзорная статья за подписью ЛИТЕРАТОР (официозная редакционная рубрика), в которой среди нескольких журнальных удач начина-

ющегося года первыми были названы мои два рассказа. Достоинством рассказов ЛИТЕРАТОР отметил их язык — «высокую культуру письма».

Колоссальный вздох облегчения изошел из моей многострадальной груди. Ведь я больше всего опасался того, что в моем физическом существе нет ни одной русской клеточки, и вся длинная генетическая цепочка, пока что завершенная моей невнятной персоной, не содержала в себе ни одного звена русской языковой природы. Я боялся, что при всех моих стараниях фатальным барьером предстанет для меня иноязычное мое происхождение. Родители мои, хотя и были школьными учителями, лишь наполовину, а то и намного меньше использовали в своей жизненной практике русский язык. Эта неуверенность и тревога — быть «уличенным» во вторичности языка, в некоем неисправимом «акценте» инородца — мучили меня все эти нелегкие годы литературного становления... И вот первое, что услышал я от критики,— слова о моей «культуре письма»... Было отчего вздохнуть с великим облегчением.

После дебюта потек тоненький ручеек моих журнальных публикаций. Пожалуй, с 1973 года до сих пор в разных русских и нерусских журналах страны ежегодно печатаются мои рассказы, повести, романы, пьесы, киносценарии. С 1976 года стали выходить книги. И в реке времени этот журнально-книжный поток течет уже более двадцати лет.

Я сейчас имею возможность посмотреть на этот поток со стороны, как бы стоя на берегу реки и обозревая ее извилистые повороты, сужения, широкие разливы. Эта река литературного творчества и есть река моей подлинной жизни на Земле. Она еще течет, и я еще живу. Мне удастся увидеть ее исток, также ясно вижу реку своей жизни в ее среднем течении, там, где проявились ее самые характерные признаки. И уже предощущаю где-то в недалеком пространстве бытия тот сверкающий вечный океан, в котором бесследно исчезают потоки всякого жизненного творчества — все великие и малые земные реки. Я стою сейчас на берегу своей невидимой реки жизни и испытываю благоговейный душевный трепет перед высоким небом, что светится над грядущим океаном, собирателем всех творческих человеческих судеб. Надеюсь, что ничто не случайно в этом мире, изумительном шедевре высшего художественного творчества, и каждый поток обязательно дойдет до океана и сольется с ним.

Книги-1

Первая книга далась мне нелегко. Ее история полна драматических событий, приключений, интриг и даже тайных преступлений. Началось с того, что однажды мой бывший руководитель семинара в Литинституте, Владимир Германович Лидин, решительно заявил мне, что пора составлять книгу рассказов. И сердце мое тревожно замерло.

По окончании института мои отношения с мудрым, старым Лидиным продолжались. Он благоволил ко мне, время от времени приглашал в гости к себе, иногда и с семьей, с моими маленькими черноволосыми дочерьми и женой... Однажды, когда я дошел до края, мне почему-то пришло в голову написать Лидину письмо (хотя я мог в любое время позвонить ему, встретиться и поговорить), где я признавался, что готов уже на все махнуть рукой, забыть о литературном занятии и подыскать какое-нибудь дело понадежнее. В ответ он немедленно отослал меня в Литературный фонд, где мне выдали сто рублей безвозмездной помощи, а затем последовало предложение составить книгу и отнести в издательство.

Но издать книгу в те времена простому смертному было невозможно. Советские издательства были все крупными, как линкоры и авианосцы нашего славного Военно-морского флота. Сходство советских издательств с военной машиной усугублялось еще и тем, что они были напрямую подчинены и поднадзорны неким людям с воинскими званиями. Эти люди, если хотели, могли появ-

ляться в издательстве и в своей военной форме с погонами КГБ — речь идет о цензорах. Называлась цензура почему-то ГЛАВЛИТ, и мне до сих пор неизвестно, что это обозначало: главная литература? глава литературы?

Однако за этой расплывчатой неопределенностью названия скрывалась самая жесткая и весьма определенная структура. Ни одна книга, журнал или газета не могли выйти без разрешения на то цензуры. Никакие литературные авторитеты, писатели или редакторы самого высокого ранга не могли обойти чиновников таинственного ГЛАВЛИТа. За все ошибки и недосмотры редакции, подавшей в ГЛАВЛИТ непроходимый материал, редакторы сурово наказывались. Поэтому работа причудила их к особой бдительности, которая у многих доходила до такого высокого уровня, что после иного редактора никакого цензора уже не понадобилось бы. Профессиональное мастерство советского редактора определялось в первую очередь умением безошибочно распознать «непроходимую» рукопись и «зарезать» ее сразу. И дело было не в природной подлости или трусости редактора — нет, он мог быть и вполне приличным человеком, однако правила игры были таковы, что не проявить трусости или, наоборот, проявить смелость ему просто было невозможно.

Один наблюдательный и весьма остроумный редактор издательства «Советский писатель» заметил, что у Кима походка типично китайская — как у китайских строителей дамб и плотин, которые носят землю в корзинах на коромысле, грациозно движутся на полусогнутых ногах. А ведь было замечено очень даже точно! Я действительно передвигался по редакциям на полусогнутых ногах. Но это не потому, что я привык таскать землю в корзинах, а потому лишь, что был совершенно подавлен и страшно стеснялся всех в этом жутковатом доме под названием «Советский писатель».

Одним словом, бесплодной оказалась бы эта самая первая попытка, если бы я сунулся в издательство самовольно. Но меня направил туда Лидин, сопроводив рукопись запискою, адресованной заведующей отделом прозы. И рукопись зацепилась в «Совписе».

Впоследствии я узнал многих достославных работников этого издательства, с некоторыми даже подружился. Но сейчас расскажу не о них, а о другой фигуре редакционного коллектива, весьма важной для всякого автора, в особенности для малоизвестного. Как правило, эта фигура всегда оставалась в тени, редко кто знал о ней — речь идет о так называемом «внутреннем рецензенте». Это к нему в первую очередь попадала принесенная в издательство или журнал рукопись, и от него зависело, будет ли она дальше рассматриваться или же ее с вежливым отказом вернут автору. За весьма скромную плату рецензент знакомился с рукописью и затем состряпывал небольшую рецензию с определенным резюме в конце: рекомендуется для издания или отвергается.

Работа эта была внештатная, журналы и издательства держали рецензентов в основном для заслона от так называемого «самотека», рукописей без рекомендаций, которые были обречены на то, чтобы угаснуть, наткнувшись на холодное, твердое сердце внутреннего рецензента. Ибо это сердце должно было быть таким же, как у врача, скажем, у адвоката, а точнее всего — у заплочных дел мастера, который по службе обязан рубить головы.

И ездил по Москве один здоровенный красивый молодой мужик на машине «Нива», назову его — Казак, член Союза писателей, бывший сибирский охотвед, который специализировался на внутренних рецензиях и превратил это дело в основной жанр своего литературного творчества. То есть повестей и рассказов о сибирской тайге и об охотниках он больше не писал, а на жизнь зарабатывал тем, что объезжал на своей машине издательства Москвы и набирал огромное количество рукописей для рецензий. На постоянном рецензировании выколачивал он достаточно денег, чтобы содержать дорогую «Ниву» и двух любовниц, одну из которых навещал с понедельника по среду, а другую — с чет-

верга по воскресенью. Может быть, я уже подзабыл и неточно передаю расписание, о котором Казак мне сам поведал.

Можно себе представить, как этот малый рубил сплеча головы своим «самотечным» авторам, решительно и поспешно, потому что чикаться было некогда, ведь ему надо было зарабатывать много денег. И наш мастер достиг такого совершенства в своем деле, что со временем мог уже написать отзыв на такую объемистую рукопись, прочитав всего несколько страниц — в начале, в середине и в конце. В исключительных случаях он мог бы написать рецензию, даже не заглянув в рукопись. Казак был, наверное, самым продуктивным и виртуозным мастером своего цеха, во всем мире не нашлось бы второго такого маэстро внутренних рецензий.

...Раньше моим рукописям также пришлось пройти через руки подобных мастеров, и, как понимаю теперь, мне никогда не удалось бы напечататься в журналах и выпустить книгу, если бы судьба не послала мне крестного отца Смоктуновского и доброго профессора Лидина. Благодаря их вмешательству я смог проскочить роковой заслон внутренних рецензентов и обратиться на себя внимание более доброжелательных работников редакций.

Но я не скажу всей правды, если умолчу о том, что впоследствии, когда я вступил в Союз писателей, мне тоже стали давать подрабатывать на внутреннем рецензировании. И я тоже резал немало слабых или «непроходных» рукописей. Не может быть оправданием для меня и то, что в нескольких случаях я написал положительные рецензии на вещи из самотека, которые были действительно хороши, но, увы, малопроеходимы. Редакторы сдержанно пожимали плечами, знакомясь с моими положительными отзывами, и ничего из рекомендуемого мною ни разу не напечатали.

Книги-2

Уже рассказано Михаилом Булгаковым в его незаконченном «Театральном романе», какими странными мистическими обстоятельствами сопровождается порой выход книги. Хочется и мне рассказать историю двух своих книг. Речь пойдет о первом моем сборнике «Голубой остров» и о романе «Белка». Между выпусками этих книг лежат восемь лет, первая вышла у меня, как я уже говорил, в 1976 году.

Когда я принес свою рукопись в «Советский писатель», меня представили заведующему отделом прозы, грандиозной даме В. М. В., к которой у меня было письмо от Владимира Германовича Лидина. Дама В. М. В. была грузная, черноволосая и разноглазая — никогда нельзя было понять, смотрит она на тебя или нет. Длинная пиратская прядь падала на тот глаз, которым она исподтишка рассматривала собеседника, а второй, широко открытый, равнодушно был уставлен куда-то в дальний угол кабинета.

— Ну что это рукописи приносят с какими-то рекомендациями, — пропела она замечательно нежным, совершенно неподходящим к пиратскому облику голосом. — А нельзя ли было принести без рекомендательного письма? — спросила она, быстро прочитав записку Лидина.

Я ничего не понял. Во-первых, был очень взволнован, а во-вторых, никак не мог уловить ее взгляда, по которому можно было бы судить, шутит она или и впрямь недовольна, что я пришел с письмом Лидина... Однако голос ее был щечечущим и льющим, что ж, решил я, это она дает знать, что хоть и уважает известного мэтра, но будет рассматривать мою рукопись безо всяких скидок...

В большой редакционной комнате стояло несколько столов, заваленных бумагами, и возле одного из них я обратил внимание на беседовавших — чернявую даму и молодого человека с залысынами, с румяными губами. Это и был, оказывается, мой будущий первый в жизни редактор (которого назначит В. М. В. вести мою книгу) — досточтимый Николай Иванович Сарафанников. В по-

следующие годы мне пришлось выпустить с ним в том же издательстве еще две книги и запустить в производство роман «Белку». Затем Сарафанников исчез из моей жизни... Но об этом чуть позже.

С первых же шагов на пути издания книги я усеял, что надо шагать и действовать «по человеку». В издательстве, в редакциях нужно было точно определить и «отстрелять» тех работников, от которых зависела судьба рукописи. То есть необходимо было искать выход на них, затем вступать в контакт и в дальнейшем дело повести таким образом, чтобы необходимый работник редакции стал бы содействовать дальнейшему прохождению рукописи. Или не мешал бы этому, если писанина твоя ему не нравится, попросту не вмешивался бы в процесс. Необходим был момент интимного соприкосновения взаимных интересов просителя-автора и благодетеля-редактора. С редактором нужно было сблизиться во что бы то ни стало. С ним надо было подружиться и сделать ему что-нибудь приятное. Например, придумать какой-нибудь хороший подарок.

А что я мог подарить своему благодетелю при том, что уже многие годы балансировал на грани бедности и нищеты? Однажды мне приснился сон, что я обнаружил в себе необычное шестое чувство — и это было *чувство отсутствия денег*.

Я так и не научился как следует считать деньги, не умею их расходовать рационально и не способен быть бережливым. Проклятые деньги, как только появляются у меня в достаточном количестве, мучают мою душу и не приносят никакого успокоения. Мне хочется скорее истратить их на что-нибудь, и я строю всякие планы, иногда самые безрассудные. Так, я задумал, когда стал зарабатывать кое-что литературой, выстроить каменный дом в лесу, на берегу озера. По бездорожью я завез туда на нанятых тракторах и грузовиках многие тысячи кирпичей, тонны цемента...

Однако и в ту крутую пору, когда денег совсем не было, я вовсе не стремился их зарабатывать, об это не думал. Угощать в ресторанах редакторов я не мог, делать дорогие подарки, как было уже сказано, было мне не по карману. Единственное, что я мог позволить себе в качестве подарка, — белые грибы, которые сам собрал в лесу и сушил своим способом, научившись у одной деревенской старушки.

Когда постепенно выяснилось, что с меня взять нечего и что я отношусь всего лишь к не очень влиятельному кругу старого Лидина (который лет двадцать назад был, может быть, весьма влиятельным), начались проволочки. Мне никак не давали договора, и книгу не включали в план издательства. А я уже чувствовал, что дошел до предела и нет никакого дальнейшего резерва душевных сил. Мутным облаком застилала мне глаза тоска погибели.

С этим я и пошел на прием к В. М. В. Я плохо помню, что и как я говорил ей, неплохому, в сущности, редактору, но мне удалось убедить ее в том, чтобы она заключила со мной договор, выплатила аванс и поставила рукопись в план следующего года выпуска... Не помню, как все это решилось, помню только, что бедняжка В. М. В. страшно перепугалась, налила из графина воды и подала мне стакан, произнося тонким, дрожащим голосом: «Успокойся, Толя! Пожалуйста, успокойся! Ну зачем же так волноваться!» На что я ответил: «Если книга не выйдет, мы погубим, я и моя семья... Вы теперь знаете об этом».

И книга сдвинулась с мертвой точки и пошла дальше. Начались встречи и беседы с редактором. Николай Сарафанников был человеком с неординарной судьбой, но об этом я узнал позже. А в том далеком семьдесят четвертом году я впервые увидел этого человека в старом здании «Советского писателя» в Гнездиновском переулке еще совсем заурядным, благопристойным, манерным юношей, с ясными, невинными глазами, с мягкой, интеллигентной улыбкой на румяных устах... Этими глазами и улыбкой он обращался к близко стоящей перед ним накрашенной даме. Руки при этом Николай Иванович держал сложенными вместе на своей груди, как оперный тенор, и это выглядело также весьма пристойно и благообразно...

Первый редактор — как первая любовь, и она не забывается. Коля Сарафанников был по образованию специалистом по датскому языку. Каким образом он стал редактором в «Совписе», мне неизвестно. Он познакомил меня с другим своим автором, будущим известным писателем Маканиным, с которым у меня сохранились добрые отношения до сих пор. Коля Сарафанников стал бывать у меня дома, приглашал я его и на первую в своей жизни дачу, которую снимал в подмосковной деревне.

Очень скоро отношения наши стали настолько доверительными, что он признался мне: редактора его не привлекает, он чувствует себя не очень уверенным на этой работе. «Ну какой я редактор, Толя?» — это его слова. Тем не менее я считаю, что он-то и являлся хорошим редактором. Ни разу он не вмешался в мои тексты, не «улучшал» их, не навязывал свои вкусы. И впоследствии, когда я в том же издательстве запускал свою вторую книгу, Коля доверил мне написать положительную редакторскую рецензию на мою же собственную рукопись... Что было, разумеется, делом недопустимым. Однако он честно признался, что у него нет времени да и большого желания читать рукопись и сочинять редакторское заключение — пусть за него это сделаю я сам, он мне полностью доверяет.

Первая же книга, несмотря на благополучно преодоленные препятствия, проходила в дальнейшем препятствия новые, не менее опасные. Об одном, беспрецедентном, расскажу сейчас. Книга была уже на стадии «сверки», второго типографского набора, когда к главному редактору издательства пришел донос, что они в «Совписе» собираются выпустить чуждую по идеологии книгу, то бишь мою. И главный редактор тотчас назначил так называемое «контрольное чтение». То есть в отделе «главной редакции» (еще одна инстанция, стоявшая над всеми отделами издательства) был назначен редактор, чтобы он просмотрел всю книгу заново и сделал свое заключение.

Признаться, я снова заволновался. Кто мог донести на меня (до сих пор не знаю этого)? Позвонил и все рассказал Владимиру Германовичу Лидину. Он сначала и верить не хотел: не бывало такого никогда. Но затем попросил меня узнать, кому конкретно поручено осуществить «контрольное чтение». Когда я узнал и сообщил Лидину, он обрадовался: мол, хорошо знает человека, это тонкий критик и литературовед. И мой старый профессор обещал позвонить ему. Через некоторое время раздался и у меня звонок — звонил мой «контролер». Он поздравил меня с хорошей первой книгой и добавил, что читал ее внимательно, с карандашом в руке, и нигде ни разу его редакторский карандаш не поднялся для исправления. Однако по содержанию самой большой моей вещи, повести «Собиратели трав», у него были сомнения: пройдет ли цензуру? Осторожности ради он предложил мне изъять повесть из сборника.

Но я ответил ему, что не вижу книги без повести. Она была самым лучшим, к чему я пришел к тому времени в прозе. Я сказал, что, если он позволит мне, я готов рискнуть и оставить в книге «Собирателей трав» без всяких изменений. На что критик, вздохнув и выдержав осторожную паузу, ответил: «Ну что же... Смотрите сами. Я подпишу книгу...»

Я рискнул — и книга вышла целиком. О, я помню, какое у меня было волнение, когда я получал на книжном складе издательства пачки с экземплярами первого моего сборника. Как потом вез их в такси домой и на радостях подарил таксисту книгу с первой в моей жизни авторской надписью на титульном листе...

Каждая книга — это приключение. Хочется рассказать еще об одном большом приключении — о моем первом романе «Белка», который переведен теперь на разные языки в пятнадцати странах.

Однажды Николай Сарафанников вдруг сказал мне нечто необычное: «Напиши, что тебе захочется. А я это сумею издать». Как раз к тому времени у ме-

ня уже вышли три книги, и последняя была толстенной книгой переизданий, вышедшей тиражом в 150 000 экземпляров. У меня были средства, чтобы рискнуть: можно было год писать, ничего не зарабатывая. И ровно год я писал «Белку».

Когда я принес рукопись в издательство, мой редактор быстро и умело провёл ее через все стадии внутреннего рецензирования, написал свое заключение, вставил в план, сдал в набор. Одного только он не сделал — не прочел рукописи. Вернее, он честно, как и всегда, признался мне, что прочитал примерно страниц сто, дальше времени не было... Что ж, я не стал обижаться, но мне было беспокойно. Потому как знал, что написал почти невозможную для издания книгу. Я полагал, что редактор увидит все сомнительные в цензурном отношении места и посоветует мне, как с ними быть. Я-то писал эти места только с одной целью, с одним желанием — хотел испытать себя на полную творческую свободу. Я старался писать без оглядки на будущую цензуру и посмотреть, на что я окажусь способным... Но вот незадача — редактор все пропустил, даже не прочитав рукопись до конца...

Причина подобного его поведения вскоре выяснилась. Коля задумал эмигрировать из Союза, женился на француженке — и вскоре оказался в Париже. Но перед этим он почти все исполнил так, как обещал. Однако, когда верстка пришла, мне назначили нового редактора. Он прочел, пришел в ужас и тотчас доложил начальству. В результате набор рассыпался.

Но я не хотел сдаваться и переработал роман. В нем уже не было явных цензурных «непроходимостей», однако и в этом виде «Белка» выглядела достаточно чужеродной, скажем, для отечественной романной прозы — и по форме, и по содержанию.

В то время главным редактором «Советского писателя» стал Игорь Бузылев, светлая ему память. Он умер молодым, вскоре после выхода моего первого романа. Бузылев был одним из редких редакторов в нашей системе книжного издательства, который имел свои личные убеждения и придерживался их в жизни. Будучи уже смертельно больным, он принимал меня в своем кабинете, в новом здании «Советского писателя» на улице Воровского, и перекрестил новый вариант рукописи «Белки», прежде чем подписать ее для набора.

Но и на этом приключения «Белки» не закончились. Кто-то опять донес на меня, и на этот раз не в главную редакцию, а сразу в Госкомитет по делам печати. Оттуда пришел запрос на рукопись, ее отправили, а потом вернули в издательство в сопровождении двух документов. Одним из них была весьма злая отрицательная рецензия на роман с предложением не издавать его, пока он не будет вновь переписан и исправлен. Второй документ был письмом заместителя председателя Госкомитета директору издательства «Советский писатель» с советом прислушаться к мнению рецензента и допустить рукопись к изданию только после всех соответствующих исправлений.

Но дело это происходило в летнее время, когда работники издательства уходили в отпуск, и папка с рукописью и с грозными документами не попала на стол к директору. Эта папка была вторым экземпляром — первый уже находился в типографии. Возвращенную из Госкомпечати папку секретарша издательства положила, даже не раскрыв, на полку рукописей второго экземпляра, откуда я ее забрал и унес домой... Я ничего не знал об этом контрольном чтении и был потрясен, увидев дома опасные для меня документы. Подумав немного, я решил не спешить с возвращением документов в дирекцию издательства. И, мне кажется, правильно решил: книга вышла, имела большой успех в стране, была потом переведена на многие языки мира.

Союз писателей

Надо было вступать в Союз писателей СССР, потому что свободная профессия в стране была немислима вне профессиональных союзов. Не состоящие

в них художники, композиторы, писатели и поэты считались безработными, а точнее, «нигде не работающими», и могли быть причислены к «тунеядцам» и даже преследоваться по закону, если на то была воля властей предрержащих.

Итак, надо было собирать рекомендации от двух-трех членов СП, подавать заявление и ждать решения своей участи. И в 1979 году я был наконец принят туда, вся процедура длилась около двух лет. Отныне я мог: а) нигде на службе не состоять; б) пользоваться льготными путевками в дома творчества; в) встать на очередь для улучшения жилищных условий; г) встать на очередь для приобретения автомобиля; д) посещать Центральный дом литераторов в Москве.

Словом, привилегий было много, и я не преминул ими воспользоваться. «Союзписательское» существование вывело мою жизнь на новый уровень и придало ей совершенно другой характер. Я перестал быть одиноким волком, приобщился к привычкам литературного социума своего времени. Я начал обретать вкус и стремление к благополучному существованию. Незаметным образом происходило в моей душе некое значительное изменение, суть и смысл которого откроется мне намного позднее — именно в эти дни, когда я пишу повесть о себе.

Я уже рассказывал, что в молодости под влиянием Льва Толстого задумал прожить свою жизнь, не заедаая чужого века, что подлинным трудом человеческим надо считать труд физический, а всякую умственную деятельность, в том числе и писательство, обеспечивать за счет именно *подлинной* работы. Меня привлекала возможность большей внутренней свободы при подобном подходе к писательской деятельности. Но чтобы писать в высшей степени внутренней свободы, нужно было принять одно условие: никогда не пытаться напечататься.

Я не выдержал этого условия. Я захотел печататься и стал это делать — потерял ли я творческую свободу из-за этого? И наконец удалось ли мне в действительности написать такие книги, какие я хотел написать в одинокие годы своей молодости?

Бог весть. Иногда мне кажется, что я написал действительно хорошие, честные книги. А в другой раз холодею при мысли, что я слукавил, пойдя на компромисс с суровой действительностью. И самым правильным, может быть, было бы то, что когда-то порешил мой юношеский максимализм: писать только в стол, никогда не пытаться получить признания — и так до самой смерти. Когда же она приблизится, надежно захоронить рукописи или сжечь их на костре, развеяв пепел по ветру...

Примерно так и поступил, говорят, мой далекий предок Ким Си-Сып, великий поэт и прозаик средневековой Кореи. Он замуровал свои рукописи в стену дома, и лишь через сто лет нашли их. И это были абсолютно *свободные* произведения. Но у меня ничего не вышло. Творческая свобода, которой я дорожил больше всего, была заменена осторожной мудростью. И, о чем бы я ни писал, какую бы привлекательную форму ни находил для своих писаний, я в них не достиг, очевидно, всей глубины творческой свободы. Наверное, такое произошло бы в случае, если бы душа моя сгорела во время работы и мозг мой умер от непомерного напряжения.

Однако я захотел соединить стремление жить, просто жить достойным образом, с желанием писать и издавать книги. Пройдя через искушение многих лет, мрачно освещенных тусклым светом одиночества, мой художнический экстремизм благополучно переродился во вполне легальную и приемлемую борьбу по правилам. Отшельник покинул свою пустыню. Он вступил в Союз писателей.

Пожалуй, то было время полного расцвета этой государственной литературной корпорации, сиречь министерства, и главные фигуры СП, его функционирующие и почетные секретари, были всемогущими литературными грандами, славными, богатыми, очень влиятельными в обществе. Они были молодоступ-

ны для рядовых членов писательского союза и вели совершенно обособленную жизнь, впрочем, как и все номенклатурные работники государственной системы. Для них существовали отдельные места отдыха, у них были дачи в Переделкине под Москвой и в разных курортных местах по всем республикам СССР. Мы могли лицезреть этих грандов только в дни съездов и пленумов, когда небожители величаво восседали за красным столом президиума.

Я так и не изучил всех градаций и структурных соединений этой колоссальной бюрократической махины, мне только стало ясным одно — Союз писателей в точности повторяет все те общественно-государственные механизмы, которыми обеспечивается жизнедеятельность величайшей имперской машины. И никакого положительного влияния на то сокровенное, хрупкое, сугубо индивидуальное начало, каким является художественное творчество, Союз писателей не имеет. Наоборот — если и влиял Союз на творческий процесс, то самым пагубным и тлетворным образом.

Молодой литератор, удостоенный быть принятым в эту организацию, получив вожденную членскую книжечку красного цвета, сразу начинал с активного освоения тех социальных привилегий, которые давало членство. Он принимался азартно бегать по инстанциям канцелярий, добываясь новой квартиры, постановки в очередь на машину, поездки в интересную командировку, получения путевки в Дом творчества в крымском Коктебеле или в прибалтийских Дубултах.

Скажем, удавалось молодому литератору в курортный сезон попасть в Дом творчества на черноморском побережье. С волнением вступает он, таща в руке дорожный чемодан, под своды фешенебельного (или желающего выглядеть таковым) писательского пансионата. Вселяется в комнату. Идет на первый свой ужин в общую столовую. И видит блистательную ассамблею дам и господ в курортных нарядах. И все это, надо полагать, известные и даже очень известные писатели, поэты, критики, драматурги многонациональной советской литературы. Голова идет кругом у молодого и совсем еще малоизвестного писателя.

Начинаются знакомства, приятные беседы за бутылкой местного вина, совместные выходы на пляж, купание, прогулки в горы. Вдруг какой-нибудь очень знаменитый поэт обращает на тебя свое благосклонное внимание, удостаивает беседой или даже приглашением в свой номер люкс на вечеринку. А то вдруг какая-нибудь поэтесса, не столь знаменитая, но весьма пикантная и еще не старая, предлагает совершить экскурсию в ближайший винный кабачок. И идет кругом голова, и экскурсии все множатся, и творчество, ради которого молодой литератор пересек полстраны, как-то не приходит на ум.

Зато он попал в респектабельную литературную среду, в которой отныне будет благополучно обкатываться, обкатываться — и примет наконец ту правильную округлую форму, которая поможет ему легко катиться по жизни. Появятся новые привычки, пристрастится он к вечерним посещениям ЦДЛ, где постоянно стоит дым коромыслом от табачного смрада, гул хмельных голосов, замечательные дружеские застолья с объятиями, пьяными поцелуями вперемежку с громогласным чтением стихов и внезапно возникающими драками.

Через все это и я проходил, и моя жизнь в профессиональной среде не была и не могла быть иной. Как-то я читал у одного американского писателя, что существование нью-йоркской художественной богемы сравнимы с трагическим положением червей, заключенных в стеклянную банку, где им нечего есть и они должны питаться друг другом. Мне не хочется быть столь же беспощадным и жестким, однако, в сущности, мой американский коллега нарисовал похожую картину, какую мог наблюдать и я. Я никак не предполагал, что действительность за воротами рая, называемого Союзом писателей, окрашена в inferнальные тона и явно отдает алкогольно-серным духом подпаленных грешников. Нигде я не видел столь масштабной картины многолюдного пьянства, как в буфетах и ресторане славного ЦДЛ где-нибудь после девяти часов вечера.

Почему литераторы безобразно и откровенно напивались в своем клубе? Должно быть, от хорошей жизни. Слышал я, что раньше в ЦДЛ была совсем другая обстановка, царил респектабельный клубный порядок, и классики советской литературы не дебоширили в знаменитом дубовом зале ресторана. Но в мое время, когда и я стал захаживать туда, пьяный гул уже стоял до небес и картина вакханалии была постоянной. Почти непьющий человек, от природы робкий и незагульный, я поначалу чувствовал себя довольно неуютно. Но постепенно привык и время от времени стал посиживать за каким-нибудь бражным столом, а однажды и сам уснул в кругу незнакомых корреспондентов «Литературной газеты», привалившись к спинке стула и уронив голову на грудь. А когда проснулся, некий грузинский литератор произнес следующий тост:

— А сейчас я хочу выпить за хорошего человека, за нашего дорогого гостя... Только очень хороший человек может так сладко спать за столом среди незнакомых людей...

Разумеется, не только пьянством занимались в Союзе писателей. Время от времени проводились писательские съезды и пленумы правлений писательских организаций. Меня довольно скоро включили в число членов как Всесоюзного правления, так и Российского и в правление Московской организации. То есть я был выделен из рядового уровня и вознесен на более высокую ступеньку союзной иерархии. И меня уже стали вносить в списки делегатов писательских съездов. Таким образом, мне даже пришлось бывать и в Кремле, где проводились в то время съезды СП СССР.

Так продолжалось у меня до последнего, кажется, VIII съезда писателей. В том году вышла «Белка», и, когда роман был уже оттиражирован и поступил в магазины, вдруг мне сообщили в издательстве, что Государственный комитет по печати назначил у себя ведомственное обсуждение моей книги, на которое вызываются редакторы издательства и автор. В редакции поднялась паника — ведь это означало, что в Госкомитете остались крайне недовольны изданием и предстояло судилище.

Но тут мне опять повезло. В том году предстоял юбилей Союза писателей, пятидесятилетие со дня его основания, и под это дело большое количество писателей, около трехсот человек, было награждено правительственными орденами разных степеней. В газетах обнародовали списки награжденных, среди них был назван и я, удостоенный ордена «Знак Почета». Это был самый «младший» из орденов, но награждение исходило от правительства — высшая государственная инстанция отметила меня. И обсуждение моего романа Госкомиздатом само собой отменилось. Вновь «Белке» удалось проскочить через опасное препятствие.

Но и на этом ее приключения не закончились. Подступил тот самый исторический VIII Съезд писателей СССР — потому исторический, что последний. Но об этом еще никто не подозревал, и торжественное собрание в Кремле открылось с той же помпезностью, что и всегда, и так же работал знаменитый, колоссальных размеров кремлевский буфет, и был торжественный банкет... И я там был, и мед пил... Но вот что произошло в самом начале съезда, когда Первый секретарь СП СССР товарищ Марков зачитывал свой доклад...

Вначале Марков говорил обычные казенные торжественные слова, благодарил партию и правительство. Потом стал говорить о выдающихся успехах многонациональной советской литературы и зачитал длинный список особо отличившихся писателей. Их было немало, оказывается! Справившись с этим, докладчик перешел к отдельным неудачам, имеющим место быть в общем стройном, правильном литературном процессе. Одной из первых неудач было названо произведение уважаемого Виктора Астафьева — речь шла о повести «Печальный детектив». Затем Марков глубоко вздохнул, помолчал и вдруг произнес мое имя и назвал роман «Белка»... Но что-то мешало ему говорить дальше, и докладчик опять замолчал. Были ясно слышны глубокие вздохи Первого

секретаря. Но вот он вроде справился с собою и снова стал докладывать, опять назвал мое имя — и окончательно смолк. Тут к трибуне подбежали какие-то люди и бережно увели под руки внезапно заболевшего докладчика...

К трибуне выскочил В. Карпов, бывший разведчик, Герой Советского Союза, и, как говорится, подхватил знамя на лету — стал читать дальше доклад вместо выбывшего из строя командира. И уже без всяких затруднений Карпов решительно зачитал слова о том, что в «Белке» есть что-то чужое и наша действительность освещена в романе как-то не по-нашему...

Маркова увезли прямо со съезда в Кремлевскую больницу, а я еще во время чтения марковского доклада Карповым стал получать записки. Мои коллеги поздравляли меня с прекрасной рекламой, которую сделал мне на весь мир докладчик. А один шутник тут же пустил по кругу шутку: мол, Киму показали желтую карточку, а Маркова унесли с поля. Надо сказать, что почти в те же дни проходил чемпионат мира по футболу и у всех на устах были общеизвестные футбольные словечки и выражения.

Но не только чемпионат по футболу был предметом мирового внимания. Приближался тогда небывалый и неожиданный для всего мира и для нас самих процесс в стране, который назовут впоследствии «перестройкой». Затрещали скрепы и подпорки «русского коммунизма» — взошла к вершине власти странная и загадочная фигура Горбачева.

Деревня

Впервые о Михаиле Горбачеве я задумался глубокой осенью восемьдесят какого-то года, уже во второй половине десятилетия — и вот при каких обстоятельствах. Я к тому времени уже давно освоил жизнь в русской деревне — осенью 1976 года купил избушку в Мещерском краю, темную заколоченную развалюху, и с годами постепенно довел ее до ума.

Все свои книги, кроме первой — «Голубой остров», — я написал там, в маленькой деревушке Немятово. Как сейчас понимаю, это было самое благополучное и счастливое время моей творческой жизни. Я со своим корейским семейством впервые появился в тех лесных рязанских краях представителем чуждального племени, какого еще не видывали местные люди. Когда я однажды зашел в магазин, ко мне подошла маленькая сухонькая старушка, делегированная толпою других старушек, и спросила: «Парень, а парень, ты *яврей*, что ли?» Я отвечал, что я кореец, — о таких старушка, очевидно, ничего не слыхала, это было видно по ее глазам, светлым, выцветшим, с детским, безмятежным выражением...

Однако глубокой осенью во время своей очередной добровольной отсидки в деревне я зашел по какому-то делу к старухе Матрене. Это была довольно крупная, равномерно округлая и морщинистая, словно моржиха, деревенская бабка, обычно молчаливая и угрюмая, но иногда и шумная, оравшая зычным трубным голосом. В этот вечер, еще ранний по времени, но уже совершенно темный — ночь наступала где-то часов в пять — Матрена сидела одна за маленьким кухонным столиком у окошка, завешенного белой занавеской. Приземистая, сутулая — голова ушла в широкие плечи, бледное лицо обращено ко входящему в дом, темные блестящие глаза с неожиданным живым и ласковым выражением смотрят на него — старая женщина как будто ждала моего прихода. Но ничего подобного быть не могло, мы не договаривались о встрече. И вот я смотрю — на простенке между окнами прямо к темному бревнышку сруба прикреплен портрет, вырезанный из какой-то газеты. На портрете — Михаил Сергеевич. Это было время, когда Горбачев только-только стал генсеком.

Я был весьма удивлен: с чего это Матреша повесила в своей пустой, убогой избе портрет Горбачева? У нее погиб взрослый сын — пьяным утонул в реке. Муж давным-давно погиб на войне. Дочь, такая же угрюмая и полнотелая, как

мать, ушла от мужа с двумя детьми и жила в казенной квартире при совхозной почте (эта несчастная дочь впоследствии, уже много времени спустя после смерти матери, покончит с собой, повесится в пустом материнском доме). А старая Матрена сидела возле портрета Горбачева и с живой улыбкой в черных глазах смотрела на меня. И взгляд ее был весьма похож на знаменитый улыбчивый взгляд великого российского реформатора-разрушителя.

— Зачем ты прилепила его, Матрена Михайловна? — спросил я, показывая на портрет.

— А уж больно мне понравился, — тотчас ответила Матрена, будто ждала, когда придут и спросят именно об этом.

— Чем же понравился?

— Очень хороший человек.

— Почему хороший?

— Такой молодой, симпатичный...

Более веских доводов я от Матрены не дождался. Но все же ясно ощутил, что в душе этой бедной старухи поселилось мистическое любопытство к новому царю-батюшке. Да я и сам думал, что пришел к власти некто необычный и можно ожидать каких-то невиданных перемен. А может быть, все эти ощущения и предчувствия в связи с приходом Горбачева были не чем иным, как отчаянным всплеском надежды на то, что в нашей разлагающейся от всенародной лжи и государственного сволочизма стране может появиться нечто спасительное — надежда на чудо... Уже около десяти лет я просидел в этой деревне, правда, больше в летнее и осеннее время года — жил здесь для того, чтобы писать, работать вдали от всякой городской суеты, в стороне от чудовищной несуразницы общественной жизни. Как раз было время правления кремлевских старцев — злоедающая чехарда смертей престарелых генсеков.

Народу советскому тошно стало от частых смертей своих вождей, поэтому он так и обрадовался, когда появился на нашем траурном небосклоне молодой Горбачев. Мишка-меченый, как мгновенно прозвали его в народе.

И вот старая Матрена, у которой отняли все ее человеческое достоинство и само упование на счастье в жизни, взамен оставив ей непреходящее горе, бедность и скотскую униженность существования, — несчастная крестьянка востепенулась в призрачной надежде и обратила взор на вырезанный из газетного листа портрет нового царя-батюшки.

Историкам еще предстоит разобраться в феномене этой личности. Что его сподвигло, каким образом появился на исторической арене этот человек, с именем которого связано разрушение мировой коммунистической системы? Лично меня также интересовал этот человек — и прежде всего тем, что у него было нормальное человеческое лицо с живыми, блестящими глазами. Вот уж действительно — социализм с человеческим лицом! Впервые облик верховной власти имел такой вид — вспомнить только, насколько жуткими, словно маски для зловещих фарсов, были физиономии кремлевских тиранозавров.

Мне не пришлось принимать участия ни в перестроечных общественно-государственных кампаниях, ни в других, более поздних, так называемых процессах демократических преобразований. Многие из писателей, очень известных и популярных, с головой окунулись в нахлынувшие мутные волны новой демагогии, стали политиками регионального значения или даже постепенно закрутились в самой воронке государственной власти. Власть приближала к себе знаменитых, чтобы перед лицом всего народа они поддержали ее. И знаменитости наши охотно шли на призыв.

Сам же я все эти годы перестройки большей частью просидел в глухой мещерской деревне. Наступило в моей жизни время самой продуктивной работы. В деревне я написал все свои романы, новые повести и рассказы, пьесы и киносценарии. Меня печатали самые престижные толстые журналы, ежегодно выходили за границу мои книги в переводах. И весь этот личный мой успех и про-

цветание происходили на тоскливом фоне умирания старой русской деревни, где я писал эти книги.

Как-то так случилось в моей жизни, что я хорошо узнал и полюбил то, что уже умирало и как бы смиренно укладывалось, собрав остатки сил, в тишину последнего покоя. Русская деревня явила мне истинное сердце народа, и я навеки восхитился им и ужаснулся безмерно. Все умные книги, все русские философы и писатели, сам Лев Толстой или Достоевский — ничто и никто не открыли мне столько, сколько открыла жизнь в маленькой деревушке в лесной рязанской глуши. И именно в деревне произошло мое подлинное рождение в русском языке — там начало моего существования как русского писателя.

Универсальный закон Вселенной — чтобы родилось существо, необходима любовь, а чтобы полюбить, необходимо узнать предмет любви. Я хорошо рассмотрел и узнал душу русской деревни, полюбил ее самым отчаянным образом, и от этой любви родилось полноценное дитя моего художественного слова. Но великая печаль была изначально в этой любви.

Когда я впервые появился в Немятове, там было еще шесть смешных и милых девчонок от десяти до пятнадцати лет — последних деревенских детишек. В самую первую мою осеннюю отсидку девчонки повадились заходить ко мне, отнюдь не дожидаясь моего приглашения, приходили всем скопом, устраивались кто где может и с любопытством таращились на меня. Немного освоившись в этой ситуации, я попросил их приходиться ко мне в гости после четырех, когда я заканчиваю работу. Предложение мое было принято, и ровно в четыре на старом крыльце моей избушки раздавался жизнерадостный топот множества ног. Девчонки приносили молоко, соленые грибы, я угощал их бутербродами, кофейком. Они затапливали старую русскую печь, пекли картошку, пытались печь блины. Однако блины почему-то не получались у них, разваливались... Натешившись хозяйствованием, разогревшись едой, девчонки скидывали валенки и лезли на печь, отпихивая друг дружку и давясь от смеха. На печи была совсем маленькая лежанка, где можно было с трудом устроиться одному-двум. Даже сидеть там было невозможно — голова упиралась в темные доски потолка, ее нужно было низко клонить, чтобы не стукнуться о балку. Мои гости напихивались туда всей компанией и как бы дышали и хихикали единым телом, надувались беспричинным весельем. И вдруг это тело распадалось, летело с печи по одному кусочку, махая тонкими руками-ногами. Обычно самыми первыми слетали на пол тощие легковесы Лидка Комарова или Ольга, а последними оставались на лежанке или Ленка, самая упитанная и нахальная, или Марина, самая старшая, или Лида Кузнецова, самая рослая...

Через несколько лет немятовские девочки одна за другой исчезли из деревни. Кто уехал в Москву или в Рязань учиться, кто — замуж в соседнюю деревню. А Лида Кузнецова погибла где-то вдали от дома, говорят, бросилась под поезд. Но, еще учась в школе, в старшем классе, она совершила попытку самоубийства — прыгнула в колодец. Там оказалось мало воды... Что за страшный рок висел над этой несчастной девочкой, что за проклятие? Рыжеватая, зеленоглазая, статная и женственная не по возрасту, Лида была так привлекательна...

И вскоре деревня осталась совсем без детей. Летом внуки из городов еще жили у своих бабушек, а на зиму родители увозили их домой. В деревне уже никого не было, кто оказался бы способен произвести детишек. Зимовать оставались одни старики и старухи, да несколько семейных пар более молодого, пенсионного или предпенсионного возраста, да ненормальный бобыль Леонид со своей ненормальной сестрой Зиной, оба инвалиды на государственном обеспечении.

У меня сложились неплохие отношения с некоторыми деревенскими старухами. Очевидно, взаимное бескорыстие в смысле пола и чистое любопытство в смысле души придали нашим отношениям некую неизъяснимую прелесть. Я оставался в деревне до глубокой осени, иногда и до зимы. В окаянную пору, когда ночная темень наваливалась уже в пятом часу дня, одиноким старухам в сво-

их избах я представлялся, наверное, кем-то вроде посредника между смертной мглой, постепенно поглощающей их, и слепящим миллионами электрических вспышек светом цивилизованной жизни, куда уже никогда, конечно, им не выбраться, — всем этим Настям, Марфам, Матренам, Пелагеям и Маринам, Липам, Надежкам и Нюрам, Зинкам, Дуськам и Верочкам...

Все они остались без мужей еще с войны, тогда им было около тридцати лет, с тех пор прошло еще лет сорок... И за все это время еще ни разу не было такого, чтобы в деревне оставался на зиму одинокий мужик да еще и столь экзотической наружности.

Словом, было о чем подумать старухам, когда они в раннюю темень ноября заваливались в свои одинокие, словно могилы, привычные вдовьи постели. И я тоже думал о них, когда после работы и раннего ужина — он же сразу и поздний обед — залезал на теплую печку. Ибо не может быть такого, чтобы одинокие женщины и одинокие мужчины в забытой Богом деревне не думали друг о друге в осеннюю темную ночь. Когда никак не спится, потому что еще очень рано для сна, и за окном где-то в темной утробе ночи воет собака и дождь шуршит по стеклу. Не знаю, каковы были думы старух, но мои были такого рода, что почти каждую из них я мог бы полюбить за чудесную привлекательность, чистоту и прелесть их женских натур. С каждой из них я смог бы, наверное, разделить продуктивное время своей жизни, если бы, к сожалению, оно не началось лет на тридцать после их продуктивного времени.

Днем деревенские соседки иногда навещали меня — то Настя принесет молока или кусок гусятины в рукаве, то Марина притащит банку тернового варенья, то глухая Полечка придет и поставит на крыльцо миску с белыми куриными яйцами... И я их навещал, когда мне не работалось.

Обходя старушечьи избы, я вдруг стал понимать, что удивительным образом вид жилища и в особенности его внутреннее убранство соответствовали характеру каждой из деревенских дам и хорошо выражали затаенные упования и заветные идеалы. У одной вдруг обнаруживал я на ее старинной деревянной кровати превосходные лоскутные одеяла самых радостных расцветок, сшитые ею самой, у другой на чисто вымытом некрашеном полу красовались полосатые самотканые дорожки — такого вида и качества, что душа радовалась. У третьей все стены были обклеены картинами русских и нерусских художников, всех времен и всех направлений, вырезанными из журнала «Крестьянка». У этой же любительницы изобразительного искусства на самом видном месте, в простенке между окнами, был прибит большой китайский плакат с нежно-румяной красавицей-феей, которая взмахивала веером и пристально, загадочным китайским взглядом смотрела тебе в самые глаза. Но, несмотря на разницу вкусов, порой даже очень существенную, интерьеры жилищ моих деревенских подруг единила одна общая, у всех одинаковая и бесконечно грустная бедность.

А вскоре деревенские мои подружки стали одна за другою умирать. Не мор или эпидемия нашли — нет, наступал для каждой ее час. Первой при мне ушла Настя, та, что приносила кусок гусятины в рукаве, — я его запек с яблоками в русской печке, о, какой чудный аромат стоял у меня в избе в тот раз! С Настей мне удалось попрощаться и даже проводить до кладбища — она умерла в те дни, когда я еще был в деревне. За нею ушла Надежка Жукова, соседка, потом Матрена, потом Марина Самарина, самая близкая из моих подруг. На несколько лет дольше прожила Поля-пищуха, самая горькая из горемык.

Так умирали не просто старые деревенские старухи — так умирала деревенская Россия, главная Россия, родительница и хранительница великих нравственных ценностей нации.

Небесная степь

В записках этих деревне отводится так много места потому, что десять лет самого продуктивного трудового возраста я проработал там, в маленькой из-

бушке, сидя за колченогим некрашеным столом, оставленным в доме старой хозяйкой. Это было мое писательское убежище, скромное, бедное и, как теперь понимаю, самое прекрасное и счастливое для меня. Там были завершены мои повести «Луковое поле», «Лотос», там же были написаны рассказы, вошедшие в сборник «Вкус терна на рассвете». В маленькой избе, которую я купил у старухи Верочки, были начаты и закончены мои первые романы: «Белка» и «Отец-лес».

Можно сказать, Верочкина изба оказалась моей художнической кельей, а деревня Немятово — писательской академией.

Душа моя с детства тяготела к жизни в деревне, и это прежде всего связано с тем, что мое ощущение жизни вблизи растений, животных и на свободной, не закатанной асфальтом земле было радостным... А жизнь в городе непременно загоняла меня в тоску, пробуждала в душе некое темное предчувствие грядущей катастрофы. И потому естественным и непринужденным был для меня творческий настрой в деревне, а в городе творчество подступало через преодоление чего-то тяжкого и гнетущего.

Самым трудным испытанием в деревенском отшельничестве осенью — зимою было испытание одиночеством. К осени деревня как бы совсем пустела и по вечерам погружалась в огромную единую тьму, над которой только в ясную ночь сверкали крупнозернистые огненные звезды или в одиночестве светила бессонная луна.

Я выходил после рабочего дня на улицу, чтобы принести дров из сарая или воды из колодца. Оглядывая темную деревню, в которой иногда мелькало несколько случайных огоньков, я испытывал безмерную тяжесть одиночества. Вверху надо мною мерцали неисчислимыми огоньками черная бездна и бесконечность — необъятная небесная степь. Она была моей душой, и во всей звездной совокупности Вселенной вопияла гласом моего одиночества. И мне хотелось побежать к любому из светившихся огоньков этой ночи — постучаться в дверь любой избы, где находится кто угодно, лишь бы такое же, как и я, человеческое существо.

Одиночество скрашивали мои вечерние посещения дома учителя Николая Васильевича Фебина, куда я ходил, стараясь делать это не каждый день, чтобы не надоедать людям. Жена хозяина, Тамара Михайловна, тоже была учительницей, но уже на пенсии, у них жил-поживал внучок Пашка, которого подбросила им старшая разведенная дочь. Учителя жили вполне по-деревенски, крестьянским двором, держали скотину, птицу, откармливали поросенка, хозяин увлекался еще разведением кроликов и нутрий, которых в деревне называли «внутриями». Сад и огород у Фебина были всегда в образцовом порядке, яблони плодоносили, садовая малина, крыжовник, смородина были «усыпанными», то есть усыпанными ягодами, картошки по осени накапывал он полный погреб. Учителя и их три дочери, которые все уехали и жили в Москве, были большие любители леса, грибники и ягодники, так что у Фебиных всегда были на зиму большие припасы вкусных солений и варений.

Я ходил к Фебиным в основном по вечерам, чтобы посмотреть программу «Время», которую смотрел и хозяин, и старался особенно долго не засиживаться, потому что они по-деревенски ложились спать рано. Тамара Михайловна уходила за перегородку и затихала там еще до окончания «Времени». Мы с Николаем Васильевичем посиживали перед горячей печкой, разговаривали кое о чем, потом я прощался и уходил. До моего дома надо было идти метров триста, не более, но в ночной темноте путь этот казался бесконечным и, главное, не очень желанным — возвращаться надо было в пустое и невеселое одиночество. Работа писателя оказалась для меня неожиданно трудной в связи с преодолением именно этого противоречия: необходимости уединения для благотворной сосредоточенности и моей душевной нерасположенности к одиночеству.

Но шли годы, и постепенно я стал привыкать к своему положению. Золо-

тая цепочка моего творческого счастья благополучно продолжала коваться: деревня — лес — работа — новая книга. Дети мои росли, полюбили деревню, каждое лето были там со мною, и деревенская детвора приняла их как своих. У меня также сложились добрые отношения с деревенскими жителями. Я стал известным человеком в округе, мое деревенское прозвище было вначале *Кореец*, затем — *Писатель*. Появились надежные друзья. Но не всегда было так.

На втором году летом я впервые привез свою семейку в деревню... По приезде обнаружилось, что в доме нет такой необходимой вещи, как уборная. Надо было в срочном порядке соорудить нужник, и я по совету соседней созвал так называемую «помочь». То есть пригласил деревенских мужиков, чтобы они побыстрому сообща сделали мне то, что было необходимо, а за это я должен был к окончанию работы выставить щедрое угощение. И вот пришли с топорами и пилами человек пять-шесть и за пару часов подняли на краю огорода классическое деревянное сооружение. Яму под него я предварительно вырыл сам.

Все произошло, на мой взгляд, славно и благополучно, водки я выставил в достаточном количестве, от пуза, мужики расходились по домам пошатываясь, с песнями. Но одному из них, Бурмистрову Ивану, угощение показалось недостаточным, и, уходя, он предупредил меня, что это не окончательный расчет и что я должен пригласить его еще. Мне такое заявление не понравилось, и я не стал его приглашать. Чем и нажил в нем врага.

Мужик он был дурной, с густыми чернущими бровями, с тяжелым, разбойничьим взглядом, жилистый, сутулый, как старый лось. По фронтовой инвалидности рот у него был страшным образом скошен на сторону, за что и прозвище деревенское было у него — Косоротый. Напиваясь, он устраивал в доме жуткие скандалы с мордобоем и хриплый ор на всю деревню. Люди деревенские боялись его и, когда он пьяным попадался навстречу, обходили стороной.

И вот сей молодец стал всякий раз, возвращаясь из магазина домой, останавливаться возле моей избушки и выкрикивать какие-то невнятные претензии и угрозы. Все бы ничего, если бы он не ругался страшно матом. Несмотря на дефект речи из-за инвалидности, матюгался пьяный Иван Степанович вполне внятно. А девочки мои были еще маленькими, и вместе с ними возле нашего дома всегда возилось много соседских детей. Я однажды разъярился и восстал, как говорится, на него — короче говоря, мы с ним чуть не подрались... Пришлось по телефону, который имелся в доме Федина, пожаловаться властям, и Бурмистрова вызвали в районную милицию. А у меня власти попросили письменного заявления, чтобы можно было хулигана отдать под суд.

Вся деревня молча следила за нашим конфликтом, не становясь открыто ни на чью сторону. Бурмистрова люди боялись, к тому же он был своим, а я пока что был непонятной фигурой — нерусский, черный, вся семья такая же, к тому же с начальством имеет добрые отношения, из района к нему приезжают разные уважаемые люди. Начальство я или нет, барин я или не барин?

Статус свободного художника, независимого от начальства и существующего сам по себе, был неизвестен этим людям. Мое положение в социальной иерархии оставалось для них невыясненным. Бояться меня или не надо бояться?

Никакого заявления в письменном виде я не стал подавать, и Бурмистрова, кажется, просто оштрафовали на некоторую сумму. С тех пор мы жили в деревне, как бы не замечая друг друга, и он больше не останавливался возле моего дома и не орал. Прошло года два — и вдруг Иван Степанович заболел и стал умирать. У него обнаружился рак. Умирал он зимою, долго и мучительно, весь высох, говорят, и стал легким, как ребенок, жена на руках переносила его по дому. Перед смертью он стал посылать жену то за одним, то за другим — к тем, кого обидел, — приглашал к себе домой и просил у них прощения. Вспомнил и обо мне, но так как я находился далеко, то велел принести какую-нибудь мою книгу. Полистал, говорит, ее...

Не знаю, о чем он думал при этом, но знаю, что он простил мне и, может быть, в чем-то попросил и у меня прощения. Когда следующей весной я вновь приехал в деревню, люди рассказали мне про смерть Бурмистрова. И по тем чувствам умиленности и распахнутой доброты, которые они невольно проявили в разговоре, мне стало ясно, что я принят деревней, что я для них уже свой. И это было чрезвычайно дорого мне.

Слово

Пора настала определиться, чей же я писатель — русский или корейский. То есть мне хочется по-настоящему разобраться в самом себе, не имея в виду тех нелестных для моего самолюбия, порою весьма обидных высказываний некоторых литераторов, как русских, так и корейских, которые отказывались признавать меня за своего.

Да, и такое бывало! Один русский писатель, который смело может быть причислен к направлению «деревенщиков», так определил меня. Я отношусь к так называемым «русскоязычным» писателям и в этом виде навсегда останусь среди второстепенных, неродных.

Да что там деревенщик... Когда в 1989 году осенью я впервые попал на родину своих предков, в газете была опубликована моя беседа с одним маститым южнокорейским литературоведом, и он в лицо мне заявил, что Анатолий Ким никакого отношения не имеет к корейской культуре. Я и сам знал, разумеется, что пишу на русском языке, не на корейском, поэтому мои произведения относятся именно к русской литературе, и это великая честь — принадлежать к одной из самых значительных литератур мира. Однако царапнуло меня нечто тайное — по самому сердцу, и я что-то ответил своему собеседнику... Теперь уже совершенно неважно, как я там отвечал, однако стало ясным одно: меня и в России некоторые господа не признают за своего, и на исторической родине дают понять, что я чужой, посторонний... Так куда же мне деваться?

Смею уверенно предположить, что не только некоторые русские деревенщики и корейские литературоведы, но и все прочие «русскоязычные» литераторы могли бы назвать меня посторонним и на то имели бы убедительные аргументы. И вот я сам спешу привести их, чтобы освободить интеллигентные сердца от некоторых возможных уколов совести.

Я писатель не традиционный — и в смысле русской литературной традиции, и в отношении ориентального эстетического подхода. В своих произведениях я не старался выразить духовную сущность или русского человека, или корейского человека, или какого-нибудь другого «национала», хотя персонажами моих книг бывали и русские люди, и корейские, и немецкие, и американские, и японские, и так далее. Признаюсь, что, рассказывая о человеке, я никогда не ставил главной целью изобразить его национальную или социальную ментальность. Так что же такое в человеке я отмечал, чтобы выразить *это* словами?

В начале было Слово... Я выражал то в человеке, что было в нем посеяно и возвращено через изначальное Слово. Имеется в виду слово не как фонетическая конструкция, принадлежность того или иного языка, а Слово в первоначальном, библейском, смысле.

В этом смысле Слово — не звуковой набор, понятный и привычный для русского или корейского уха, скорее что-то совершенно беззвучное. Слово такого порядка есть понятийный символ, который может быть выражен человеком даже через жест или пластическое изображение — иероглиф, а то и внушен взглядом. Глухонемой человек, не слыша звуков, прекрасно различает и воспринимает слова через систему знаков, по этой же системе он и «говорит». Одни и те же предметы, явления мира, понятия звучат на разных языках по-разному. Но *изначальные* слова, обозначающие это же самое, для всех одни и те же — и они никак не окрашены, не озвучены.

Язык незвучащих изначальных слов известен и принадлежит всему человеческому роду и не является прерогативой какого-либо отдельного национального образования. Независимое от фонетической оболочки, изначальное слово доступно для каждого. Им владеет всякий: и гордый внук славян, и финн, и ныне дикий тунгус, и друг степей калмык. Здесь языкового барьера не существует для тех, кто смог овладеть этим незвучащим изначальным Словом. Я говорю о языке человеческой души, который для всех одинаков. На этом языке каждая из живших на Земле душ выражала те чувства своего сердца, которые могут быть названы добрыми.

Изначальное незвучащее Слово, Неслышимый Язык, является первичной духовной основой всех на свете прекрасных книг, всех стихов. А прекрасное не может быть злым, оно выражается только на языке добра. И художественное сочинение — метафизически — появляется вначале на этом языке, а потом как бы формируется на тот или иной национальный язык. Этот процесс происходит в душевной тишине, в глубине и тайне каждой творческой личности.

У каждой такой личности — как и у любого человека на свете — есть в его душевных качествах то, что содержит все главные выразительные признаки национального характера. Разумеется, каждый китаец несет в себе довольно много китайского, каждый еврей — еврейского, во всяком русском достаточно во век неистребимых русских черт. Кроме характерных национальных признаков, у каждого человека имеются еще и социальные черты и метины, присущие общему психосознанию данного исторического и политического момента. Помимо всего перечисленного, личность может принадлежать и к какой-нибудь политической партии, например, к коммунистам, или к религиозной общине, скажем, к Свидетелям Иеговы — тогда непременно прибавятся к этнопсихологическим свойствам натуры еще и признаки партийного ригоризма, и налет сектантского эзотеризма.

Но у любого русского, еврея, корейца или у коммуниста, свидетеля Иеговы — у каждого из нас, кем бы мы ни были, есть в физическом теле и в невидимой душе что-то такое, чего нет ни у кого другого на всем белом свете. Нигде, ни в ком, никогда не повторяющееся *ничто*. Существующее во веки веков только раз, один-единственный раз — в каждом из нас содержащееся, вместе с каждым из нас и уходящее из этого мира.

Всего один раз... В единственном экземпляре...

Вот это единственное и неповторимое, содержащееся в каждом из живущих на Земле, является причиной и предметом печали — главной печали бытия для всякого человеческого существования. Наверное, когда Бог замышлял сотворение человека, сей печальный компонент уже присутствовал с самого начала — называется это абсолютной уникальностью человеческой личности, которая никогда не повторяется.

Что это? Благо или проклятие? Может быть, когда в Библии говорится о том, что Господь создал человека по образу Своему и подобию, имелась в виду эта мучительно осознаваемая уникальность, это абсолютное одиночество, которое властвует над судьбою человека с того дня, когда он вкусил от плодов древа познания добра и зла?

Эта экзистенциальная отчаянная печаль и является тем источником, тем незвучащим Словом для всей человеческой цивилизации, который понятен каждому. И я овладел этим Словом прежде, чем впитал в себя русское художественное слово.

Русский ли язык или любой другой — для меня он прежде всего был необходим как способ перевода на него с языка *изначального*.

Тон моих произведений окрашен печалью вселенского одиночества. И это не потому, что я отщепенец мира сего, а потому, что каждый из людей есть вселенский отщепенец. И я пишу об этом — это и есть, видимо, моя судьба.

Если у меня спрашивают, о чем мои книги, я честно отвечаю, что в них

главным содержанием является все то, что происходит во мне и только во мне — и больше никогда ни в ком и нигде не повторится. И я ловлю вопрошающие взгляды моих собеседников: а кому будет интересно все то, что происходит с тобой и только с тобой? Ну кто ты такой и что в тебе такого уж интересного и поучительного?

Ничего во мне особенно такого уж интересного и поучительного нет. Ни о чем таком я не написал в своих книгах, чего бы мой читатель сам не знал и не видел. Просто в самом начале своего литературного пути я сделал следующее открытие: ЧЕЛОВЕК ИНТЕРЕСЕН. Он несет в себе тайну своего сотворения. В нем содержится и тайна его уникальных переживаний. Далеко не все в них подчинено ментальному стереотипу — есть море жизненных ощущений и переживаний, которые становятся известными только данному человеческому субъекту, *который приходит и уходит всего один раз*. Я открыл, что следить за уникальными, единственными в своем роде переживаниями, впечатлениями, мимолетными реакциями и фиксациями душевных уколов человека захватывающе интересно.

Как и всякий художник, я стал сочинять, придерживаясь правдоподобия, использовал поэтическое воображение, но только сочинительство мое активнее всего действовало в пределах воображаемых переживаний моих персонажей. Я сочинял для них ярчайшие впечатления, невольно делая своих героев приверженцами эстетической школы импрессионизма.

Я старался угадывать и в литературной форме запечатлевать все то, что приходит вместе с отдельным человеком, вместе с ним и уходит — и никогда больше не повторится. Я хотел разгадать закон неповторимости.

Моей целью стало выражение уникального, а не отражение типического. Все мои герои похожи только на самих себя и никоим образом не приближаются к «собирательным образам» или «типическим персонажам в типической обстановке». И я могу наконец обрести окончательное самоопределение. Я писатель человеческой уникальности. В эстетике меня влечет не яркий символ вечного, а трепетный нюанс мимолетного.

Ибо я нашел, что национальность у человечества одна, и она называется — человек. И я стал *его* национальным писателем. Моим письменным и звучащим языком стал русский, на нем осуществлены все оригиналы моих книг. Моим дописанным незвучающим языком стал всеобщий язык человеческого сердца, известный и понятный каждому, кто когда-нибудь появлялся жить на этом свете. И этот *каждый*, брат мой и товарищ по мгновению существования, читает мои книги на нашем общем родном языке.

Путешествия

Эта правдивая повесть о моей писательской судьбе будет неполной, если я не расскажу о своих путешествиях по стране и по миру.

По натуре я не путешественник, а домосед, для которого спокойное и подробное созерцание малой родины милее экзотических впечатлений далеких путешествий. Однако я был рожден, очевидно, скитаться по земле и должен был повидать многие края нашей большой страны, а также разные континенты и страны.

Я всюду побывал в бывшем СССР: от Камчатки до Белоруссии, от Мурманска до Киргизии, в Сибири и Средней Азии, в Крыму и на Кавказе.

В зарубежных поездках повидал я Америку и Японию, был во многих странах Европы, съездил в далекое Марокко на севере Африки.

Я особенно ценил в этих поездках совершенно свободное от программы и протокола время, когда мне выпадала счастливая возможность одному бродить по незнакомым местам, улицам и площадям городов, где никогда раньше не ступала моя нога — да и не только моя, но и всех моих предков. Особенное чувст-

во, густое и хмельное, охватывало мою душу, когда я не спеша прогуливался *по родине, где еще ни разу не приходилось мне бывать*. Ибо откровение, великое, волнительное, было в том, что вся планета есть моя родина, что всюду я иду по родной земле, где бы я ни оказывался: в Европе ли, в Африке или в Японии...

Впервые это чувство, что я у себя дома, находясь Бог весть в какой дали от отмеченной в паспорте родины, — чувство всемирности, планетарного космополитизма, обдающее сердце жаром безнадежной любви ко всему человеческому миру, ко всем джунглям, сахарам и европам, охватило меня в Финляндии, на том безвестном мосту в Хельсинки, через который я перешел и углубился в незнакомый город. Я переходил через мост с тяжестью величайшей печали, навалившейся мне на сердце, ибо я-то этот мир узнал, почувствовал и полюбил, но он-то меня и знать не хотел. Встречная финская девушка, белокурая, голубоглазая, в пестрой вязаной шапочке-колпаке, даже и глазом не повела в мою сторону, проходя мимо, и это было не наигранным чувством полного безразличия с ее стороны.

Был серый вечер, смеркающийся, весенний, с черными корявыми силуэтами дубов бульвара, вставшего на моем пути. Шли навстречу еще какие-то финны, они также миновали меня, как и блондинка на мосту, и воистину им никакого дела не было до того, что я в их туманной стране узрел еще один лик нашей общей родины, а в них вдруг ощутил свою тягучую тоску по какому-то искрящемуся и многоцветному, как радуга, счастью, которого нет и не может быть среди угрюмых финских лесов и болот...

А в каком-то городе, ближе к Полярному кругу, меня встретил один писатель из местного Союза финских писателей, парень этак лет тридцати пяти на вид, жилистый, веснушчатый, с невыразительным мужицким лицом. Был ли он молчалив или разговорчив, я не знаю, потому что мы с ним совсем не разговаривали — ни он по-русски, ни я по-фински не понимали. Но вместе ходили и ездили по разным местам, обедали, пили пиво, и мне было легко и приятно с ним... Так вот, слияние моей души с его медлительной северной душой было настолько убедительным, что я совершенно не запомнил *себя* в той нашей встрече. Я эту встречу увидел его глазами и запомнил его памятью.

О, как скучно ему было утром с похмелью подниматься и переться в отель, чтобы везти меня, российского гостя, на машине в далекий лесной дом знаменитого финского художника-отшельника. Но когда мы приехали к этому дому, вернее, подъехали к незаметному съезду с асфальтированной дороги на узкий лесной проселок, там оставили машину и долго шли лесом, затем через дикое поле и наконец подошли к великолепному новому бревенчатому дворцу, который был, оказывается, возведен на месте старой хижины, где жил и творил когда-то художник — в моем веснушчатом бесцветном спутнике произошли разительные перемены.

Я почти перестал узнавать его! Вернее, я уже не видел его — я ощущал и видел *себя* в этом человеке. Наши чувства слились, а сердца застучали в едином ритме от волнения, восторга, зависти и внезапно навалившейся пронзительной тоски. Ибо мой вожатый, финский писатель из провинциального городка, и я, приехавший из России писатель, вдруг в одно и то же время сильно разволновались по одной и той же причине. Быстро переглянувшись, мы понимающе и сочувственно улыбнулись друг другу.

Мне стало ясно там, что величайшее счастье человека-художника заключается в том, чтобы жить и работать в лесу, в таком великолепном большом и красивом дворце со всеми удобствами, с отлакированным белым полом... И чтобы можно было такой дом построить на те деньги, которые удастся заработать своими руками, — кистью ли, карандашом или пером... Но я понимаю, *как для меня это труднодостижимо, если я всего лишь провинциальный писатель местного значения и живу на стипендию, которую назначил мне Союз финских писателей нашего территориального округа*. Скорее всего мне никогда не по-

строить подобного дома и не жить в лесу в этаким комфортабельном отшельничестве. И я переглядываюсь с этим симпатичным гостем из России, с Анатолием Кимом, и вижу в его глазах, что и он не прочь бы занять такой дом в лесу.

Любил я ходить один по чужой стране, свободно шагать куда глаза глядят, раздвигая таинственные завесы незнакомого мира. И что же? В причудливой череде самых неожиданных картин, ландшафтов и жанровых сцен не было ничего, ничего такого, что не отзывалось бы родством и знакомством в ответном чувстве моего сердца.

Я однажды целый месяц разъезжал по Западной Германии, следуя из одного университета в другой с лекциями на тему: «*Особенности моего литературного творчества*». Сколько же раз я встречался тогда с самим собой, причудливым образом запрятанным в немцах — вмонтированным, так сказать, в самых разных представителей этой расы. И то, что я по истинному своему рождению кореец, ничуть не мешало тому, что моя душевная суть самым замечательным образом проявлялась в каком-нибудь пруссаке, который горд тем, что ни разу в жизни не нарушил общепринятых правил и законов, честно держал данное слово и на все сто процентов выполнял свои обещания.

Я ехал на теплоходике по Рейну, забрался на верхнюю палубу, сел за столик и заказал себе «цвай вюрстен унд айн бир». Был замечательный летний голубой день на реке, по скалистым берегам которой величаво высились средневековые замки, и я чувствовал себя совершенно удовлетворенным жизнью, и самим собой, и своими замечательными человеческими качествами. Тем более что мог непосредственно обозреть это за соседним столиком — в виде лысоватого, рыжеватого немецкого дядьки лет сорока. Он был одет в светлый бежевый костюм, при галстуке, который уютно лежал на его белой рубашке, в точности повторяя конфигурацию небольшого бюргерского живота.

Я пил немецкое пиво, закусывал горячими сосисками, сочными, также вполне немецкими, и чувствовал себя благонадежным, неплохо устроившимся в жизни немцем, который заслужил все то, что он сейчас имеет: фатер Рейн, пиво, сосиски, замечательное чувство собственного достоинства и довольства, застывшее благодушной маской на моем гладком, бритом лице.

Подобную свою маску я видел много раз и в других странах, где мне приходилось бывать, и всюду ловил себя на том, что «выдаю», оказывается, заведомо фальшивое выражение на этой маске! Не могло быть такого, чтобы то самое малое, единственное, *первое* человеческое Я выражало на физиономии своей сияющее самодовольство, потому что это первое Я всегда подспудно помнило о своей смерти и постоянно, до обморока, боялось внезапной потери имущества, или роковой болезни, или попросту одинокого голодного существования в старости.

Значит, сияющее самодовольство, спокойное и уверенное веселие, бестрепетный оптимизм, выражаемый масками узнаваемых мною моих двойников в разных странах, исходили не от первого человеческого Я, а от *второго*. Маска благополучия и беспечного самодовольства, словно ты никогда не умрешь, присутствуя, таким образом, нашему второму Я, тому самому, которое ищет Бога, видит себя только рядом с Ним и в оценках собственного своего существования на Земле исходит из чувства вечности, а не смертности, из ощущения полного вселенского благополучия, а не ожидания всемирной катастрофы.

Но мои глубокие симпатии принадлежат первому моему сиротливому чувству Я. В королевстве Марокко как-то среди дня я наконец-то остался один. Воспользовавшись этим, я вышел из гостиницы и не спеша отправился на прогулку, прошел сначала к реке, спустился к набережной мимо высокой красной стены, окружавшей помпезные здания королевского дворцового ансамбля. У входа на территорию дворца высились на верховых верблюдах нарядные кавалеры.

леристы охраны — черноусые красавцы в чалмах, с громадными саблями на бедре.

Нет, эти парни из королевской стражи не показались мне моими двойниками, и я никак не мог представить себя на месте кого-нибудь из них, сидящим верхом на дромадере. Так же не мог представить, что марокканскому стражнику из верблюжьей кавалерии дано осознать себя Анатолием Кимом, русским писателем корейского происхождения.

Но когда я обогнул угол дворцовой стены и направился вдоль нее, то на совершенно пустынной набережной увидел сидящую на земле женщину. Она замерла с протянутой рукой, склонив ничем не покрытую растрепанную голову, а рядом с нею, чуть позади, лежал на каменной мостовой совершенно голый младенец. Он покоился на боку, протянув по земле свою тощую ручонку, голова его была наполовину укрыта платком, видимо, материнским. Нет, ребенок не был мертв, он спал или находился в знойном забытии на этом беспощадном африканском пекле, точно так же угнетенный им, как и я, бредущий по раскаленному бетону набережной иностранец. И этот ребенок был мною. Он первым догадался об этом, и, когда я проходил совсем близко, младенец приоткрыл глаза и очень внимательно, со значением, посмотрел из-под платка на меня.

Ах, Боже мой, сколько же было этих открытий, когда в какой-нибудь новой стране я снова и снова обнаруживал самого себя в ее жителях! И речь сейчас идет не о том, как я сошел с ума, находя свою душу в других людях, — нет, я говорю о том, что в моей душе помещается множество других душ.

Если бы я чувствовал в себе только одну мучительную душу свою, свое первое Я, суетное, несправедное и грешное, тогда я действительно был бы сумасшедшим. Ведь любая форма душевной болезни имеет причиной только одно: полную сосредоточенность на себе одном, невозможность сойти с одного и того же замкнутого круга... Но именно в далеких путешествиях я научился избавляться от этой своей стихийной склонности к солипсизму и, наблюдая совершенно незнакомые народы, наконец-то постиг, что на свете существует огромное число людей, совсем таких, как я, и разница наших тел, лиц, национальностей и степени приобщенности к современной цивилизации ничего не значат.

Поначалу я так увлекся этим открытием, был столь вдохновлен обнаруженным в моей малой единичной сущности качеством *всемирности*, что не заметил одной большой опасности... *Пусть будет так: одна звезда — это все звезды, один человек — это все люди*, но что же делать, если подобное понимание мира вдруг в какой-то момент откроет тебе всю бессмысленность, смехотворность и ничтожность твоих личных устремлений? Лишит всякого смысла существование твоего *первого*, маленького Я?

Это было в Америке, в штате Нью-Мексико, в городе Санта-Фе. Там я побывал в доме американского скульптора-авангардиста и доме одного русского живописца, Фешина, выстроенном им в глуши американского Техаса...

По архитектуре это были очень похожие сооружения в стиле старинных мексикано-индейских построек: за глухой глиняной стеной глинобитная коробка дома с плоской крышей, с выступающими из торцовых стен могучими деревянными балками, с узкими и высокими, как бойницы, окнами. Но какая разница была в том, *что* было внутри этих художественных убежищ, разница не только в начинке вещами, но и в планировке.

Американец, скульптор современного направления, названия которого я не знаю, творил свои произведения из списанных и рассекреченных деталей ракетного оборудования, которыми пользовались в недалеком от Санта-Фе космическом центре. Из всяких колес, сверкающих сфер, колпаков и могучих металлических штанг скульптор собирал что-то вроде тех фигурок, которыми увлекаются дети, любящие всякие игрушечные наборы типа «Конструктор». Амери-

канец лепил из бросовых деталей белого металла что-то такое, напоминающее роботов, допотопных чудовищ, но давал им всякие интересные символические названия, скажем, «Экстаз» или «Взгляд в ничто».

Фешин был русским эмигрантом, я никак не мог предположить, что он окажется в Америке, под Санта-Фе... Это был один из самых любимых мною русских художников, со студенческих лет я больше всего ценил живопись Константина Коровина и угольные рисунки Фешина. И вот встреча в его доме, штат Нью-Мексико... Маленькая, кругленькая, уютная русская барыня, престарелая дочь художника Ия... Фешин занимался, кроме живописи, еще и резьбой по дереву: двери и настенные панели, мебель, большие шкафы и сундуки были им украшены собственноручно. Было много русских фольклорных мотивов в его деревянных композициях. На стенах дома висели чудесные, роскошные по живописи фешинские шедевры...

У американца дом также находился в лесу, но в таком, какой бывает только в Техасе, зоне гористых полупустынь, — редкие отдельно стоящие деревья, то ли раскидистые сосны, то ли темно-зеленые кущи туй небольших размеров. Эти деревья не желали сливаться в единый массив, и леса как такового вокруг не было — лишь независимые друг от друга зеленые деревца, заполнявшие собой все размашистые склоны окрестных гор. И среди этих деревьев находился дом скульптора. Внутри это был современный дворец, на трех или даже четырех уровнях, отделанный с немыслимой роскошью, с мраморными колоннами, широкими серебристыми лестницами... И жил в этом дворце хозяин-скульптор, который рассказывал, что за каждое свое произведение, за очередного робота или громадного динозавра, слепленного газосваркой из труб, колес, шестеренок и ракетных охвостов, он получает от ста тысяч до миллиона долларов.

Я вспоминаю бронзоволицых индейцев, что продавали изделия из бирюзы там, на улицах Санта-Фе, и о том, как в одном из них я снова увидел самого себя. Он сидел на обтянутой кожей скамейке, накрывшись широкополой шляпой, и дремал, закрыв свои старые, окруженные сетью морщин глаза...

И художник Фешин, построивший в Нью-Мексико индейский дом с русской начинкой, был во мне — со всей своей судьбой русского эмигранта первой волны, который и в далекой Америке не пропал — Бог дал раскрыться его искусству... И когда-то — не знаю даты смерти — я умер в Фешине, вместе с ним, тоскуя по зеленым просторам родной приволжской равнины.

И богатый американский авангардист, широкоплечий малый с окладистой седой бородой, также был во мне, и я в нем — в его неистовом устремлении к успеху, к большим деньгам, которые и позволили человеку построить такую чудовищную домину в пустынной долине штата Нью-Мексико...

Мне вспоминается профессор славистики из Нью-Йорка, с которым по моей просьбе мы прокатились в подземке, и в том, как, смущенно улыбаясь, профессор признавался, что никогда не ездит в метро, потому что боится темнокожих бандитов, для которых подземка — место работы, — я узнал самого себя... В Японии другой профессор-русист, усатый, черный, густобровый, словно какой-нибудь азербайджанец, с грустным видом говорил мне, что современный японский интеллигент получает образование, затем старательно трудится всю жизнь, словно муравей, только с одной целью: заработать достаточно денег на место в богадельне, в каком-нибудь приличном пансионате для стариков.

На Гавайских островах, в Гонолулу, я шел от своего отеля к морю и впереди увидел голого по поясу стройного парня в джинсах, босого, с кудрявыми, длинно отросшими волосами. Он вдруг остановился возле мусорной урны, опустился на колени и запустил туда руки. Выудив из урны банку из-под кока-колы, помотал ею, прислушиваясь, не осталось ли чего там внутри, потом запрокинул голову и выпил остатки...

Это был также я. И его превосходительство господин президент Португалии, и сказочного роста, стройная, как бригантина, пышноволосяя дочь самого

богатого человека Америки, за банкетный стол которой я был приглашен и сидел напротив хозяйки, между двумя лауреатами Нобелевской премии — Бродским и Милошем... И когда на парижском бульваре у «Мулен Руж» я жестами и мимикой, словно глухонемой, пытался побеседовать с проституткой, которая оказалась гомосексуалистом, одетым в женское платье,— во всех случаях, не вступая ни в какие разговоры, лишь обменявшись взглядами или улыбками, я в других, совершенно неизвестных мне и космически удаленных по земному бытию людях почему-то уверенно угадывал самого себя.

Каждый человек — это все люди. У каждого есть две судьбы. Одна та, что принадлежит его малому Я и заключается в даты рождения-смерти. Другая связана с судьбой человеческого рода и потому содержит в себе все отпущенное человеческой истории время.

Также исподволь мне стало понятным, что после открытия двузначности жизни и судьбы человеку больше незачем устремляться на другой край Земли, чтобы удостовериться в том. Но для того, чтобы прийти к этому, мне обязательно надо было сначала пройти земные пути.

И когда стало ясно, что уже нет у меня мучительного любопытства к людям иных культур, стран, наций и рас, религиозных убеждений, цивилизаций, когда во всех встречных на путях земных я узнавал себя, а каждого ощутил в себе, то уже не захотелось мне больше разъезжать по миру.

Мне вспомнились слова, приписываемые древнему китайскому мудрецу, которые звучат примерно так: *«Век живи в своей деревне, слушай крик петухов из соседней деревни — и никогда не ходи туда в гости»*. И мне действительно хочется забраться куда-нибудь в деревню и жить так, как советовал древний китаец. Может, я постарел, поэтому не привлекают меня экзотика, развлечения, роскошь и удовольствия мира, а может быть, удовлетворив свое самое сильное, мучительное, страстное любопытство в том, что такое я и что такое остальные люди, я успокоился и больше не желаю суетливо перемещаться по миру. Мне хорошо сейчас там, где я нахожусь, и мне дорог покой, которого я достиг.



Послесловие

Беседа с Анатолием КИМОМ

— Как зародилась идея этой повести, весьма неожиданной, как нам кажется, для вас?

— Идея написать автобиографическую вещь пришла ко мне действительно неожиданно и, как говорится, не изнутри. Однажды в провинциальный корейский университет, где я тогда работал, деньги зарабатывал, прибыл из Сеула редактор неизвестного мне журнала «Перспектива» с предложением, чтобы я начал писать в каждый номер, раз в месяц, автобиографическую повесть с продолжением. Условия были хорошими, размеры каждой «порции» устанавливались необременительные, переводчиком согласился быть мой хороший друг, профессор-русист — тоже Ким... И я согласился.

Словом, начата эта работа была как неожиданный «калым», по образному выражению шабашников-строителей, то есть из-за возможности недурно заработать помимо основной работы, подкалымить. Но постепенно правдивое описание своего прошлого захватило и стало иметь для меня совсем другое значение. Я понял, что мне дана возможность разобраться в самом себе и через это установить подлинность своих личных отношений с окружающим миром, со временем. И я попытался реализовать такую редкостную возможность.

— Когда писатель подводит промежуточные итоги своей жизни, это, как правило, показатель какой-то переоценки ценностей и попытка выйти на новый, иной виток в своем творчестве. Так ли это?

— Я не хотел в этой работе «подводить итоги жизни», хотя бы по суеверию, увы, бытующему во вне (*и во мне*): всякие подведения итогов или юридические завещания ни к чему хорошему не приведут, а пожалуй, и наоборот... Но если невольно вышло именно так и пространное мое повествование тяготеет к самоподытоживанию жизни и подвигает к неизбежному экзистенциалистскому хакари, то что делать... Надо вспороть.

С тем, чтобы выйти на новый виток в своем творчестве? Нет, с помощью автобиографии на новые творческие рубежи не выберешься, тем более если ты уже чувствуешь, что балансовый итог подбит, дебет с кредитом установлен — и ты никому ничего не должен, и тебе ничего не должны. Автобиографическая повесть прежде всего помогла мне разобраться в этом. Не итог подвести тому, что еще не завершено, все еще продолжается, но определить свои человеческие, личностные, координаты в родном обществе и в неповторимом историческом времени.

— Читая вашу повесть, трудно отделаться от впечатления, что вы не столько благодарны людям, сделавшим вам что-то хорошее, сколько природе, сохранившей и кормящей всех, и вас в том числе. Во всяком случае, для природы вы всегда находите более образные и «очарованные» слова, чем для людей. Что это, следствие ориенталистских корней или сознательно выработанная позиция?

— В этом вопросе я хотел бы сразу же установить и свое понимание таких важных натурфилософских вещей, как люди и природа. И если вы, читая мою повесть, получаете впечатление, что я больше благодарен питающей нас природе, нежели людям, сделавшим мне добро, то это происходит — с вами — по следующей причине. Вы не услышали, наверное, что мой рассказ о себе предназначен вниманию Того, Кого вы в данном вопросе называете природой. В повести время от времени упоминается Тот, Который правит всей моей маленькой жизнью — от ее начала до самого конца. Так уж получилось — литературная природа этого моего произведения есть исповедь жизни не перед людьми, но перед Тем, Кого вы обозначили словом «природа».

Да, я узнал много добра от разных людей. Однако, будучи одним из них, весьма крепко и неотделимо принадлежа к ним, я хорошо знаю, что нам благодарить друг друга за сделанное добро следует не очень громко — и даже сдержанно. Потому что мы оказываемся способными сделать и немало зла. А если в повести я нашел для описания природы более красивые, благородные, чарующие слова, нежели при

характеристике людей, то это произошло по известным уже причинам. Еще раз хочу подчеркнуть, что если природа нас создала, и Тот, Кто наблюдает за нами, и есть сама природа, то ежедневная благодарность, что я испытываю, и удивление пред ее красотой намного, намного больше того, что я смог выразить во всех своих рассказах и повестях, не только в данной. Ориентальна ли по происхождению такая душевная благодарность человека или она исходит не от восточных, но от его западных нравственно-философских позиций? Ответ на это вы можете дать сами.

— *Как бы вы определили место писателя в нынешнем обществе?*

— В нынешнем обществе положение каждого писателя определяется сугубо индивидуально, нет ранжиров, нет статуса, нет высокого пьедестала для государственно ценного живого памятника — и все это было бы хорошо, если и на самом деле положение писателя нынче определялось бы только качеством его художественного творчества. Однако каким было, таким и осталось это самое пресловутое положение писателя в обществе, в *нашем* обществе. Оно не соответствовало критериям чисто художественных ценностей раньше, поэтому Андрей Платонов, Михаил Булгаков, Варлам Шаламов, Ксения Некрасова, Борис Шергин и многие другие были для общества их времени ничто, а громогласно звучали совсем другие имена.

Есть некоторая особенность в положении писателя сегодня. Ему трудно стало — почти невозможно — издавать свои книги. Наверное, в этом есть что-то и положительное: естественный отбор и так далее. Но, когда таким обстоятельством охвачены почти все живые писатели современного российского общества, они становятся чем-то вроде интеллектуальных бомжей. Издательского дома у них нет, заработков нет, надо идти побираться. И приходится! И хорошо еще, если кому-то подадут: гранты там заграничные, премии, спонсорство на издание книги, стипендии от Литературного фонда или государства... А что же делать тем, кому ничего не подают? Вот интересное положение. Я говорю сейчас не о себе лично — слава Богу, на сегодня я смог обойтись безо всех этих милостей и милостынь. А что будет завтра? Я думаю так, что будет день, будет и пища.



Л И Ч Н О С Т Ь В О П Р Е К И

О том, что становление личности является проблемой развития России, ее выхода на уровень европейской цивилизации, писалось русскими мыслителями не раз. «Для народов,— утверждал русский историк и философ К. Д. Кавелин,— призванных ко всемирно-историческому действованию в новом мире, такое существование без начала личности невозможно. <...> Личность, сознающая сама по себе свое бесконечное, безусловное достоинство,— есть необходимое условие всякого духовного развития народа»¹.

Впрочем, эта идея и оспаривалась. Причем оспаривавшие не отрицали необходимости личности, но видели ее подчиненной стольким социальным институтам (от общины до государства), столь *растворенной в хоре*, что *сам принцип*, породивший всю современную цивилизацию, внутри которой мы живем, благами которой пользуемся, опасности которой разделяем, *оказывался упродненным*.

Парадокс «культы личности и преодоления его последствий»

Сталинская тирания закончилась, как известно, хрущевской «оттепелью» и разоблачением «культы личности». Пытаясь объяснить народу, как стали возможны при социализме миллионы жертв, партийные теоретики не нашли ничего лучшего, как назвать причину государственно-тоталитарного террора *культом личности*, который якобы насаждался в стране, и именно *теория культы личности*, принявшая «решающую роль народных масс», породила массовые преступления государства против народа. Так и комментировал ведущий философский журнал эту ситуацию. «Культ личности сказался прежде всего в том, что <...> была предана забвению основополагающая идея марксизма-ленинизма о решающей роли народных масс в истории, непомерно раздувалось значение деятельности отдельной личности, которой приписывались едва ли не главные заслуги в достижении побед советского народа. Это находилось в вопиющем противоречии с материалистическим мировоззрением, наносило большой ущерб коммунистическому воспитанию трудящихся, способствовало распространению опасной идеи, будто не инициатива и творческая самостоятельность миллионов трудящихся масс, организуемых и руководимых Коммунистической партией, является источником прогресса, а деятельность некой «сверхчеловеческой» личности»².

Парадокс в том, что одно из самых страшных преступлений, длившееся в нашей стране полвека, преступление против возможности «самостоянья человека» (Пушкин), против индивидуальности было названо «культом личности». Выражение «культ личности» утверждалось в хрущевские времена как *ругательство*. И иначе не могло быть в стране с общинной «коллективистской» установкой. Так проще было *объяснить* народу грех и вину Сталина, *причину* этой вины. Вся его вина, оказывается, в том, что «он вздумал стать личностью». И в таком утверждении, как сегодня понятно, существовал известный резон.

¹ Кавелин К. Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуры. М., 1989, с. 22.

² XX съезд КПСС и вопросы идеологической работы. Передовая. Вопросы философии. 1956, № 2, с. 14.

Ведь если следовать славянофильской доктрине, то личности и не должно было быть в России. Юрий Самарин в полемике с Кавелиным писал в 40-е годы прошлого века: «Общинное начало составляет основу, грунт всей русской истории, прошедшей, настоящей и будущей <...>. Общинный быт в существе его <...> основан не на личности и не может быть на ней основан, но он полагает высший акт личной свободы и сознания — самоотречение»³.

И далее, по сути дела, он формулирует идею, проясняющую закономерность появления в нашей стране «культы личности» в советском его понимании, то есть необходимость тирана, который забирает себе все права и свободы народа, оставляя его беззащитным перед своим произволом:

«Что такое князь в отношении к миру, если не представитель личности, равно близкий каждому, если не признанный заступник и ходатай каждого лица перед миром? <...> Призвав его и поставив над собою, община выразила в живом образе свое живое единство. Каждый отрекся от своего личного полновластия и вместе спас свою личность в лице представителя личного начала»⁴.

В своем трактате «О развитии революционных идей в России» Герцен отвечал на это рассуждение Самарина следующим образом: «Говоря о князе, автор лишь пространно пересказал общеизвестное определение, которое Гегель дал рабству в «Феноменологии» («*Heft und Knecht*»). Но он умышленно позабыл, как Гегель расстается с этой низшей ступенью человеческого сознания. <...> На замечание, что все мы рабы, что личное право не развито в России, отвечают: «Мы спасли это право, увенчав им князя». Это издевка, возбуждающая презрение к человеческому слову»⁵.

Между тем проблема, обозначенная Самариним, была много серьезнее, чем казалось Герцену. Самарин вполне искренно пытался выявить типологические, существенные особенности развития России. И по его схеме получалось, что путь России — один: к тирании. Однако он незаметно впадал в противоречие с собственными идеалами: об общине, независимой от государства, о подлинном христианстве, преодолевшем языческое идолопоклонство и пр. Но история жестоко показывала, что вне и помимо личности никакое сообщество не может отстаивать свои права и независимость, а подлинное, свободно принятое и искренно переживаемое христианство оказывается троянским конем деспотических обществ.

Как писал русский мыслитель С. Франк после второй мировой войны: «Вопреки всем распространенным и в христианских, и в антихристианских кругах представлениям, благая весть возвещала не ничтожество и слабость человека, а его вечное аристократическое достоинство. Это достоинство человека — и при том всякого человека в первооснове его существа (вследствие чего этот аристократизм и становится основанием — и при том единственным правомерным основанием — «демократии», т. е. всеобщности высшего достоинства человека, прирожденных прав всех людей) — определено его родством с Богом. <...> Вся мораль христианства вытекает из этого нового аристократического самосознания человека; она несть, как думал Ницше (введенный в заблуждение историческим искажением христианской веры), «мораль рабов», «восстание рабов в морали»; она вся целиком опирается, напротив, с одной стороны, на аристократический принцип *noblesse oblige* и, с другой стороны, на напряженное чувство святости человека как существа, имеющего богочеловеческую основу»⁶.

Если аристократический пафос пронизывает все слои населения, то в таком обществе нет места деспоту и самодержцу. В конечном счете такое общество предрасположено к высшей известной нам социальной форме организации людей — демократии. Нельзя, однако, забывать, что христианский пафос личности есть задача человечества, но не его реальность. Историческое сообщество народов, охваченных христианской цивилизацией, разумеется, развивается с учетом сверхзадачи благой вести, возвещенной две тысячи лет назад, но все же по присущим человечеству законам. Как не раз замечали русские богословы, «каждая страна, область, народ, принимая Евангелие, по-своему принимали его. <...> Западный мир по-своему принял его, а Восток — по-своему. Полная истина есть нечто абсолютное и поэтому несовместимое с миром: мир и человек по существу своему ограничены и

³ Самарин Ю. Ф. О мнениях «Современника», исторических и литературных. В кн.: Самарин Ю. Ф. Избранные произведения. М., 1996, с. 431—432.

⁴ Там же, с. 432.

⁵ Герцен А. И. Полн. собр. соч. В 30-ти тт. Т. VII. М., 1956, с. 245—246. В дальнейшем сноски на это издание даны в тексте.

⁶ Франк С. Л. Свет во тьме. Опыт христианской этики и социальной философии. Париж, YMCA — PRESS, с. 124—125.

потому ограниченно принимают истину христианства, а так как у каждого народа и человека своя особая ограниченность, то и христианство его выходит особым⁷.

В России по сравнению с другими европейскими странами аристократический пафос человеческой личности практически никогда (во всяком случае, начиная с татаро-московского периода) не являлся господствующим. Феодалная аристократия, равно как и купеческая, не сумели отстоять свои права по отношению к государству. К сожалению, и идеи неоправославных мыслителей рубежа веков о высшем достоинстве человека не стали определяющими в институционализованном православии. Не случайно сталинская тиранья, поначалу гнавшая и уничтожавшая русскую церковь, опасаясь ее многократно заявленной связи с самодержавием, через пару десятков лет разобралась, что православные иерархи достаточно сервильны и готовы принять даже атеистическую власть.

Нигде в Европе государство не обладало такой властью над жизнью и собственностью своих подданных, как в России. Соответственно и независимая индивидуальность в такой стране появлялась с трудом, с чувством вины за свою особенность, исповедуя *культ народа, общинного сознания*, что вело к отрицанию самой идеи личности либо к появлению весьма специфического типа *личности вопреки*, а в конечном счете к так называемому «культу личности».

Предпосылки появления личности

Становление личности вводит культуру в исторический процесс, превращая народ из природно-этнографического материала в субъект истории. Каждая культура проходит природно-языческую стадию общинного хозяйствования, где имущество принадлежит роду-племени, а потому не возникает даже вопроса о личном отношении к миру. Нет вопроса и о личном наследовании, личном восприятии жизни. Только с появлением частной собственности, когда из общинно-коллективистского безличного сообщества выделяется индивид, начинается цивилизационный этап культуры.

В начале 1900-х годов В. О. Ключевский писал: «В отличие от государственного порядка, основанного на власти и повиновении, экономическая жизнь есть область личной свободы и личной инициативы, как выражения свободной воли. Но эти силы, одушевляющие и направляющие экономическую деятельность, составляют душу и деятельность духовную. Да и энергия личного материального интереса возбуждается не самим этим интересом, а стремлением обеспечить личную свободу, как внешнюю, так и внутреннюю, умственную и нравственную, а эти последние на высшей ступени своего развития выражаются в сознании общих интересов и в чувстве нравственного долга действовать на пользу общую»⁸. Иными словами, личность не есть то, что задано природно, а то, что вырабатывается в историческом движении человеческой цивилизации.

Процесс становления личности есть процесс по сути своей революционный и болезненный, а потому тяжкий для большинства населения, продолжающего жить во внеличностном мире. Утверждается личность через вполне реальные социокультурные механизмы и через людей, которые являются нарушителями традиционной морали и нравственности.

Наблюдая сегодняшнюю торгующую Россию, наши патриоты с гадливостью замечают, что торговля якобы меняет склад, духовный строй российской нации, искажает ее внутренние основы. Но, надо сказать, у России прошлое — как раз торговое. Именно Новгородско-Киевская Русь, в которой ясно прослеживаются зачатки личности, была прежде всего торгующим государством. Нелзя не согласиться с Г. П. Федотовым, что «славянофильское и народническое восприятие Древней Руси не отдает достаточного отчета в том огромном вкладе в русскую культуру, который внес купеческий дух. <...> На торговле держалась вся Киевская Русь. Торговля создала Великий Новгород — не город, а великое северное государство, охватившее половину русских земель. С отмиранием южных очагов культуры и старых Ростово-Суздальских Новгород делается главным выразителем русской культурной идеи: прежде всего в искусстве. Военно-служивая Москва, сломив Новгород, заглушив городскую жизнь Севера, и в XVII веке сохраняет еще купеческий размах и предприимчивость. Минины (северное ополчение) спасли Россию в годы смуты, и еще при

⁷ Ельчанинов А., Флоренский П. Православие. В кн.: История религии. М., 1909, с. 162.

⁸ Ключевский В. О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. М., 1993, с. 81—82.

Алексее Михайловиче их голос слышится во дворце. «Земская Русь» — это прежде всего посадская, торговая Русь»⁹.

Надо учесть, что и воины, богатыри, сподвижники русских князей (об этом русские былины) не только охраняли Русскую Землю, но были и торговцами (Васька Буслаев и др.). Таким образом, очевидно, что русских дружинников, как и купцов, и ремесленников (*искавших личный интерес*) следует отнести к тому слою русского населения, в котором возможно отыскать безусловные зачатки личности. Их деятельность идет в русле интересов государства. При Ярославе Мудром возник свод законов «Русская правда». И до монгольского нашествия во внутренних ссорах и конфликтах, а также при общении с иноземцами, прежде всего с европейцами, с немцами, в случае какого-либо *разлюбья* существовали на Руси юридически зафиксированные, закрепленные в договоре, в праве, стоимости «обид», «бесчестья», «побоев» и «человеческой жизни» (пусть за убийство холопа платили меньше, чем за убийство вольного человека, но *платили!*).

Территория, где обосновались восточные славяне, была одной из важнейших торговых магистралей VII—X веков. Мощный хазарский торговый каганат, преградивший, кстати, путь исламу в Восточную Европу, византийские купцы, купцы немецкие и итальянские, активно торгующие арабы — все эти линии перекрещивались на территории будущей Древней Руси. Викинги появились здесь не случайно. Продвигаясь «из варяг в греки», они ставили по пути своего захватнического движения «вики» (торговые точки), рядом с которыми вырастали первые славянские города. «Славянские поселения становились своего рода «спутниками» вигов. Приток славян в такие поселения далеко превосходил приток скандинавов в вики. По этой причине Рюриково городище уступило место расположенному неподалеку Новгороду, а Гнездово — Смоленску. <...> «Торговые места» уступили место полиэтническим поселениям, которые начали превращаться в столицы конунгов и их княжеств»¹⁰. Из этой ассимиляции норманнов, славян и финнов сложилась Русь, выраставшая как военное и торговое государство.

Постоянные военно-торговые отношения норманнских викингов с христианской Византией и Европой требовали подобной общей идеологии, превращающей страну из конгломерата завоевателей (норманнов-руси) и завоеванных (славянофильских племен) в жизнеспособный этнос. «Восточноевропейская Нормандия решительно меняла свое обличье, — заключает историк. — Для превращения ее в славянскую Русь недоставало последнего толчка. Таким толчком стало принятие христианства»¹¹. Толчок этот дал Владимир Святославович, оторвавший Новгородско-Киевскую Русь от еще языческой Скандинавии, а тем самым и возвысивший себя среди прочих норманнских конунгов, равнявшихся на восточноевропейскую равнину.

Конечно, с самого начала Крещение включило Древнюю Русь в культурный и духовный ареал европейских народов. Строятся храмы, появляется письменность, первые русские книжки начинают свои умствования, расширяются интеллектуальные контакты с миром. Пусть смутно, но многие идеи христианства западают в умы элиты Новгородско-Киевской Руси — воинов и купцов. Поэтому русские богатыри — носители религиозного образования, в былинах специально подчеркивается это обстоятельство. Илья Муромец:

Крест-от клал ён по писаному,
Вел поклоны по-ученому.

Однако следует подчеркнуть то обстоятельство, что инициатором введения христианства на Русь *стала власть*. Если второй Рим (Константинополь), а тем более первый, помнили *несколько веков истории*, когда быть христианином означало быть личностью, противостоящей языческому государству, жертвующей жизнью за свои убеждения, то возникавшая на Руси православная личность никогда не вступала с властью в прямой и непримиримый конфликт. Даже древнерусские подвижники были люди политически лояльные и умеренные. Короче говоря, в нашей истории не найти было римских первохристиан, жизнью доказывавших правоту своей веры. Такого культурно-исторического опыта домосковская Русь не имела. Смерть Бориса и Глеба — христианская, но *не смерть за христианскую веру*. По точному наблюдению современной исследовательницы, «размышляя о жизни и смерти, о смерти отца, о суете земной и ее правилах, Борис полагает, предполагает <...> возможное его убийство старшим братом. Решение, принятое им, христианской верой оправда-

⁹ Федотов Г. П. Революция идет. В кн.: Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Спб., 1991, т. I. с. 150.

¹⁰ Скрынников Р. Г. История Российская. IX—XVII вв. М., 1997, с. 13.

¹¹ Там же, с. 55.

но, т. е. принято по правде установленного Богом мира: земная жизнь с ее суетой и несправедливостью подчиняется вечной, небесной жизни с любовью к Богу и служению Ему. Бог велит слушать старших, и Борис решает идти к Святополку и выполнить его приказ»¹². Это отказ от жизненной суеты, типичный для ранних русских подвижников, определявших свою жизнь не строением мира, а уходом от него.

Перелом судьбы

Если раньше степные кочевники лишь мешали нормальному европейскому развитию Древней Руси, то с середины XIII века Степь навязала русскому обществу свой единый порядок. Основа этого порядка покоилась на полном и абсолютном беспорядке, на равенстве в рабстве. По отношению к хану были равно беспомощны и беспорядочны и князь, и боярин, и крестьянин, и холоп. Строго говоря, холопами стали все, завися не от прав и законов, а от прихоти и произвола хана и его баскаков. Из страны городов Русь превратилась в деревенскую страну, которая была не в состоянии организовать для собственной защиты. Город мог дать отпор врагу, выставить ополчение, в конце концов *град* был *огражден*, кочевники натывались на *преграду* крепостных стен. Село, деревня — всегда без поддержки города легкая добыча насильников. Не случайно во все времена сельские жители бежали под защиту города, бросая свои посевы. Города были татарами разрушены, городская жизнь замерла, да и владение землей приобрело принципиально новый характер.

По «монгольскому праву на землю» прежде всего была уничтожена земельная частная собственность (основа всякой иной частной собственности): «Вся вообще земля, — писал русский историк-правовед, — находившаяся в пределах владычества хана, была его собственностью»¹³. И жаловалась эта земля только во временное пользование специальными ярлыками. Не только о праве на собственность, но и о праве на собственную жизнь, не говоря уж о праве на оригинальность и самобытность, отныне не могло идти и речи.

Ибо совершенно иной принцип господствовал в монгольской империи, частью которой стала покоренная Древняя Русь. Сошлюсь на одного из крупнейших аналитиков русской истории Г. В. Вернадского: «Согласно заявлению монаха Бенедикта из Польши в изложении Симона из св. Квентина, когда трон был предложен Гуюку на выборном курултае, последний сказал знати: «Если вы хотите, чтобы я правил вами, то готов ли каждый из вас делать, что я прикажу, прийти, когда бы я не призвал, отправиться, куда бы я вас ни послал, убить любого, кого я прикажу?» Они ответили утвердительно»¹⁴. Этот уговор очень напоминает договор Ивана Грозного с народом, инсценировавшего отъездом в Александровскую слободу отказ от самодержавной власти и как бы новое и всенародное избрание себя на царство и в результате вытребовавшего в 1564 г. у народа себе право казнить любого по своей прихоти. Отсюда и выросло то свойство нашей народной психики, то равнодушие к смерти, та беззаветная отвага, что, по замечанию Чаадаева, так восхищает иностранцев, но при этом делает нас безразличными к случайностям жизни, к добру и злу, ко всякой истине.

Русское православное христианство, православная церковь, хотя и осуждали князей за междоусобицу, не прошли серьезного испытания на столкновение с властями, тем меньше могли они оказать сопротивление завоевателям, которые со звериной хитростью вовсе не гнали, не угнетали церковь, напротив, давали ей все возможные преимущества. Уже в 1266 г. ханом Менгу-Тимуром был дан русский церкви ярлык, по которому «были утверждены привилегии духовенства как социальной группы, включая и членов семей; церковные и монастырские земельные угодья со всеми работающими там людьми не платили налога; и все «церковные люди» были освобождены от военной службы. Монгольским чиновникам запрещалось под страхом смерти отбирать церковные земли или требовать выполнения какой-либо службы от церковных людей. <...> В качестве благодарности за дарованные привилегии от русских священников и монахов ожидали, что они будут молить Бога за Менгу-Тимура, его семью и наследников. Особо подчеркивалось, что их молитвы и благословения должны быть ревностными и искренними. «А если кто-то из священно-

¹² Киселева М. С. Мера и вера (знание о жизни и смерти у древних славян и книжников Киевской Руси). Вопросы философии. 1995, № 5, с. 114.

¹³ Неволин К. А. История российских законов. В кн.: Неволин К. А. Полн. собр. соч. Т. IV. Спб., 1858, с. 136.

¹⁴ Вернадский Г. В. Монголы и Русь. Тверь, Москва, 1997, с. 126—127.

служителей будет молиться с затаенной мыслью, то он совершит грех». <...> Ярлык <...> явился удачным внешнеполитическим шагом, поскольку обеспечивал <...> лояльность по отношению к хану наиболее образованной социальной группы на Руси, которая пользовалась большим авторитетом среди народа. Благодаря ярлыку можно было ожидать, что русский дух сопротивления хану будет существенно ослаблен»¹⁵.

Церковь уцелела, хотя навсегда утратила пафос независимости. И стала прислужницей всякой власти. С утверждением Московского царства в церковной жизни побеждает осифлянство, пронизанное идеями услужить русской государственности: «Мы видим много иерархов, но ни одного святого»¹⁶, — замечал Г. П. Федотов, называвший этот процесс «трагедией древнерусской святости». Потеряли свою независимость, деструктурировались и иные сословия.

Были, скажем, разрушены воинское и купеческое сословия, оставшиеся и после победы Московского князя лишь приложением к государству, уничтожена городская независимость, упразднено вече, что было выгодно и завоевателям-степнякам и русским князьям. В результате, как писал К. Кавелин, в России «были бояре и не было никогда боярства; были, есть и будут духовные, купцы, мещане, ремесленники, крестьяне, но никогда не было и, по-видимому, не будет духовенства, купечества, мещанства, крестьянства в смысле действительных сословий. Все наши разряды, не исключая дворянства, означали род занятий, общую повинность, тягло или службу, но никогда не имели они значения общественного организма, общественной формации, с зататками политической или общественной связной жизни»¹⁷.

Монгольские принципы власти переняла «татарофильская» (Г. П. Федотов) Москва. После разгрома Новгорода (до которого не докатилось татарское нашествие) последовательно Иваном III, а затем Иваном IV о правах, которые способствовали бы появлению самостоятельного и независимого слоя людей, говорить не приходилось. Так что евразийцы имели достаточно оснований для утверждения, что в послеордынский период «важным историческим моментом было не «свержение ига», не обособление России от власти Орды, а распространение власти Москвы на значительную часть территории, некогда подвластной Орде, другими словами, замена ордынского хана московским царем с перенесением ханской ставки в Москву. Это случилось при Иоанне Грозном после завоевания Казани, Астрахани и Сибири»¹⁸.

В Московской Руси, как следствие татарского владычества, заменившего право «ханским ярлыком», то есть «царской милостью», идеей произвола, приучившего покоренных русичей к бесконечным неправым поборам и грабёжам, практически единственным собственником на землю, спекулянтном, торговцем, промышленником стало государство, перенившее от бывших завоевателей принципы жизнеустройства и управления. Богатеть простым русским людям было просто опасно, отсюда развивалось неумение и нежелание производительной работы, ибо все наработанное отбиралось царем и его слугами.

Именно принуждение властных государственных структур приводило к исчезновению энергии труда, о которой вроде бы так во все века пеклось государство — и всегда безуспешно. «Энергия труда подавлена в нас вместе со всякою другою энергиею, — писал Чернышевский. — Исторические обстоятельства развили в нас добродетели чисто пассивные, как, например, долготерпение, переносливость к лишениям, обидам и всяким невзгодам. В сентиментальном отношении эти качества могут быть очень хороши, и нет сомнения, что они очень удобны для людей, пользующихся ими к своей выгоде; но для развития экономической деятельности пассивные добродетели никуда не годятся. *Как вы хотите, чтобы оказывал энергию в производстве человек, который приучен не оказывать энергии в защите своей личности от притеснений?* (Курсив мой. — В. К.) Привычка не может быть ограничиваема

¹⁵ Там же, с. 172—173.

¹⁶ Федотов Г. П. Святые Древней Руси. Paris, YMCA — PRESS, 1985, с. 189. Ср. далее: «В религиозной жизни Руси устанавливается надолго тот тип уставного благочестия, «обрядового исповедничества», который поражал всех иностранцев и казался тяжким даже православным грекам, при всем их восхищении. Наряду с этим жизнь, как семейная, так и общественная, тяжелеет. Если для Грозного самое ревностное обрядовое благочестие совместно с утонченной жестокостью (опричнина задумана как монашеский орден), то и вообще на Руси жестокость, разврат и чувственность легко уживаются с обрядовой строгостью. Те отрицательные стороны быта, в которых видели влияние татарщины, развиваются особенно с XVI века».

¹⁷ Кавелин К. Д. Собр. соч. Т. II. СПб., 1898, с. 881.

¹⁸ Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. В кн.: Трубецкой Н. С. История. Культура. Язык. М., 1995, с. 229.

какими-нибудь частными сферами: она охватывает все стороны жизни. Нельзя выдрессировать человека так, чтобы он умел, например, быть энергичным на ниве и безответным в приказной избе тем, чтобы почесывать себе затылок и переминаться с ноги на ногу. Он будет таким же вахлаком и за сохою»¹⁹. Напомню поразительное замечание Ключевского, что Петру Великому палкой приходилось вколачивать способность к самостоятельной деятельности. Ибо ни одно сословие в Московской Руси не обладало правами, а лишь повинностями.

Петр I попытался структурировать жизнь России. Но *перелом исторической судьбы* оказался столь силен, что и спустя полтора столетия после петровских реформ, несмотря на краткий исторический промежуток, когда сложилось вроде бы четко социально и духовно очерченное сословие — дворянство, явно утвердились зачатки буржуазного типа хозяйствования, *в конечном счете* восторжествовала идеология безличностного коллективизма (по слову Федора Сологуба, русские социалисты строят коллектив не из единиц, а из нулей). Иными словами, в возникшем в XIX веке конфликте общинного и личностного начала перевес был явно на стороне общинности. Именно неукорененность личностного принципа в русской истории вызывала у рефлектирующей философской элиты тоску и отчаяние.

Об этом трагические размышления Е. Н. Трубецкого в 1906 г.: «Равнинный, степной характер нашей страны наложил свою печать на нашу историю. В природе нашей равнины есть какая-то ненависть ко всему, что слишком возвышается над окружающим. <...> Когда начала расти Киевская Русь, степь стала высылать против нее рать за ратью полчища диких кочевников; и они *уравнивали*, т. е. жгли, истребляли, резали; в конце концов татары *все уравнили*, т. е. все превратили в развалины». В Московской Руси «сказалась та же равнинная тенденция. Чтобы бороться против угрожающих извне *уравнительных* стремлений татар, царская власть сама должна была стать единственной *возвышенностью* в стране и превратить в плоскость все то, что под нею; она покорила и поглотила отдельные княжества, превратила бояр в холопов; чтобы они не зазнавались. Иоанн Грозный рубил им головы. Деспотизм стремился всех уравнять в общем ничтожестве рабства. <...> Перенесемся в нашу эпоху, и мы увидим повторение того же самого. Опять наша равнина освещена ярким заревом пожара: огонь грозит поглотить всю ту скромную культуру, которая над нею выросла. В нашей народной душе еще жив дух Стеньки Разина. <...> И самые способы уравнивания теперь — те же, что и в дни Разина: поджог, грабеж, насилие над личностью»²⁰.

Личность не защищена и стремится укрыться в некую мифическую соборность. Но эта пресловутая российская соборность говорит как раз о неумении, неспособности русского человека быть самим собой. А общество, где личность не сформировалась, есть соединение людей, не способных каждый сам по себе нести за себя всю полноту ответственности, а потому деструктурирующих социум, превращающих его в некий социокультурный хаос.

Хаос как норма социальной жизни

Рассуждая о специфике российской ментальности, П. Я. Чаадаев характеризовал ее следующим образом: «Это все еще хаотическое брожение предметов нравственного мира, подобное тем переворотам в истории земли, которые предшествовали образованию нашей планеты в ее теперешнем виде»²¹. Иными словами, это господство неупорядоченных стихий, хаоса, не претворенного в космос. Стоит подчеркнуть, что хаос этот существует именно в той стране, где, казалось бы, ему должна бы противодействовать строгая, все регламентирующая власть правительства.

Но социальный парадокс как раз в том и заключается, что чем строже власть, тем меньше охоты к работе, тем больше земля напоемает необработанный дикий угол Вселенной, где Хаос никак не может быть преодолен Космосом. Если все усилие берет на себя власть, то обычный подданный старается скрыться между стихий, стать неприметным, не вылезать с инициативой, а потому и окружающее его пространство более напоемает не цивилизованный обжитой угол земли, а место, где нога человека не ступала или где человек прячется, боясь обнаружить свои способно-

¹⁹ Чернышевский Н. Г. Суеверие и правила логики. В кн.: Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. В 15-ти тт. Т. V. М., 1950, с. 694—695.

²⁰ Трубецкой Е. Н. Два зверя. В кн.: Трубецкой Е. Н. Смысл жизни. М., 1994, с. 300—301. Курсив Е. Н. Трубецкого.

²¹ Чаадаев П. Я. Сочинения. М., 1989, с. 20.

сти и финансовые возможности. Первый показатель цивилизации — это дороги. Не случайно римские дороги вошли в обиходную речь как то, что дожило до наших дней, соединяя людей и пространства, помогая на обломках римской вырастать европейской цивилизации. Когда-то Илья Муромец торил дороги из одного города до другого (от Чернигова до стольного Киев-града), избавляя торговые караваны и просто проезжих людей от опасностей разбойничьей нечисти, которой выгоден непроезжий и непрохожий — с гатями и болотами — путь. В России же, ставшей после татар сельской страной, именно дороги — напоmung классическое пушкинское резюме («теперь дороги наши плохи...») или гоголевские строки («пошла писать всякая чушь и дичь по обеим сторонам дороги») — показывали, что произошла не только замена города на село, но и гибель тех принципов цивилизации, что способствуют нормальному труду и жизнедеятельности. Князь Петр Андреевич Вяземский написал выразительную картину наших дорог в стихотворении «Русские проселки», показав мир, которого не коснулась преобразующая сила человеческого труда, где человек таится среди природы, боясь обнаружить свои возможности:

Нет, вызвал бы я вас на русские проселки,
 Чтоб о людском житье прочистить ваши толки.
 Тут мир бы вы другой увидели! Что шаг —
 То яма, косогор, болото иль овраг.
 Я твердо убежден, что со времен потопа
 Не прикасалась к ним лопата землекопа.
 Как почву вывернул, размыл и растрепал
 С небес сорвавшийся сей водяной обвал,
 Так и теперь она вся в том же беспорядке,
 Вся исковеркана, как в судорожной схватке.

На проведение дорог нужны либо деньги местных *достаточных*, то есть богатых, людей, либо усилия правительства. У правительства, разумеется, до таких мелочей руки не доходят, а страна в результате дичает. Дать же свободу и возможность богатеть своим подданным самодержавие боялось, опасаясь возникновения структур, способных на независимую политику внутри государства. В начале нынешнего столетия дороги все же понадобились появившимся промышленникам и торговцам. Их стали строить — и рекордно быстро. (Замечу, что транссибирская магистраль, инженером на которой работал писатель Гарин-Михайловский, была построена во много раз скорее, чем пресловутый БАМ, объявленный ударной стройкой.) Но уже появились и окрепли в культуре равномошные самодержавию антиличностные и антицивилизационные силы, нуждавшиеся в хаосе как средстве для уничтожения прежней власти.

В «Неопалимой купине» — поэтическом исследовании российской судьбы — Максимилиан Волошин писал в 1920 г.:

Вейте, вейте, снежные стихии,
 Заметая древние гроба:
 В этом ветре вся судьба России —
 Страшная, безумная судьба.
 В этом ветре гнет веков свинцовых:
 Русь Малют, Иванов, Годуновых,
 Хищников, опричников, стрельцов,
 Свежевателей живого мяса,
 Чертогона, вихря, свистопляса:
 Быль царей и явь большевиков.

Вольность/произвол противопоставлены в русской ментальности понятию *свободы*, имеющей ограничение или продолжение в свободе другого человека. Этот диагноз получил подтверждение в творчестве Достоевского, обожавшего Россию, верившего, что она скажет новое *всеевропейское* слово, но показавшего возможность возникновения из «карамазовской стихии» всеразрушающего бунта. «Нет оснований нашему обществу, не выжито правил, потому что и жизни не было. Колоссальное потрясение, — и все прерывается, падает, отрицается, как бы и не существовало. И не внешне лишь, как на Западе, а внутренне, нравственно»²², — писал он. Разумеется, хаос не может создать личность, ибо любая структурированность ему противоположна. В хаосе, где отсутствуют всякие гарантии самого существования, тем менее можно говорить о *свободе человека*.

И тут мы сталкиваемся с весьма важной социокультурной проблемой. В том обществе, где человек не сам по себе, а лишь частица единой силы, единого обще-

²² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти тт. Т. XVI. Л., 1976, с. 329. Курсив Достоевского.

ства, этот человек оказывается чрезвычайно одинок и незащищен. Государство не печется об отдельном человеке. Он может полагаться только на собственную изворотливость, умение терпеть и быть незаметным. Иными словами, не имея сообщества независимых людей, которые могли бы ему помочь, он, не становясь личностью, становится гораздо большим индивидуалистом, чем любой «пресловутый буржуй» на Западе. На правительство у него надежды нет, а близкий его, как он понимает, столь же бессилён. В периоды катастроф (скажем, сталинских репрессий) жизнь по принципу «каждый за себя» выявила себя как ведущая общественная константа. «Время ужасающего индивидуализма, хищничества, зависти, бессердечия к чужим страданиям...»²³ — так определил постреволюционную Россию Бунин. В хаотическом броуновском движении людей-молекул не существовало защитной гавани.

А строение человеческого общества невозможно без строения личности. Эту болезненную точку исторического развития России нащупали и указали на нее «Вехи», выступившие против российского неумения работать, праздности, желания потреблять, не давая, уравниловки вместо творчества. Пафос сборника заключался в утверждении пути религиозного самосотворения личности, создании — на основе православия — этики наподобие протестантской. Предводителем грядущего взрыва русской стихии пророчески была объявлена русская интеллигенция, вынужденная исторически превратиться в своего рода боевой монашеский орден. Освобождение от внешнего гнета мыслилось авторами «Вех» как результат освобождения от внутреннего рабства; или, как написал в предисловии к сборнику М. О. Гершензон, «внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и <...> она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства»²⁴.

Но предупреждения так и оставались предупреждениями. Фиксируя проблему, «Вехи» не предложили *иного пути*, кроме реформированного и идеализированного православия. Однако бесплодие данной формы христианства для становления личностного сознания обнаруживало себя не раз. Достаточно привести слова такого консерватора и сторонника самодержавия, как Катков, чтобы убедиться, что проблема беспомощности православия волновала и его апологетов и защитников: «Мы, по-видимому, с величайшею заботливостью охраняем нашу православную церковь; но в способах, которые для этого нами употребляются, не видно, чтобы мы были убеждены в ее истине и были уверены в ее силе. Мы охраняем ее как политическое учреждение и для этого слишком жертвуем ею как великою Христианскою церковью. Мы довольствуемся тем, чтоб она представляла собою хорошо выработанный бюрократический механизм, и весьма естественно, что она дает у нас только такие результаты, которые свойственны механизму этого рода»²⁵.

И в период Октябрьской революции православная церковь, как и лидеры неоправославного движения, оказалась бессильна перед российским бунтом. С. Л. Франк (*словно в очередной раз дух Чаадаева явился очередному русскому мыслителю*) назвал Октябрьскую революцию и гражданскую войну результатом «стихийного, неотменимого и непоправимого геологического переворота духа»²⁶. Лозунги, клонившиеся к уничтожению всего особого, личного, индивидуального, были подхвачены восставшей стихией, разбушевавшимся хаосом. Философ-монархист И. А. Ильин именно недостаток личностного начала считал причиной «разложения фронта и большевистской революции со всеми ее последствиями», добавляя: «Это не значит, что личная духовность совсем отсутствовала в России. Но в массах она была не укреплена, не воспитана и не организована, а в смысле государственного разума и навыка совершенно слаба <...> Русскому человеку предстоит сделаться из «особи» — **личностью**, из соблазняемого «шатуна» — **характером**, из «тяглеца» и «бунтовщика» — **свободным и лояльным гражданином**. Тогда Россия окончательно превратится из песчаного вихря — в художественное здание несокрушимой прочности»²⁷.

²³ Бунин Иван. Великий дурман. М., 1997, с. 113.

²⁴ Вехи. Из глубины. М., 1991, с. 10.

²⁵ Катков М. Н. О церкви. М., 1905, с. 20.

²⁶ Франк С. Л. Крушение кумиров. The YMCA—PRESS Ltd. Берлин, 1924, с. 47. (Курсив мой.— В. К.)

²⁷ Ильин И. А. Возникновение и преодоление большевизма в России. В кн.: Ильин И. А. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. В 2-х тт. Т. I, М., 1992, с. 246—247. Выделено И. А. Ильиным.

К чему приводит отказ от личностного принципа

Когда-то Кант назвал человека целью в себе, а Гегель отнес этот принцип автономного и свободного индивида к историческому процессу, заявив, что «всемирная история есть прогресс в сознании свободы — прогресс, который мы должны познать в его необходимости»²⁸. Интересно, что при этом он не рассматривал Россию как историческое явление, на которое нисходит мировой дух, что так оскорбило славянофилов, заявивших, что Россия — следующий шаг в движении мирового исторического духа. Потом эту идею подхватил Герцен, объединив ее с идеей социализма, восприимчивой которого и предназначена быть Россия. После победы большевиков стало говорить во всех учебниках, что центр исторического процесса переместился в Россию.

Г. П. Федотов, применив к российской истории формулу Гегеля, именно в эти годы торжества по поводу вхождения в центр исторического процесса писал: «Весь процесс исторического развития на Руси стал обратным западноевропейскому: это было развитие от свободы к рабству. Рабство диктовалось не капризом властителей, а новым национальным заданием: создания Империи на скудном экономическом базисе. Только крайним и всеобщим напряжением, железной дисциплиной, страшными жертвами могло существовать это нищее, варварское, бесконечно разрастающееся государство»²⁹.

Но так ли уж уникальна Россия в своем движении *от* гуманизма и отказа от разума как основы лично-независимого существования человека? Напомню мысль Гегеля: «Человек является целью в себе самом лишь благодаря тому божественному началу, которое имеется в нем и которое сперва было названо *разумом*, а поскольку оно проявляется в деятельности и само себя определяет, — *свободой*»³⁰. Стоит вспомнить почти глобальную фашизацию Европы в XX веке, когда страны вроде с утвердившимся личностным принципом (такие, как Италия или Германия, которую Гегель, скажем, считал избранной носительницей принципа личности) объявили охоту на разум, на независимость мысли и духа, как *чума* (А. Камю), поражая тех, кто не хотел сдаться, и *оносороживая* (термин Э. Ионеско) податливую массу, превращая ее в животных, живущих законом стаи или роя, но не человеческого общегития.

Томас Манн именно в Германии (вопреки гегелевской вере) увидел возврат к антигуманизму и описал его принципы еще до победы Гитлера. В 1930 г., выступая в Бетховенском зале в Берлине, он фиксировал следующее: «Из этой религиозности в почитании природы, в сущности своей склонной к безудержному, к вакхической необузданности, многое воспринято национал-социализмом наших дней. <...> Но если подумать, чего стоило человечеству — мы говорим об истории религии — подняться от культа природы, от варварски рафинированной гностики и сексуально окрашенных излишеств в служении Молоху, Ваалу, Астарте до более духовного поклонения, то удивляешься легкости, с которой сегодня <...> приветствуют зыбкий, почти эфемерный, а по существу лишенный всякого смысла отказ от гуманизма»³¹.

Подобная смена ориентиров привела не только Россию, но и страны более европейские к своего рода выпадению из Европы, упразднению индивидуальной свободы мысли. Итальянец Альберто Савинио нацизм и тоталитаризм называл опухолью, возникшей в сердце Европы. Он ненавидел Муссолини как врага европеизма. Но еще больше Гитлера и Германию, которые, на его взгляд (и здесь он совпадает с Томасом Манном), в своем отказе от европейского гуманизма вернулись не просто на природный, но на почти допотопный уровень. Голоса гитлеровских солдат, вошедших в его сад, заставили его представить себе «зловещее карканье птеродактиля или холодающий душу свист плезиозавра. Допотопный голос нарушил всегдашнее безмолвие леса»³².

Один из тех немцев, что вынес на себе всю тяжесть немецкой вины, ставший совестью Германии, всем своим творчеством возвращавший свою страну в систему европеизма писатель Генрих Бёлль замечал, что сразу после войны он «не мог себе представить, что Германия снова будет существовать в какой-нибудь форме»³³, ибо

²⁸ Гегель. *Философия истории*. Соч. Т. VIII. М.— Л., 1935, с. 19.

²⁹ Федотов Г. П. *Ук. соч.* Т. II, с. 284.

³⁰ Гегель. *Ук. соч.*, с. 33. Курсив мой. — В. К.

³¹ Манн Томас. *Немецкая речь. Призыв к разуму*. В кн.: Манн Томас. *О немцах и евреях*. Библиотека — Алия. Printed in Israel. 1990, с. 124.

³² Савинио Альберто. Из «*Новой энциклопедии*». В кн.: Савинио Альберто. *Вся жизнь*. М., 1990, с. 49.

³³ Бёлль Генрих. *Каждый день умирает частица свободы*. М., 1989, с. 343.

тогда «быть немцем — это не красиво»³⁴. Но выхода не было — надо было либо снова очеловечиваться, либо оставаться на дочеловеческом — с господством ящеров — уровне, который автоматическим исключал страну из исторического процесса, ибо история (если она развивается) есть явление, заданное личностным принципом антично-иудео-христианской инициативы. Уничтожить и вырезать опухоль тоталитаризма, резюмировал Савинио, «есть для Европы прежде всего вопрос личной гигиены»³⁵. И с уверенностью добавлял, что хотя тоталитаризм есть порождение Азии, «он может родиться и в Европе, ибо и в Европе рождаются чудовища. Но Европа истребляет его. Любой тоталитаризм обречен в Европе на смерть»³⁶.

Иными словами, личностный принцип есть порождение Европы. Значит, вопрос в том, может ли Россия считать себя Европой, способна ли она изжить в себе привнесенные Степью привычки или не способна. На мой взгляд, все геополитические усилия России, по крайней мере с Петра Великого, несмотря на все откаты, есть упорное стремление вернуться в Европу, с которой ее связывают новгородско-киевский пролог нашей истории, христианство, наконец язык, европейский по своему составу и принципам; ведь русская культура органически входит как уже неотъемлемая часть именно в европейскую культуру, а не в африканскую, азиатскую или вымышленно-фантазмагорическую евразийскую.

Трудно это возвращение? Неимоверно трудно. Тот же Бёлль очень точно опередил подобную задачу для Германии. Во «Франкфуртских лекциях» он написал: «Теодором Адорно были сказаны великие слова: после Освенцима уже нельзя писать стихи. Я хочу продолжить его мысль: после Освенцима уже нельзя дышать, есть, любить, читать; кто сделал первый вдох, кто всего лишь закурил сигарету, тот сознательно решил выжить — читать, писать, есть, любить»³⁷. Иными словами, альтернатива проста: либо умирание культуры, либо преодоление ее «допотопных элементов». Не случайно предупреждение многих российских философов-эмигрантов, с тревогой размышлявших о будущем своей Родины и отказавшихся (после горького исторического опыта) от всевозможных мифологем — почвы, народности и соборности: «Когда мы помышляем о грядущей России, то мы должны прежде всего поставить перед собой основной вопрос: **на чем мы будем строить грядущую Россию — на личности или на обезличении человека.** Этим определяется и предreshается многое, основное, может быть, — **все**»³⁸.

Деструкция личности ведет к деструкции общества, которое способно держаться лишь жесточайшим насилием и принуждением, если отсутствует самостоятельный индивид. «Будь в России хоть горсть цельных людей с развитым сознанием, — писал М. О. Гершензон, — т. е. таких, в которых высокий строй мыслей органически претворен в личность, — деспотизм был бы невыслим...»³⁹ В сущности, Гершензон описывает то состояние российского хаоса, которое в XX веке привело Россию к состоянию невиданного дотоле деспотизма, к установлению общественного порядка чудовищным насилием. Тоталитаризм в каком-то смысле напоминает медицинский корсет, одеваемый на человеческое тело с нетвердым позвоночником, на тело, не умеющее самостоятельно держать свою структуру. Отсутствие личностного принципа порождает гораздо более страшный распад общества, чем любая буржуазная «война всех против всех». Террор способен держать какое-то время общество в иллюзии слаженно работающего механизма. Но прекращение террора подобно снятию корсета с так и не окрепшего тела. Лишившись внешних скреп, оно моментально перестает существовать. После Ивана Грозного началась Смута. А сталинский режим выродился в декадентско-упадочный брежневский застой, закономерно перешедший в горбачевско-перестроечное разложение всей системы общественно-хозяйственных и духовных связей.

Оставив в стороне параллели с западноевропейскими фашистскими режимами и трудным возвращением Германии, Италии, Испании и других стран к личностному принципу жизни, мы должны отчетливо ответить сами себе по крайней мере на два вопроса: 1) А есть ли *нам* к чему возвращаться? 2) Если личность у нас все же была, то возможно ли не только восстановление, но и утверждение личностного принципа в России?

³⁴ Там же, с. 344.

³⁵ Савинио Альберто. Вся жизнь, с. 35.

³⁶ Там же, с. 45.

³⁷ Бёлль Генрих. Каждый день умирает частица свободы, с. 51—52.

³⁸ Ильин И. А. Большевик как соблазн и гибель. В кн.: Ильин И. А. Наши задачи. Т. I, с. 238. Выделено И. А. Ильиным.

³⁹ Гершензон М. О. Творческое самосознание. В кн.: Вехи. Из глубины. М., 1991, с. 81.

Петровский период: попытки структурирования

В самом начале споров западников и славянофилов К. Д. Кавелин заявил: «В Петре Великом личность на русской почве вступила в свои безусловные права, отделилась от непосредственных, природных, исключительно национальных определений, победила их и подчинила себе. Вся частная жизнь Петра, вся его государственная деятельность есть первая фаза осуществления начала личности в русской истории»⁴⁰. Если даже принять это утверждение, то все равно остается существенный вопрос (и его справедливо задавали славянофилы): можно ли проводить результирующую от личности Петра к появлению личности в стране? Правда, здесь есть аргумент чрезвычайной важности — явление Пушкина, который считал *себя и свое творчество* прямым следствием петровских реформ. Но насколько прочны были петровские преобразования?

Петр попытался среди хаоса, среди «тьмы лесов» и «топи блат» создать структуру, неподвластную стихии. Петр строил, творил среду, необходимую для цивилизации страны, то есть то, что западноевропейские народы имели как наследие античного мира. Именно это чудо воспел Пушкин в «Медном всаднике»:

По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Сюда со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова.

Строительство Петербурга по образцу самой передовой и самой развитой на тот момент в торговом и промышленном отношении страны Голландии, по образцу Амстердама, создавало твердую материальную оболочку, форму, внутри которой должен был соиздаться цивилизованный русский человек. Гениальным чутьем Преобразователя Петр чувствовал, что без сильных личностей во всех слоях общества Россия обречена на прозябание, на выход из истории. И стремился сделать все, на что ему было отпущено время. De facto он делает поместный принцип наследственным (приближая тем самым поместье к частнособственническому владению). Юридически уравнение поместья в правах с вотчиной закрепляет Екатерина Вторая.

Построив Петербург, первый русский император восстановил европейский стиль жизни в России. Петербуржец, несмотря на государственное чиновничество, — европейский человек, который уже помышляет о личном достоинстве. Вспомним характеристику Евгения из «Медного всадника»:

О чем же думал он? о том,
Что был он беден, *что трудом*
Он должен был себе доставить
И независимость и честь.

(Курсив мой.— В. К.)

Городу, ушедшему с Запада на Восток (Константинополю), построенному римским императором Константином, Петр противопоставил город, восстанавливавший связь Восточной Европы с Западной, город, построенный русским императором. Объясняясь в любви Северной Пальмире, городу, которой ввел в Россию Европу, а тем самым и русских сблизил жизненно с Западом, Пушкин тем не менее всем содержанием своей великой поэмы задает трагический вопрос: а прочно ли государственное строительство? Прекрасно поставить среди неусмирленного хаоса европейский город, символизирующий начало порядка, организации, что Пушкин все время подчеркивает («строгий, стройный вид»), обуздать стихию («в гранит оделася Нева»). Однако «умирится» ли с этой постройкой «побежденная стихия»? Быть может, она не размочит гранит государства, но вот не «смоет» ли она из этих структур возникшего там индивида? «В этой поэме, — писал Белинский, — мы видим горестную участь личности»⁴¹.

Жизненная позиция Евгения, безусловно, близка программно заявленному мироощущению сентименталиста Карамзина, первого певца складывающейся в России европейской личности, прочитавшего русскую историю глазами европейца,

⁴⁰ Кавелин К. Д. Наш умственный строй, с. 59.

⁴¹ Белинский В. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1955, с. 547.

ищущего в хаосе фактов *исторические характеры* (не случайно его имя поминается в рассуждении о «прозваньи» героя поэмы: «И под пером Карамзина // В родных преданьях прозвучало»). Мечты героя типичны для тех первых научившихся *чувствовать свою особность, свою индивидуальность* русских дворян:

Он кое-как себе устроит
Приют смиренный и простой
И в нем Парашу успокоит.
.....
«...И станем жить — и так до гроба
Рука с рукой дойдем мы оба,
И внуки нас похоронят...»

Стоит сравнить эти строки с карамзинским «Посланием к Александру Алексеевичу Плещееву» (1794), там такая же программа независимой от власти и стихий жизни:

Кто малым может быть доволен,
Не скован в чувствах, духом волен,
Не есть чинов, богатства льстец..
.....
Шумящих ветров не робеет,
Под солнцем домик свой имеет...
.....
Тот в мире с миром уживется.

Но Пушкин прозорливее и тревожнее. Он не видит гарантии, что структура державного города способна защитить народившуюся личность, дать подлинную преграду усмиренной стихии, скованной железной рукой *извне*, но не просветленной *изнутри*. Он не уверен, что эта стихийная бездна (которая при этом не *под*, а *над*: «волей роковой // Под морем город основался...») не хлынет на обитателей новоявленной европейской структуры. Поэма — о наводнении. Но изображенное бедствие потопа вполне символично. Пушкин сознательно вызывает в сознании читателя параллель с разбойной пугачевской войной:

Но вот, насытясь разрушеньем
И наглым буйством утомясь,
Нева обратно повлеклась,
Своим любясь возмущеньем
И покидая с небреженьем
Свою добычу. Так злодей,
С свирепой шайкою своей
В село ворвавшись, ломит, режет,
Крушит и грабит; вопли, скрежет,
Насилье, брань, тревога, вой!..
И, грабежом отягощенны,
Боясь погони, утомленны,
Спешат разбойники домой,
Добычу на пути роняя.

Пушкин твердил о стойкости и неколебимости града Петрова как центра и сути России. Но он же провидел опасность пучины, которая смоеет все достижения Петра, что постфактум подтвердил Бунин в трагическом стихотворении «День памяти Петра» (1925):

Где град Петра? И чьей рукой
Его краса, его твердьни
И алтари разорены?
*Хлябь, хаос — царство Сатаны,
Губящего слепой стихией.*
И вот дохнул он над Россией,
Восстал на Божий строй и лад —
И скрыл пучиной окаянной
Великий и священный Град,
Петром и Пушкиным созданный.

Пушкинская поэма о беззащитности человека перед стихией, о неспособности государства защитить его, по сути дела, говорила о том, что в системе государственного устройства и просвещения человек не учитывается, а следовательно, самодержавное государство на самом деле вступает в конфликт с необходимостью развития самодельного индивида, основывая развитие страны отнюдь не на принципе личности. Спустя менее чем двадцать лет эту ситуацию фиксировал Герцен: «Власть и мысль, императорские указы и гуманное слово, самодержавие и цивилизация не

могли больше идти рядом»⁴². Поэтому с такой легкостью был разрушен петровский замысел преобразования России — не прошло и двухсот лет со дня его рождения. Личность оказалась самодержавным государством невостремованной, а потому после наступления царства Сатаны уцелевшие — временно — от потопа могли лишь констатировать гибель великого замысла Петра.

Стихи Мандельштама 1930 г.— страшное завершение петербургского цикла. Город умер, умерли носители личностных смыслов... И лишь последний, который, по его же словам, «один на всех путях», приползает в этот город вспомнить о былой жизни, некогда здесь состоявшейся и погибшей:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда, так глотай же скорей
Рыбий жир ленинградских речных фонарей,

Узнавай же скорее декабрьский денек,
Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! Я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.

Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.

Это не просто трагедия маленького человека, обойденного эпохой. Это отголосок пушкинского: «Люблю тебя, Петра творенье!..» Творенье уничтожено потопом, и до последнего поэта доносятся только голоса мертвецов. Петрополь умер, остался случайно уцелевший его житель. Это уже предсказано им в стихотворении 1918 г., в обращении к небесной звезде — покровительнице города:

Прозрачная звезда, блуждающий огонь,—
Твой брат, Петрополь, умирает!

В потоке, описанном Пушкиным, город еще умудряется уцелеть: «И всплыл Петрополь, как тритон...» От нового наводнения защиты нет никакой.

Самодержавный Петрополь не защитил личность. Народ в революцию выбросил, как ненужный для жизни балласт, всякие личностные терзания и стремления. Ибо самодержавное государство боялось личностного начала не только в образованном обществе, но и в народе. Недаром столыпинские реформы не только запоздали, но и встретили мощное административное сопротивление.

Несмотря на кажущуюся внешнюю мощь российского государства, бравшего на себя все проблемы устройства жизни своей страны, оно, по сути дела, было слабо, а потому опасалось любого независимого проявления человеческой деятельности — в духовной ли области, в экономической или в политической... Не случайно П. Н. Милюков настаивал «на крайней слабости всей *государственной* надстройки, при всем ее видимом могуществе, на отсталости ее экономической основы — и, в результате, неорганичности и непрочности ее развития. <...> Самый рост деспотизма государства в процессе исторического строительства являлся <...> столько же причиной, сколько и следствием слабости социального расслоения русского общества»⁴³.

Общество contra государства, или Новый тип личности

С реформ Екатерины Второй в стране формально устанавливается и юридически закрепляется *принцип частной собственности*. Условие для появления личности необходимое, но недостаточное. К этому фактору было добавлено и другое условие — введение в Россию принципа западноевропейской свободы. Государство попыталось само ограничить произвол своей власти. Целое сословие — дворянство —

⁴² Герцен А. И. Ук. соч. Т. VII, с. 192.

⁴³ Милюков П. Н. Очерки по истории русской культуры. В 3-х тт. Т. I. М., 1993, с. 38.

было избавлено от телесных наказаний и обязательной службы. (Дворянское «те-ло» получило *свободу от.*) Однако укоренение принципа личности требует *исторического времени* (по Пушкину, *лет пятьсот*).

На этот счет мы можем найти поразительные рассуждения в русской классической литературе. Появившаяся личность чувствует себя ненужной и лишней в России. Очень хорошо поясняет причину подобной тоски и совершенно экзистенциального чувства заброшенности, одиночества такой ненужный и лишний человек — тургеневский герой Рудин: «Строить я никогда ничего не умел; да и мудрено, брат, строить, когда и почвы-то под ногами нету, когда самому приходится собственный фундамент создавать!»

«Собственный свой фундамент создавать» — задача неимоверно трудная, когда «и почвы-то под ногами нету». Конечно же, эти герои не были пропащими людьми, были носителями «беспокойного творческого духа и энергии, способной приводить в движение мысль и деятельность других»⁴⁴. Это смутно чувствуют даже антагонисты тургеневского героя. Лежнев говорит на прощание Рудину: «Ты назвал себя Вечным Жидом... А почему ты знаешь, может быть, тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное назначение...» Характерна фамилия героя, происходящая от слова *руда*, то есть не бросовый шлак, а порода, которая содержит в себе ценные для человеческой жизни вещества.

Рудин, когда-то прошедший школу немецкой философии в Германии, — проповедник иной системы ценностей, погибает, как и всякий трагический герой, но, как и следует, его гибель не остается бесплодной: эти «лишние люди», *эти Рудины стали той рудой, из которой вылавлялся фундамент русской культуры*. Рудин еще не герой действия, он герой слова, но слово его меняет душу окружающих: «Какие сладкие мгновения переживала Наталья, когда, бывало, в саду, на скамейке, в легкой, сквозной тени ясеня, Рудин начнет читать ей гетевского «Фауста», Гофмана, или «Письма» Беттины, или Новалиса, беспрестанно останавливаясь и толкуя то, что ей казалось темным! Она по-немецки говорила плохо, как почти все наши барышни, но понимала хорошо, а Рудин был весь погружен в германскую поэзию, в германский романтический и философский мир и увлекал ее за собой в те заповедные страны. Неведомые, прекрасные, раскрывались они перед ее внимательным взором: со страниц книги, которую Рудин держал в руках, дивные образы, новые, светлые мысли так и лились звенящими струями ей в душу, и в сердце ее, потрясенном благородной радостью великих ощущений, тихо вспыхивала и разгоралась святая искра восторга...»

Подчеркнем, что это не слова персонажа, а слова самого автора: они заслуживают того, чтобы быть прочитанными медленно, вдумчиво, с остановкой почти на каждом слове. Перед нами картина духовного пробуждения и становления человеческой личности.

Герцен полагал необходимым просветить самобытные формы русской культуры идеями, выработанными в Европе, внести в Россию «идею свободной личности», которую, по словам Герцена, славянофилы смешивали «с идеей узкого эгоизма». Будучи «общинником», как и славянофилы, этот, пожалуй, самый не вписывающийся ни в какие рамки мыслитель, в отличие от своих «друзей-врагов», то есть славянофилов, считал, что без фермента личности община не в состоянии освободить себя: «Община не спасла крестьянина от закрепощения; далекие от мысли отрицать значение общины, мы дрожим за нее, ибо, по сути дела, нет ничего устойчивого без свободы личности» (VII, 242).

Откуда, однако, взяты *сегодня и сейчас* этой личности? Самодержавие, одной рукой «сея европейское просвещение», другой строило заградительные сооружения европейским идеям свободы. Каковы же шансы появления личности в стране, которая не имеет почвы для ее становления?

В западноевропейских странах достаточно рано и прочно сложились социальные институты и корпоративные устройства разных типов: от религиозных общин, цехов, городских коммун, института парламента (уже в эпоху Средневековья) до научно-экономических сообществ, политических партий и гражданских обществ в Новое время. Эти структуры всегда брали под защиту от любых притеснений своих членов, осуществляя тем самым необходимую предпосылку появления личности — *свободу от*. В России, по сути дела, до конца прошлого века отсутствовали союзы и корпорации, не обслуживавшие бы в той или иной степени государство. Поэтому они не могли ходатайствовать перед верховной властью за представителей своего

⁴⁴ Лотман Л. М. Реализм русской литературы 60-х годов XIX века. Л., 1974, с. 13.

сообщества, добиваясь для него собственных прав и свобод (община, как известно, находилась в полной фискальной зависимости от помещика и, разумеется, царских чиновников).

Такая ситуация требовала появления человека, говорящего за всех, за весь народ, обязанного быть при этом лично бесстрашным, ибо не было за ним реальной силы, способной его защитить. В западноевропейской философии существуют два классических понятия, описывающих наиболее типичные ситуации общества западного типа: **свобода от** и **свобода для**. Первая (то есть *свобода от*) предполагает необходимость избавления от внешнего принуждения, гарантии прав, собственности и независимости человека. Вторая (то есть *свобода для*) указывает на принцип творческой реализации личности и осуществляется только при достижении *свободы от*.

Однако в человеческой истории, в том числе европейской, существовали периоды, когда, не имея *свободы от* и даже не требуя ее, человек опирался на *свободу вопреки*, то есть осуществлял свою творческую самореализацию вопреки и помимо внешних обстоятельств, как бы не обращая на них внимание. Как правило, это случалось в эпохи острых религиозных кризисов. Таковы ветхозаветные пророки, таков Христос и его апостолы, отдававшие «цесарю цесарево», но никогда не отдававшие Божие, никогда не жертвовавшие своей внутренней сущностью. Начиная по крайней мере с протопопа Аввакума, в России рождается именно этот принцип *свободы вопреки*, который мог опираться и опирался только на личную жертвенность. Впервые тогда в России возникает *новый тип личности*, который не идет вместе с государством, а отстаивает себя *вопреки власти*, за свое слово отвечая жизнью. Разумеется, когда государство стояло во главе просвещения, тогда с ним рядом находились люди классического европейского типа — первые христианские подвижники на Руси или такие поэты, как Державин и Пушкин.

Особенность России XIX века была в том, что подобная *личность вопреки* проснулась в литературе, а не в религиозном движении. Причина тому вполне понятная. Государство в страхе перед европейскими революционными переменами ставит барьер контактам с Европой, а европейски ориентированная личность уже состоялась в России и вынуждена как-то отстаивать свои права. Но как? Об этом в связи с судьбой Чаадаева очень точно сказал иронически суровый Чернышевский (сам впоследствии названный «пророком»): «Чаадаев принимал на себя звание *проповедника*, то есть звание, не принадлежащее светскому человеку»⁴⁵. Но именно этот пророчески-проповеднический, обличительный пафос до и после крушения краткого ренессансно-пушкинского периода одушевлял всю великую русскую литературу. Ряд таких писателей весьма значителен: Радищев, Гоголь, Чаадаев, Лермонтов, Чернышевский, Лев Толстой, Достоевский, Маяковский, Андрей Платонов, Мандельштам... Об этой позиции русского художника трагические строки Анны Ахматовой 1922 г. — *о жизни в гибели, в катастрофе*:

А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

Русский поэт «не отклоняет от себя» «ни единого удара» судьбы. Только так он может выковать свою свободу для творчества: лишенный помощи социальных структур, *самим собой преодолев* катастрофы жизни и истории. Он собой являет *пример личности, но личности вопреки*. Доказывая, что и внутри хаоса возможно структурирование себя. Расплата за это — непомерная. На Западе литература уже к XIX веку автономизировалась, писательство стало литературным делом, а не делом и подвигом жизни. В западной литературе речь могла идти о подвиге художника, всем жертвующего ради своего искусства, в России речь шла о личной жертве, о жертве собственным своим существованием, собственным «телом», что позволяло прорваться к творческой *свободе для*. Достаточно сравнить суд над Достоевским и, скажем, Флобером, чтобы понять, что в первом случае осуждался человек, посмевший стать личностью, а во втором пытались осудить, да и то неудачно, художественное произведение.

Рассуждая о становлении русского общества и независимой личности, что для него тесно связано с проблемой культурного и социально-исторического развития России, Герцен спрашивает себя: где гарантии, что Россия в состоянии усвоить высокие духовные ценности, выработанные европейской цивилизацией на протяжении двух тысячелетий, точнее, ее последнее слово, и не только усвоить, но и выстроить

⁴⁵ Чернышевский Н. Г. Ук. соч. Т. VII, с. 595. Курсив мой.— В. К.

на фундаменте этого Слова — Будущее? Эти гарантии, эти возможности Герцен отыскивает — в русской литературе.

Говоря о литературе и искусстве, он напрямую связывает литературное развитие с революционным. Это оправдано в случае с декабристами. Но, описывая ситуацию после поражения декабристов и показывая, что за малейший неверный шаг, за простые социальные споры, за чтение книжек, сочинение стихов и поэм, по малейшему подозрению в крамоле люди шли на каторгу и в солдатчину, рассказывая о дальнейшем развитии литературных и философских споров, когда уже не было никаких революционных заговоров, тем паче партий, а единичные кружки, которые только намеревались что-то делать, разгромлены (как петрашевцы), Герцен уверен, что описывает не просто литературное, а революционное движение, развитие революционных идей. *Литература и искусство становятся под его пером синонимами революционной деятельности.*

Чтобы понять, отчего независимость, критический пафос русской литературы являются выражением революционности, вспомним постоянные, почти навязчивые рассуждения русских Любомудров о личности как высшей точке развития человечества, которая показывает его выход из состояния первобытного коллективизма. К примеру, Н. А. Бердяев писал: «Без общественного разделения труда никогда личность не могла бы подняться, не могла бы выделиться из первоначального коммунизма равной тьмы. Индивидуальность, личность человеческая не дана изначально, она в потенциальном состоянии дремлет в хаотической мгле, в зверином равенстве и освобождается, поднимается и развивается лишь путем трагической истории, путем жертв и борьбы»⁴⁶. В этой же работе он замечал: «Исконный русский коллективизм всегда был враждебен культуре, враждебен личному началу, всегда тянул нас вниз, всегда мешал нам выйти к свету, в мировую ширь. Этот коллективизм парализовал у нас чувство личной ответственности и делал невозможной личную инициативу»⁴⁷. На этот народный коллективизм не случайно накладывалась власть самодержавия. Вся деспотия в России строится на отсутствии личностного начала, полагал Герцен. Но именно этот фермент, эту «закваску» деятельности, личностного начала, свободы и внесила в русскую жизнь русская литература. Иными словами, она совершила не политическую, а социально-культурную революцию.

Казалось бы, хаос культуры постепенно побеждался космосом цивилизации. Неимоверное количество талантов русской литературы говорит само за себя. По справедливому наблюдению П. М. Бицилли, «чем цивилизованней народ, чем более общенациональная культура преобладает над культурами отдельных слоев и областей, тем теснее и определеннее границы языкового творчества, но и тем свободнее индивидуальное творчество в этих границах. Как раз тогда, когда грамматика уже отвердела и не поддается натиску «ошибок», открывается простор для индивидуального творчества в области стиля, этой вообще единственной области, где личность может проявить себя вполне, то есть противопоставив себя коллективу. Покуда коллектив не имеет своей собственной, определенной и прочной структуры, для этой свободы личного творчества нет почвы. Лишь после обращения хаоса в космос явился Человек. Структура русского общего языка с конца XVIII — начала XIX в. остается почти неизменной. И именно благодаря закреплению ее возможно было появление стольких и столь своеобразных, столь несхожих между собою мастеров русского художественного, то есть выразительного, выражающего конкретную личность и конкретную мысль, слова»⁴⁸.

Но литература у нас была особая. Это была своего рода независимая церковь внутри государства, которая вместо официальной церкви вносила в сознание людей основные ценностные понятия (о Добре и Зле, об отношении к государству, церкви, труду, частной жизни и т. п.). Недаром государство даже в самые светлые свои периоды литературы опасалось. Герцен предъявил страшный мартиролог деятелей культуры, погубленных самодержавием. В истории России можно найти только один аналог подобному социокультурному явлению. Это — старообрядчество. Недаром первым личностным русским писателем был старообрядческий протопоп Авакум.

Феномен старообрядчества — один из самых значительных для понимания судьбы русской культуры. Никонианские нововведения, в сущности, были инициированы государством: «Не Никонъ, патриархъ съ 1652-го года, был начинателемъ или

⁴⁶ Бердяев Николай. Философия неравенства. М., 1990, с. 67.

⁴⁷ Там же, с. 39.

⁴⁸ Бицилли П. М. Язык и народность. В кн.: Бицилли П. М. Избранные труды по филологии. М., 1996, с. 144.

изобретателем этого обрядового и бытового равнения по грекамъ. «Реформа» была решена и продумана во дворце. И Никонъ былъ привлеченъ къ уже начатому делу, быть введенъ и посвященъ въ уже разработанные планы»⁴⁹. Среди непринявших поначалу вроде бы по невежеству эти реформы были значительные слои русских людей: и недовольные новой централизацией старинные боярские роды, и вышедшее из народа духовенство, и крестьянство, и посадские низы. Религиозный фанатизм смешался с социальным протестом, а самое главное — с отставанием возможности думать по-своему, без указки сверху. Можно напомнить аввакумовское высказывание, почти напрямую перекликающееся с лютеровским «на том стою и не могу иначе». В своем «Житии» Аввакум прокламирует точно такую же позицию: «Сице аз, протопопъ Аввакум, верую, сице исповедаю, с сим живу и умираю»⁵⁰.

Раскольники проклинали, ссылали в Сибирь, сжигали. Характерно, что знаменитый герой Достоевского, выступающий, как казалось писателю, против целостности российского духа, *носит фамилию Раскольников*. Старообрядцы сопротивлялись, бежали в дикие леса, устраивали там тайные поселения. Более того, были сознательно готовы принять мучения за свою позицию. Приведу хрестоматийный, но чрезвычайно трогательный эпизод из «Жития» Аввакума, нещадно гоняемого властью по необъятной российско-сибирской территории: «Пять недель по лду голу ехали на нартах. Мне под робят и под рухлишко дал две клячки, а сам и протопица брели пеши, убивающесе о лед. Страна варварская, иноземцы немирные, отстать от лошадей не смеем, а за лошедми итти не посеем, голодные и томные люди. Протопица бедная, бредет-бредет да и повалится: кольско гораздо! <...> Я пришоль, на меня, бедная, пеняеть, говоря: «Долго ли муки сея, протопопъ, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя до смерти!» Она же, вздохня, отвечала: «Добро, Петровичъ, ино еще побредемъ»⁵¹. *Случилось небывалое: значительная часть русских людей откололась от русского государства, стала чуть ли не государством в государстве*. Стоит представить количество отколовшихся от основного тела. По переписи 1897 г. население России составляло 116 млн. человек. А старообрядцев и сектантов в эти же годы насчитывалось 13 миллионов человек, то есть почти восьмая часть всего народонаселения.

Безусловно, по форме своего протеста старообрядцы выступали против европеизирующегося государства, но по сути они вообще оказались *вне* всякого государства. Наиболее резко это мироощущение проявилось в одном из направлений (или «толков») старообрядчества — в толке странничества, или «бегунов». «Бегуны» считали, что «апокалипсический зверь» есть царская власть, а потому, чтобы спастись и получить вечное блаженство, нужно от этой власти «таиться и бегати», порвать все связи с государственным миром, уклоняясь от всех гражданских повинностей. Для умеренных толков старообрядчества основным было тоже обособить, выделить себя из окружающего со всех сторон государственно-крепостнического строя жизни. Анархист Бакунин искал в раскольниках возможную силу для социального бунта, но, похоже, он ошибался, хотя Достоевский и поверил его соображениям. Старообрядцы хотели не бунтовать, а спастись, уйти от государства. Возможно, более прав оказался русский консерватор П. П. Цитович, считавший, что раскольники послужат чем-то вроде подкладки для создания в России своего рода третьего сословия⁵².

Дело в том, что эта поначалу религиозная, а затем политическая независимость постепенно влекла за собой и экономическую самостоятельность. Из поколения в поколение воспитывались в старообрядцах сметка, деловитость, экономическая инициатива. Они были сами по себе в огромном государстве и были вынуждены, приучались полагаться только на себя. Старообрядческие общины богатели. Так, руководители федосеевского толка выкупали из крепостничества людей, переходивших в федосеевщину. И получилось, что поневоле старообрядцы были вынуждены отстаивать нечто новое для русского менталитета — независимость духовную и экономическую. Напомню, что крупнейшие русские капиталисты — Морозовы, Гучковы, Третьяковы, Рябушинские и др. — были потомственными старообрядцами. Многие из них стали меценатами, покровителями искусств, крупными книгоиздателями.

Пушкин предпочитал книгопродавца вельможному меценату, ибо книгопродавец не требует от поэта продажи вдохновения. Купец может лишь купить или не ку-

⁴⁹ Флоровский Георгий, прот. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991, с. 63.

⁵⁰ «Житие» Аввакума. В кн.: Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Книга вторая. М., 1989, с. 355.

⁵¹ Там же, с. 368.

⁵² О Цитовиче см. главу в кн.: Кантор В. К. «Средь бурь гражданских и тревоги...». Борьба идей в русской литературе 40—70-х годов XIX века. М., 1988, с. 280—303.

пить рукопись. При экономической независимости дворянского писателя, возможности не писать из-за нужды — эта ситуация была весьма благотворна для развития литературы. Книгопродавец зависел от **спроса**, то есть от мнения публики. «С некоторых пор литература стала у нас ремесло выгодное,— писал Пушкин,— и публика в состоянии дать более денег, нежели его сиятельство такой-то или его высокопревосходительство такой-то»⁵³. А публика, нарождавшееся гражданское общество ждало от поэта слова свободы и не прощали никакого слова, если это слово казалось раблепным по отношению к государству. «В России,— замечал Герцен,— все те, кто читают, ненавидят власть; все те, кто любят ее, не читают вовсе...» (VII, 220).

Пафос старообрядчества тоже в неприятии власти. Была, однако, радикальная разница между последователями страсотерпца-протопопа и воспитанной русской литературой интеллигенцией. На нее пронизательно указал Достоевский в «Преступлении и наказании». Следователь Порфирий Петрович объясняет Родиону Раскольникову, что *некуда ему бежать, некуда скраться*. Мужик может уйти в любую глушь, в любую чащобу, затеряться в одной из беспорядочно разбросанных по крайней России деревень. Приведу одно весьма важное соображение С. М. Соловьева: «Раскольниковство в конце XVII века, несомненно, обнаружилось бы иначе, если б многие из фанатиков должны были оставаться в городах и селах, не имея возможности уйти в далекие, пустынные страны и таким образом избавить от себя общества»⁵⁴. А взыскующий свободы интеллигент вынужден держаться городской цивилизации, в любом другом месте *он пропадет*. Старообрядцы основывали в глухомани свои поселения, столетия воспитывая свою независимость, свою личность *для созидательной деятельности*. А русская интеллигенция поневоле оставалась в цивилизационных центрах наедине с властью. Новый тип личности, вынужденно выбиравший *свободу вопреки, принципиально не может тиражироваться*, ибо должен обладать невероятной силой *внутренним содержанием*, ради осуществления которого он закладывает собственную жизнь. Но иронией судьбы и страхом российского самодержавия перед любым проявлением свободы, подобный *тип «личности вопреки» стал образцом для массового подражания*.

Разумеется, лишь тип, стиль, повадка независимости, ибо большинство только вступило в пору поисков «самостоянья» и исторически не могло еще выработаться в независимую личность. Однако это просвещавшееся уже большинство не получило *свободы от* государственного принуждения и тем самым *свободы для* творческой самореализации. И стиль был выбран самый страшный для судьбы страны — не творчески-созидательный, а протестно-нигилистический, к несчастью, весьма часто перераставший в *произвол* по отношению к другим и, что еще хуже, к первым проблескам собственной личности, которая, как многим казалось, не обладает *самостоятельной ценностью*. «Вспомним, что тысячи и десятки тысяч русских людей <...> спокойно восходили на виселицы, шли в ссылку и в тюремное заключение, отрекались от семьи, богатства, карьеры, даже от духовных благ искусства и науки, к которым многие из них были призваны»⁵⁵. Отсюда случились весьма важные исторические последствия.

И вот какие. При вроде бы ускоренном становлении личностного принципа в России происходит на первый взгляд ничем не объяснимый слом — появление общественных сил, которые полностью попытались этот принцип уничтожить. Вина ли в этом одних большевиков? Скорее всего они были на острие определенного общественного течения, выраставшего *на чувстве вины перед народом* у вырвавшейся из государственных структур, но еще пребывавшей в плену общинных иллюзий интеллигенции. А крестьянство, тем более до столыпинских реформ, не только в сознании, но и реально не могло выйти из круговой поруки общины. Хотя чувство вины вполне объяснимо. Ибо скудная материально российская цивилизация полностью строилась *за счет народа*.

Личность против личностного начала, или Культурно-историческая аберрация

Это, казалось бы, очевидное противоречие было зафиксировано еще в начале века С. Н. Булгаковым, заметившим, что даже безусловные личности в России строят свою жизнь на отрицании самой идеи личности и возможности личностного раз-

⁵³ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. В 10-ти тт. Т. VII. М.— Л., 1951, с. 287.

⁵⁴ Соловьев С. М. Соч. в 18-ти кн. Кн. IV. История России с древнейших времен. М., 1989, с. 290.

⁵⁵ Франк С. Л. Крушение кумиров, с. 19.

вития отечественной культуры. «Крайне непопулярны среди интеллигенции,— писал С. Н. Булгаков,— понятия *личной* нравственности, *личного* самоусовершенствования, выработки *личности* (и, наоборот, особенный, сакраментальный характер имеет слово *общественный*). Хотя интеллигентское мироотношение представляет собой крайнее самоутверждение личности, ее самообожествление, но в своих теориях интеллигенция нещадно гонит эту самую личность, сводя ее чаще всего без остатка на влияние среды и стихийных сил истории»⁵⁶. Примерно в это же время данную ситуацию отмечал и проф. Н. И. Кареев, удивлявшийся тому, что в среде российских мыслящих людей «радовались учению о ничтожности личности сотни и тысячи человеческих личностей и при том большею частью таких, со стороны которых полагалось бы ожидать скорее преувеличенные представления о силах человеческой личности, нежели склонности к ее отрицанию»⁵⁷. Как мы уже пытались показать, причину подобного противоречивого мироощущения, подобного отношения к самой идее личности следует искать в культурно-историческом контексте, сформировавшемся в России в прошлом веке.

В России параллельно возникли и существовали два типа личности: 1) *личность европейского типа*, желавшая жить в правовом пространстве и иметь *свободу от и свободу для*; 2) и характерная для России XIX века *личность вопреки*. Эта последняя жила в невероятным инициирующим воздействием, ибо вся ситуация российской жизни с ее бесправием и государственным давлением подтверждала необходимость протестной позиции. Среди прочих идей, высказанных подлинными *личностями вопреки*, выступавшими против всякого насилия над человеком, против всякой власти, была идея о возникшей власти золотого тельца над народом. При этом, конечно, питалась эта идея как не до конца продуманным опытом Западной Европы, исходя из европейской самокритики, но также и опытом отечественной жизни, где едва появившиеся русские буржуа не осмеливались покуда выступать против государства, предпочитая союз с самодержавием, ибо больших бед ожидали от общинного и лишнего собственности народного «мира».

Позицию личности, отказывающейся от своей самостоятельности, подчиняющей себя роду и видящей в этом гармоническое разрешение проблемы, со ссылкой на природные механизмы выразил благородный князь Кропоткин: «Что всегда было, во все времена — это то, что всегда имелись в мире животном, как и в человеческом роде, большое число особей, которые не понимали, что благо индивида и благо рода, по существу, тождественны. Они не понимали, что цель каждого индивида — жить интенсивной жизнью и что эту наибольшую интенсивность жизни он находит в наиболее полной тождественности, в наиболее полном отождествлении себя самого со всеми теми, кто его окружает. <...> Но никогда, ни в какую эпоху истории ни даже геологии благо индивида не было и не могло быть противоположно благу общества. Во все времена они оставались тождественны, и те, которые лучше других это понимали, всегда жили наиболее полной жизнью»⁵⁸.

Но и он, несмотря на столь явное тяготение к гармоничному решению культурно-социальной противоречия, порождаемого частной собственностью, не слишком принципиально отличался от тех, кто, сам того не понимая, пытался вернуться в первобытно-общинный период, не знавший ни собственности, ни личности: «Экспроприация — вот, стало быть, лозунг, который должен быть признан обязательным для будущей революции. Без этого она не исполнит своей исторической миссии. Полная экспроприация всех тех, кто имеет возможность эксплуатировать человеческие существа: возврат в общее пользование нации всего того, что, оставаясь в руках отдельных лиц, может служить к порабощению одних другими»⁵⁹. С удивлением после победы Октября князь увидел, как идея экспроприации привела к разнузданному бандитизму и массовому истреблению людей, осмеливавшихся думать иначе, чем вожди экспроприаторов. Наивный гуманист рассказывал о своем свидании с Лениным «с истинно младенческим удивлением:

— Оказывается, так убедить этого человека в чем бы то ни было напрасно. Я упрекал его, что он, за покушение на него, казнил две с половиной тысячи человек. Но это не произвело на него никакого впечатления...»⁶⁰. Более того, самого кня-

⁵⁶ Булгаков С. Н. Соч. в двух тт. Т. II. Избранные статьи. М., 1993, с. 323—324. Курсив С. Н. Булгакова.

⁵⁷ Кареев Н. И. Теория личности П. Л. Лаврова. СПб., 1907, с. 5—6.

⁵⁸ Кропоткин П. А. Нравственные начала анархизма. В кн.: Кропоткин П. А. Этика. М., 1991, с. 315.

⁵⁹ Кропоткин П. А. Мысли, суждения, оценки. Там же, с. 452.

⁶⁰ Бунин Иван. Великий дурман, с. 140.

зя экспроприовали, выгнали из Москвы в Дмитров, заставив мерзнуть, есть гнилой хлеб, писать при лучине и умереть без всякой медицинской помощи.

Неприятие Кропоткиным, Львом Толстым, Герценом мещанства, буржуазности, частной собственности, *идеи богатства* как порождения Западной Европы, мешающей ей строить «светлое будущее», было подхвачено левыми радикалами — Нечаевым и Ткачевым, прототипами «Бесов» и прямыми предшественниками ленинского большевизма. В письмах «К старому товарищу», полемизируя с Бакуниным, Огаревым и Нечаевым, Герцен, по существу, преодолевает свою собственную утопически-негативистскую установку, которая, выступая против института частной собственности, против *капитала*, провоцировала на деле инстинкты разрушения цивилизации, но отнюдь не способствовала постройке фундамента Будущего: «Разгулявшаяся сила истребления уничтожит вместе с межевыми знаками и те *предель* сил человеческих, до которых люди достигали во всех направлениях с начала цивилизации» (XX, 593). Именно это понимание развития общества как созидания и накопления духовных ценностей свободы в человеческом творчестве повернуло Герцена от утопических упований к признанию реальных смыслов, реальных завоеваний европейской цивилизации, без которых, как показал, в частности, нечаевский синдром, немисливо строить Будущее, созидающее свободную личность. История не была неудачей в Европе, она создала, как он писал, «капитал, в котором оседала личность и творчество разных времен» (XX, 587). В созидании такого капитала и заключается подлинная революция, преобразующая человечество.

Произошла невероятная культурно-историческая aberrация. Немалую роль сыграл нигилизм, отринувший литературу и те идеи свободы, которые в ней исповедовались. Кумиры же и властители дум тоже вроде бы призывали к одному — смирись, гордый человек, и потрудись на народной ниве! Вся глубокая и сложная диалектика этих призывов — исходившая из того, что нельзя называть личностями людей, не осознавших (а такова была почти вся русская интеллигенция), что политическая свобода немислива без свободы духа, свободы слова, высказывания, без независимого поведения по отношению к любому кружку единомышленников, — прошла мимо сознания российского общества. Речь в России пока что могла идти о медленном процессе *выработки личности*. Историческом процессе, который занимает не одну сотню лет. Дело-то как раз в том, что представители интеллигенции начинали чувствовать себя личностями, но воспринимали это как болезнь, старались избавиться от этого чувства, а для того «слиться с народом».

Думается, Гершензон определил трудность этого процесса достаточно точно: «Казалось бы, ясно, что это самосознание и самовоспитание личности» не какой-нибудь моральный долг, а просто закон человеческой природы, обусловленный самим фактом наличности сознания в человеке. Оно такой же естественный процесс в духовном организме человека, как прорезание зубов или половое созревание в физическом. Но физическое созревание человека не подлежит его вмешательству, в духовном же он не только объект, но и свободный участник. Зубы мудрости непременно прорежутся в свое время, а нормальный ход духовного развития может быть бесконечно искажен историческими условиями, общественными предрассудками и личным заблуждением людей. Такое печальное искажение — духовная жизнь русской интеллигенции»⁶¹.

Почему же жизнь русской интеллигенции, как и ее отношение к проблеме личности, есть «искажение»? Чтобы ответить на этот вопрос, остановимся на странном культурно-историческом казусе. Известно, что революционно настроенная интеллигенция не принимала Достоевского, известно и то, что Достоевский посвятил все свое творчество трагическому изображению метаний именно городской интеллигенции, которую он определил как «случайное семейство» в России. Интересно и то, что Достоевский на Западе и среди ряда русских мыслителей-эмигрантов воспринимался как персоналист, как провозвестник сложнейших проблем *личности*, но в России с легкой руки Мережковского в лучшем случае как *пророк и обличитель русской революции*. Причем для части уцелевшей интеллигенции как предугадавший зверства большевизма, для постреволюционных советских достоевцев как показавший необходимость Октября, ибо «обнажил язву капитализирующей России». Но интереснее другое, что призыв, прозвучавший в знаменитой «пушкинской» речи Достоевского: «По народной вере и правде: «Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве», — был с восторгом подхвачен радикальной молодежью, увидевшей в нем, пусть «клерикально» выраженный, но свой пафос: отказаться от

⁶¹ Гершензон М. О. Творческое самосознание, с. 80.

себя, от своей личности во имя народа. Но Достоевский-то строкой ниже так разъясняет свою мысль: «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. <...> Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен, как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь»⁶².

Но этот указанный Достоевским «несчастный скиталец в родной земле»⁶³ оказался не в состоянии понять себя и свою задачу. А речь шла о свободе как непрременном условии становления личностного принципа. Но не забудем о неукорененности личностного принципа в России. Точнее, слабой укорененности, а отсюда чувство вины перед народом, которому надо послужить. Но вот как? Достоевский ведь тоже твердил о народной правде. И это радикалы принимали. Не принимали лишь сложную диалектику его мысли. Не слышали они и последних слов Льва Толстого: «Если я сам видел особенные черты в русском народе, выделял русских мужиков как обладателей особенно привлекательных сторон, то каюсь. Каюсь и готов отречься от этого»⁶⁴.

История не ходит путями гениев. Она всегда избирает некую результирующую. Такой социокультурной результирующей стала в России рубежа веков интеллигенция, усвоившая, к сожалению, только поверхностный смысл гениальных откровений. По рассуждению Достоевского, после крушения патриархальных обществ «наступает время переходное, то есть дальнейшее развитие, то есть цивилизация. (Цивилизация есть время переходное.) В этом дальнейшем развитии наступает феномен, новый факт, которого никому не миновать, это — развитие личного сознания и отрицание непосредственных идей и законов (авторитетных, патриархальных, законов масс). Человек как личность всегда в этом состоянии своего общегенетического роста становился во враждебное, отрицательное отношение к авторитетному закону масс и *всех*. Терял поэтому *всегда* веру и в Бога. <...> Это состояние, то есть распадение масс на личности, иначе цивилизация, есть состояние болезненное. Потеря живой идеи о Боге тому свидетельствует. Второе свидетельство, что это есть болезнь, есть то, что человек в этом состоянии чувствует себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни, не знает непосредственных ощущений и все сознает.

Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели — мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указан Христос. (NB! Ни один атеист, оспориавший божественное происхождение Христа, не отрицал того, что ОН — идеал человечества. Последнее слово — Ренан. Это очень замечательно.)»⁶⁵. Иными словами, из рассуждений писателя следует, что христианство есть продукт выделения личности из массы. И христианство помогает становлению личности, формируя идеал бытия — личную и нравственную свободу. Ставит идеал самореализации личности, а не безличности. И служить народу казалось Достоевскому важно не потому, что он народ, а потому, что именно в крестьянстве (здесь, в свою очередь, абберация гения) хранится христианское учение, которое утратила интеллигенция. Поиск христианских идеалов в народе говорит если и не об *антицерковном* (как у Льва Толстого), то, уж во всяком случае, о *внецерковном* пафосе писателя. О том, что веры в официальную церковь у него не было.

Но именно свобода личности и оказалась камнем преткновения для российской интеллигенции. Более того, все слова о «святом долге», службе народу, борьбе за светлое будущее, быть может, в значительной части были *прикрытием* для того слоя интеллигенции (господствующего!), который Достоевский называл «золотой посредственностью»⁶⁶. Этот слой интеллигенции использовал общественные идеалы как средство для обделывания своих частных и мелких (отнюдь не личностных!) делишек. Именно это и вменял ему в вину Достоевский: «Можем ли вас принять за представителей и указателей прогрессивной идеи? Бьемся об заклад — вы думаете, что мы хотим укорить вас в эту минуту за то, что вы горячи и поспешны до неосмотрительности. Разуверьтесь: мы именно потому считаем вас неспособными и неумелыми, что вы мертво-холодны, что в вас нет жару, нет духа, что убеждения у вас не свои, а заемные, а если и случаются свои, то легкомысленность их свидетельствует о слишком малой совестливости, с которой они приняты; что <...> *самолюбие и вы-*

⁶² Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти тт. Т. XXVI. Л., 1984, с. 139.

⁶³ Там же, с. 137.

⁶⁴ Булгаков В. Ф. Л. Н. Толстой в последний год его жизни. Дневник секретаря Л. Н. Толстого. М., 1989, с. 100.

⁶⁵ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. Т. XX. Л., 1980, с. 192.

⁶⁶ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. В 30-ти тт. Т. XVIII. Л., 1978, с. 61.

году вы чаще всего соединяете с общим делом и что, наконец, если уж взять все, опять-таки вы всему мешаете» (выделено мною. — В. К.)⁶⁷.

Вся сложность проблемы была в том, что гениальная диалектика *свободы в христианстве*, сформулированная Достоевским, не могла быть воспринята интеллигенцией в силу духовной неподготовленности и неразвитости в ней подлинного личностного принципа. Зато обоготворение народа, перед которым надо склониться и ради которого отказаться от своей независимости, своего «самостоянья», было вполне усвоено. Достоевский вместе с тем задавал задачу христианизировать интеллигенцию не случайно. Ибо он вполне понимал, что если где-то в идеальном виде и существует в крестьянстве вера в Христа, то в эмпирической своей реальности народ довольно страшен: «Да, зверства в народе много, но не указывайте на него. Это зверство — тина веков, она вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как добродетель»⁶⁸. И беда эта была вполне актуальна, поскольку именно к темной стороне народной жизни апеллировали радикалы. «Мы понимаем революцию в смысле разнуздания того, что теперь называют дурными страстями»⁶⁹, — писал Бакунин. Народ же выходил с развитием буржуазных отношений на историческую арену и поневоле ориентировался на те слои, которые уже на этой арене действовали. Как в Англии Habeas Corpus, данный когда-то высшему сословию, становился нормой для всех входивших в самодеятельность слоев, так и в России начинавший ощущать себя субъектом исторического действия народ присматривался к тому, каковы ценности образованного общества. Поэтому ценности эти должны стать христианскими, отстаивающими свободную личность, чтобы быть сознательно восприняты пробуждающимся народом.

Русская интеллигенция оказалась в той пугавшей Достоевского позиции *полуобразованных, золотых посредственностей, полуличностей*, которые были уверены, что быть личностью — это историческое злодеяние против народа. Принимались лишь те личности, которых можно было назвать «учителями жизни», особенно если их точка зрения была хотя бы отчасти доступна «золотой посредственности». Интеллигентский псевдорелигиозный атеизм, эмпирическое антиличностное православие, терпевший исторический крах царизм, нигилизм по отношению к нешей идею свободы великой русской литературе — все это помножилось на антилично понятый марксизм и подъем общинных народных масс.

И здесь мы должны вернуться к предложенной типологии личности в России. Дело не только в том, что тип личности, опиравшейся на *свободу вопреки*, получил массовое тиражирование, в изменившейся ситуации он *породил своего зеркального двойника-антагониста*, возникла оппозиция, известная в культуре как *оппозиция Христос — Антихрист*. Когда-то подобная личность (Аввакум, Достоевский) была предстателем за свой народ, расплачиваясь *своей жизнью за свои слова*. Представителями народа объявили себя и *вожди революции*, разница лишь в том, что они *заглушили голос народа* и расплачивались за свои деяния *чужими жизнями*. В результате этот процесс привел страну к революции, объявившей принципом жизни не пробуждение личности во всех слоях общества, а новую организацию страны, *массы — партия — вождь*. Подлинное христианство, как и подлинный марксизм, с их аристократически понятой личностью в качестве основы человеческого развития были сведены к механической функции идеологического обслуживания тоталитарного государства. И как закономерное следствие возникает так называемый «культ личности», означающий, что с личностным принципом в развитии страны покончено. Так была сотворена российская катастрофа.

Что сегодня?..

Большевистская Россия выкинула за рубеж несколько миллионов как образованных, так и полуобразованных, как интеллигенцию, так и значительную часть полунинтеллигенции, а далее уничтожила еще несколько миллионов людей, способных к критическому самостоятельному взгляду на жизнь, то есть потенциальных личностей. Если раньше интеллигенция всячески давила в себе зачатки личности из чувства вины перед народом, то теперь получившие власть полуобразованные, «золотые», по термину Достоевского, эти «одноглазые в стране слепых» сознательно уничтожали тех, кто мог бы стать зрячим и как-то выделиться из коллектива. Заме-

⁶⁷ Там же. Т. XX. Л., 1980, с. 55.

⁶⁸ Там же. Т. XXV. Л., 1983, с. 124.

⁶⁹ Бакунин М. А. Письма к А. И. Герцену и Н. П. Огареву. Женева, 1896, с. 456.

тим, однако, что, судя по количеству изгнанных и уничтоженных, процент потенциальных личностей был достаточно велик. Но в тоталитарном обществе ценится не особенность, не творческая сила личности, а чистое умение приложить знания к потребностям идеологии. Культура замирает в таких случаях, если не умирает вовсе. Россия столь чудовищно проиграла в способности саморазвития, потеряв личность, что очень долго не могла этого осознать, ибо некому было. Осознавали остатки той самой интеллигенции, которая так страшно обожглась на своем презрении к индивидуализму, капитализму и превознесении общинно-коллективистских принципов в противовес принципам личной свободы. Вместо свободы утвердился произвол, который принципиально игнорирует Другого, истребляя сам принцип личной ценности.

Вся трагедия русской истории заключалась в том, что за века развития не выработался регулятор, отличающий *произвол* от *свободы* личности, которая ставит своим пределом свободу другого лица, другого человека. Разумеется, в конечном счете все решала в России самая высшая власть, даже в мелочах проявляя свое господство, не давая развернуться самодеятельности подданных. Но лишенный прав и законов народ приучался на примерах верховной власти всего добиваться силой волевого решения, силой прихоти, произвола, даже в тех случаях, когда он выступал против этой верховной власти. Вот еще наблюдение одного из крупнейших русских демократов прошлого века Н. Г. Чернышевского: «Основное наше понятие, упорнейшее наше предание — то, что мы во все вносим идею произвола. Юридические формы и личные усилия для нас кажутся бессильны и даже смешны, мы ждем всего, мы хотим все сделать силою прихоти, бесконтрольного решения; на сознательное содействие, на самопроизвольную готовность и способность других мы не надеемся, мы не хотим вести дела этими способами; первое условие успеха, даже в справедливых и добрых намерениях, для каждого из нас то, чтобы другие беспрекословно и слепо повиновались ему. Каждый из нас маленький Наполеон или, лучше сказать, Батый. Но если каждый из нас Батый, то что же происходит с обществом, которое все состоит из Батыев? Каждый из них измеряет силы другого, и, по зрелом соображении, в каждом кругу, в каждом деле оказывается архи-Батый, которому простые Батые повинуются так же безусловно, как им в свою очередь повинуются баскаки, а баскакам — простые татары, из которых каждый тоже держит себя Батыем в покоренном ему кружке завоеванного племени, и, что всего прелестнее, само это племя привыкло считать, что так тому делу и следует быть и что иначе невозможно»⁷⁰. Именно этот, вышеописанный тип отношений существовал, как мы знаем, среди большевистских вождей первого призыва, пока не сформировался главный Батый — Сталин, такая же паучья драка была и в постсталинском, и в брежневском Политбюро, а теперь мы аналогичную ситуацию наблюдаем в среде новоявленных демократов. Модель произвола повторяется из раза в раз. Иными словами, получается, что в России революционеры, в том числе и выходцы из народа, столь же опирались на произвол, как и властные структуры, поэтому, захватив власть, вчерашние радикалы, практически не меняя методов, легко и быстро легитимизировались.

Правда, новая власть поначалу всячески хотела порвать с традицией, ибо одно воспоминание невольно тянуло за собой другое. Культура, однако, существует не только в пространстве, но и во времени. И как современные греки, уже давно не напоминающие эллинов, знают, что на этом «месторазвитии» существовали Гомер, Перикл и Платон, так и сталинская демократия должна была получить благословение русской классики. Но смыслы русской классики еще были живы и не могли не воздействовать на сознание теперь уже миллионов (образование стало всеобщим). Существовала и европейская наука, на которой вырастали миллионы студентов, наука, вносящая принципы рационального мышления в общий иррациональный миф социалистического мира. Нельзя также не учитывать роль российской диаспоры. Когда-то именно еврейская диаспора создала Библию, впоследствии сцементировавшую в духовное целое разбросанный по миру народ. В Советскую Россию доходили имена Ходасевича, Бунина, Набокова... Некоторых приглашали вернуться — иногда на смерть, как Цветаеву, но иногда и на почет, как Куприна и Вертинского. Принесенные ими смыслы приходили в столкновение с азами советской школы, зажигая искры в юных умах. Да и власть поневоле начинала искать путей и средств получения продуктов европейской культуры хотя бы заимствованием, воровством.

Опыт показывал, опровергая советско-славянофильскую идею «плодоносной почвы», что процесс роста талантов зависит не только от матери-земли. Федотов не

⁷⁰ Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. Т. VII. М., 1950, с. 616.

без иронии замечал, что сталинизм столкнулся с необходимостью собственных талантов и невозможностью их продуцирования: «Оставаясь в границах органических символов, приходится сказать, что земля сама ничего не производит. Семя падает сверху в ее лоно, которое лишь питает его. Растение столько же дитя солнца, как и земля. Безотцовская, лишь материнская, народническая или земная сила всегда остается темной и бесплодной. Порыв личности к свету, к солнцу, к свободе неизбежно создает надрыв, если не разрыв ее связей со средой, с материнским лоном народа»⁷¹. И на это необходимо идти, если данная культура хочет обрести самостоятельное движение.

А Россия на такой путь способна. Во всяком случае, никаких культурно-генетических противопоказаний к тому не находилось. Примером была судьба и роль диаспоры, сумевшей стать не ниже Европы, стать фактом европейской культуры, причем представлять ее, будучи по стилю жизни и поведения западноевропейцами, оставались носителями российских духовных смыслов. А ведь когда-то Достоевский считал, что «мы в Европе лишь стрючки», что русский старается выделаться в англичанина, немца или француза, чтоб выгладеть европейцем. Оказалось, что два века послепетровского воспитания сумели создать русских, которые в Европе оставались русскими, но *русскими европейцами*.

Режим загнивал, пытался после смерти Сталина в 60-е годы устроить социализм с человеческим лицом, но с коллективистским выражением на этом лице. Такие имиджмейкеры нашлись. Поэт Вознесенский в поэме «Мастера» торжественно провозгласил себя строителем Братска. А в поэме «Лонжюмо» учеником Ленина... Слава Богу, осталась тонкая ниточка не уничтоженных режимом носителей личностной культуры, выбравших стоическую позицию пребывания на Родине. Иосиф Бродский как-то заметил, что простой разговор с Анной Ахматовой заставлял собеседника чувствовать возможность иного ощущения себя, заставлял чувствовать себя личностью. О трагедии сломавшейся и предавшей себя личности был написан роман «Доктор Живаго», где при этом доказывалось, что человек, имеющий свое Я, может искупить и возродить себя своим творчеством. Сам Пастернак в своем Переделкине чувствовал себя живущим в другом измерении, чем нынешнее поколение: «Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе!?» Как вспоминает мой отец, однажды посетивший Пастернака, поэт, выслушав стихи одного современного стихотворца, произнес: «Оказывается, там еще рифмуют». Правда, держал у себя ученика — Андрея Вознесенского, впоследствии с успехом имитировавшего личностное начало в поэзии, при этом будучи человеком, дышавшим одним дыханием с режимом. Но лед сломался. Появились диссиденты, заговорившие о *правах человека*. Они требовали не *свободы вопреки, а свободы от и для*, европейской свободы. В унисон этим требованиям зазвучали Бродский, Окуджава и Высоцкий.

Наиболее популярным среди всех слоев общества оказался последний — раз и навсегда отвергнувший все возможные компромиссы с государством, словно уже в 1969 г. провидя все его псевдоперестройки и демократические шоу на манежах, аренах, на экранах телевизоров. Он доказал *возможность личности в нашей постсталинской России*, иронически относясь к тем, кто пенял на общество, *не давшее буд-то бы кому-то состояться*:

Когда я вижу сломанные крылья —
Нет жалости во мне, и неспроста:
Я не люблю насилие и бессилье,—
Вот только жаль распятого Христа.

.....
Я не люблю манежи и арены:
На них миллион меняют по рублю.
Пусть впереди большие перемены —
Я это никогда не полюблю.

Значит, возможность личности укоренилась в России несмотря на то, что «долго жить впотьмах привыкали мы». Разумеется, пока еще страна похожа на дом, где «двери настежь», а «душа заперта», где нет пространства свободы, откуда надо бежать, но где-то оно есть, это пространство свободы,— в его поиск и вынуждена сейчас следом за поэтом-певцом отправиться вся страна.

Значит, завоевания христианской свободы, христианский аристократизм личностной независимости, то «вечное аристократическое достоинство <...> всякого человека», которое, по мысли Франка, возвестил Христос, укоренились в России, значит, оно есть, это пространство свободы. И это и есть тот шанс, который нам ныне предоставлен историей. Разумеется, политики меньше всего озабочены развитием и

⁷¹ Федотов Г. П. Судьба и грехи России. Т. II, с. 214.

становлением личности в России. Им кажется это делом даже не трехстепенным, а десятым.

Сегодня опять путь в цивилизацию связывают с государственностью. Но не с правовым государством, а с восстановлением империи. Что ставить во главу угла? Империю? То есть силу, подавляющую всякую самостоятельность внутри и вовне. Или нормальное существование каждого отдельного российского человека — жизнь сытую, обеспеченную, благоустроенную, лишенную перманентных катаклизмов?.. Иными словами, быть сверхдержавой или страной, развивающей культуру и цивилизацию, основанную на правах личности?.. Соединить же всепроникающий произвол власти с духовным и экономическим развитием индивида, свободного человека, отвыкшего от желания достичь всего силой прихоти, было сложно уже в прошлом, а нынче, пожалуй, и невозможно.

В попытке подобного соединения причина постоянных российских неудач на цивилизационном пути. На этом пути — сбой петровских реформ, приведший в результате к кровавой революции в двадцатом столетии. Ибо Петр, как писал Ключевский, «надеялся грозой власти вызвать самодеятельность в поработанном обществе и через рабовладельческое дворянство водворить в России европейскую науку, народное просвещение как необходимое условие общественной самодеятельности, хотел, чтобы раб, оставаясь рабом, действовал сознательно и свободно. Совместное действие деспотизма и свободы, просвещения и рабства — это политическая квадратура круга, загадка, разрешавшаяся у нас со времени Петра два века и доселе неразрешенная»⁷². И сегодня мы стоим перед необходимостью разрешения все той же загадки. От разрешения ее в конечном счете зависит, сумеем ли мы стать цивилизованной культурой или нам грозит новое «вертикальное вторжение варварства» (Ортега-и-Гассет), способное обрушить нас в новый «котлован». Боюсь, однако, что в таком случае в этом котловане тогда окажется все человечество. Ибо апокалипсис — ситуация вполне допустимая как финал человеческой истории.



⁷² Ключевский В. О. Соч. в 9-ти тт. Т. IV, с. 203.

Воспоминания, документы

Военный дневник великого князя Андрея Владимировича Романова

Предлагаем вниманию читателей впервые публикуемые страницы дневника великого князя А. В. Романова, хранящегося сейчас в недрах Государственного архива Российской Федерации и одно время считавшегося пропавшим. Этот своеобразный документальный источник, отражающий мысли и впечатления его автора, переносит нас в атмосферу последних предреволюционных лет, позволяет увидеть все глазами писавшего. Интерес дневниковых записей во многом определяется масштабностью и важностью описываемых событий как для автора, так и для окружающих его людей. К таким событиям, безусловно, относится первая мировая война, ставшая предтечей событий, в корне изменивших судьбы миллионов россиян, и оказавшая также воздействие на общественное развитие многих стран мира. Описанию военных действий и связанных с ними эпизодов жизни высших сфер российского общества автор уделяет главное внимание в своих записях.

Великий князь Андрей Владимирович (1879 — 1956) был младшим сыном великого князя Владимира Александровича (брата императора Александра III) и великой княгини Марии Павловны (урожденной принцессы Мекленбург-Шверинской, считавшейся, согласно дворцовой иерархии, третьей дамой в Российской империи после обеих императриц). Его старший брат, великий князь Кирилл Владимирович, привел Гвардейский экипаж к Государственной думе, чем способствовал торжеству Февральской революции, а позднее провозгласил себя российским императором Кириллом I в изгнании. Андрей Владимирович приходился двоюродным братом императору Николаю II.

В течение многих лет Андрей Владимирович вел дневники, пожалуй, более интересные и содержательные, чем недавно вышедшие воспоминания великого князя Кирилла Владимировича «Моя жизнь на службе России» (Санкт-Петербург, 1996).

Как большинство представителей императорской семьи, он имел военное образование — окончил Михайловское артиллерийское училище и Александровскую военно-юридическую академию. Андрей Владимирович был участником первой мировой войны (отправился в действующую армию в октябре 1914 г.); с 7 мая 1915 г. — командующий лейб-гвардии конной артиллерией, генерал-майор свиты императора.

Он покровительствовал известной балерине М. Ф. Кшесинской, поклонниками которой были и другие Романовы, включая Николая II. Близость к царской семье позволяла ему быть в курсе всех скандальных подробностей, связанных с Распутиным, интригами при дворе, предательством и преступной халатностью в армии; в какой-то степени великий князь был, как и многие другие, настроен по отношению к происходившему оппозиционно. Находясь в служебных и дружеских отношениях со многими военачальниками и влиятельными царскими сановниками, он, анализируя настроения светского общества, часто предсказывал в своих дневниках ход последующих событий, давал меткие характеристики многим деятелям России и оценки политических кризисов и революционных потрясений.

Февральская революция застала его в Кисловодске, где он находился на лечении и вскоре подвергся домашнему аресту Временным правительством. После установления советской власти на Кавказе Андрей Владимирович неоднократно арестовывался, лишь случайно избежал гибели, некоторое время скрывался в горах; позже вместе с матерью эмигрировал. В 1921 г. он официально оформил свои отношения с М. Ф. Кшесинской, с которой до этого состоял в гражданском браке. Великий князь Андрей Владимирович постоянно жил во Франции и скончался в возрасте 77 лет, поставив своеобразный рекорд долголетия среди великих князей.

Большая часть дневников Андрея Владимировича никогда не публиковалась по политическим соображениям. Особенно это касается событий начала первой мировой войны.

Военные дневники великого князя весьма своеобразны. Во время пребывания на фронте он иногда описывал события за несколько дней, что делает дневниковые записи похожими на воспоминания. Вероятно, источником этих записей, систематизированных по дням и событиям, явились какие-то черновые наброски, с которых они были переписаны более ровным почерком с уточнением названий населенных пунктов, имен и дат. При чтении возникает чувство, что великий князь в будущем предполагал их опубликовать, так как порой он призывает в свидетели правильности своих суждений читателя.

При работе над текстом мы столкнулись с определенными трудностями. Прежде всего это достаточно сложный почерк великого князя, многочисленные сокращения слов и не всегда верное написание географических названий и фамилий лиц, с которыми он соприкасался. Часто это известные военачальники и политические деятели, но упоминаются также лица из числа младших офицеров, прислуги и другие, сведения о которых найти почти невозможно. Иногда автор оставлял пустое место на страницах рукописи, чтобы правильно вписать то или иное наименование или имя. Пропущенные и сомнительные места рукописи заключены в квадратные скобки, сокращения слов раскрыты в угловых скобках.

Вступление, подготовка текста, публикация и примечания кандидата исторических наук В. М. ХРУСТАЛЕВА и В. М. ОСИНА.

1914 год

18 июля 1914 г. была объявлена мобилизация, а 20 июля манифест возвещал об объявлении войны Германии. Итак, началась всеобщая европейская война. С одной, нашей, стороны: Россия, Франция, Англия; Сербия, Черногория, Япония, Бельгия и с другой: Германия и Австрия.

Истории возникновения отдельных событий я касаться не буду. Скажу лишь, что в России война была встречена с большим подъемом, но без лишнего хвастовства. Все трезво смотрели на грядущие события и ясно сознавали, что война будет тяжелой [и] упорной.

Торжественный молебен и чтение манифеста в Николаевском зале Зимнего дворца оставит на всех глубокое впечатление. Посреди залы наши святыни: образ Спасителя из домика Петра Вел<икого> и Казанская Божья Матерь. Когда певчие запели «Спаси Господи», все запели хором и почти у всех на глазах заблестали слезы. Речь Государя еще больше подняла настроение. В его простых словах звучали, как у Апостола, силы с неба; казалось, что Господь всемогущий через него говорил с нами, и, когда он сказал: «Благословляю вас на ратный бой», все встали на колени. Особенно сильно было сказано: «Я здесь перед вами торжественно заявляю: доколе хоть один неприятель останется на земле русской, я не заключу мира». Эти слова были покрыты таким «ура», которого никто никогда не слышал. В этом несмолкаемом звуке как будто звучал ответ Создателю на Его призыв стать всем на защиту Родины, Царя и погранных прав нашей великой Родины.

Из Николаевского зала Государь прошел на балкон, выходящий на Александровскую площадь. Вся она была заполнена сплошь народом — от дворца вплоть до зданий штабов. При появлении Государя все [в]стали на колени. В эти короткие минуты Россия переродилась. Самосознание воскресло у всех, чувство долга стало на первое место, и вся мобилизация прошла при таком блестящем порядке, которого никто не ожидал. Военный министр В. А. Сухомлинов¹ мне сам говорил, что мобилизация прошла при удивительных условиях. Все шло с такой аккуратностью. Ни одной задержки. Наплыв запасных у воинских нач<альников> превышал предполагаемую норму. Число охотников росло с каждым днем. Железные дороги работали выше всякой похвалы.

Ни одного пьяного. Все трезвые.

Грустно мне было видеть, как все товарищи уходили на войну. Проводил я 5<-ю> бат<арею>, проводил и 6-ю, все ушли, и остался я один дома. 16 лет пробыл я в строю. Сколько усилий потратил над своими батареями и как фатально ушел из строя в феврале этого года². Если б можно было предвидеть события! Но что же оставалось делать? Идти в строй, но куда? В своих батареях все вакансии заняты. Идти в чужую часть, где никого не знаешь, — невозможно. Решил ждать. Проситься в какой-нибудь штаб и сидеть там без дела как-то глупо.

Но время шло. Прошел уже второй месяц войны, и стало невмоготу. Как ни тяжело было проситься в штаб, а не в строй, я все [же] решился и написал Кириллу³,

который находился в Ставке Верховного главнокомандующего». Предварительно я простился у Ники⁴, который меня благословил на это.

23 сен<тября>

Я получил от Николаши⁵ телеграмму: «Тебе Высочайше разрешено состоять в распоряжении генерала Рузского⁶, можешь выехать, как только будешь готов, предварительно заезжай ко мне. Николаша».

Сборы были недолги. Заехал с мамá⁷ на могилу папа⁸, были у Спасителя. Простился с т<етей> Минну⁹, с Ники и Аликс¹⁰, получил в благословение образки. Мама́ меня благословила крестиком.

28 сент<ября> из Петрограда я заехал в Царское Село¹¹ к мамá. Позавтракал с ней и в 1 ч. 38 м. с Александровской ст<анции> отбыл на войну. Со мной поехали Кубе¹², мой камерд<инер> Бондаренко и казак Кубе — Дмитрий. Лошади и мотор были высланы вперед.

29 сен<тября> в 10 ч. 20 м. утра я приехал в Вильно и встретил на вокзале ген<ерала> Ермолинского¹³. Узнав о моем приезде, он приехал сообщить, что в Вильне, в Витебской общ<ине>, лежит тяжело раненный Олег Кон<стантинович>¹⁴, привезенный вчера вечером с передовых позиций у Вроцлава. Я сейчас же сел в мотор с ним, и мы поехали в лазарет. Игорь¹⁵ был там. Он привез брата. Лучшие хирурги были налицо — проф<ессор> Цейге ф<он> Мантейфель¹⁶, Оппель¹⁷, Мартынов¹⁸.

Я долго с ними говорил. Они как будто питали надежду его спасти, но рана была ужасна, потеря крови значительна, что вызвало ослабление всего организма. Я хотел зайти к Олегу, но он спал. Я повез Игоря к себе позавтракать и в 2 [ч.] снова поехал в лазарет.

Олег проснулся. Я зашел к нему. Он сейчас же сказал: «Как я рад тебя видеть, куда ты едешь?» Я ему сказал. Он спросил: «А ты рад ехать на войну?» Потом спросил, по-видимому, не желая, чтобы другие поняли: «Comment vont les affaires?»* На мой благоприятный ответ он сказал: «Dieu merci»**. Тут же стояла сестра. Он попросил дать ему поесть. На столике в блюдечке стояло мороженое, но совсем растаявшее. Сестра хотела принести свежее, но он попросил именно это растаявшее мороженое. Когда сестра дала ему попробовать, он сказал: «Это невкусно», и сестра принесла свежее мороженое. «Вот это вкусно»; но, покушав очень немного, сказал: «Довольно», взял платок, обтер себе рот и грустно на меня посмотрел. Затем он откинулся назад, и усталый свой взор в потолок, и глубоко вздохнул. Стоявший рядом доктор быстро схватил его руку, чтоб узнать пульс. Олег как будто очнулся и спросил: «Как пульс?» «Хороший», — был ответ доктора. «Сестрица, сестрица, — позвал Олег, — скандал! — И, обращаясь ко мне: — Je te demande pardon, mais je crois que je vais vomir***». Видя, что я стесняю его, я вышел на минуту и скоро вернулся.

Проф<ессор> Оппель сидел у него и утешал: «Мы скоро его поправим, мы теперь молодцом». Олег улыбался. Мне пора было ехать. Простился с ним. «Que Dieu te garde****, спасибо, что заехал ко мне. Всего хорошего». Пожелав ему скорее поправиться, я вышел. В соседней комнате я нашел ген<ерала> Ермолинского. Мы оба молча посмотрели друг на друга. Не жилец Олег. Как ни утешали нас доктора, но достаточно было на него посмотреть — ни кровинки в лице. Цвет восковой белизны. Несмотря на страшную рану, никаких страданий. Температура > 36,8, пульс 160. Проф<ессор> Цейге говорил, [что] лучше бы он страдал. Ему впрыснули накануне морфия, но это оказалось излишним. Он не только не чувствовал боли, но и не сознавал серьезности своего положения. В его улыбке, разговоре было столько простоты, что казалось, он не хотел признать, что умирает за отечество. Свой поступок как будто он считал в этой огромной войне столь незначительным фактом, что не стоит об этом и говорить. Он даже ни разу не говорил о Георгиевском кресте¹⁹, который только утром получил от Государя. Он умирал героем, скромным и в скромности великим.

Через два дня я лишь узнал о его кончине в этот самый день в 8 ч. 10 м. вече-

* Как идут дела? (франц.)

** Слава Богу (франц.)

*** Прошу прощения, но я думаю, что меня сейчас вырвет. (франц.)

**** Пусть Бог тебя хранит. (франц.)

ра, то есть он скончался через шесть часов после того, что я его видел. К 5 ч. ждали его отца и мать. Они, как я потом узнал, застали его еще в живых, и он скончался у них на руках*.

В 3 ч. дня я выехал из Вильны на ст<анцию> Лида, куда прибыл в 5 ч. 45 м. и через 10 минут выехал на Барановичи. В Лиде я расстался с Кубе, который поехал на Волковыск снять лошадей и мотор. В 9 ч. 30 м. вечера приехал в Барановичи. Кн<язь> Ливен²⁰ меня встретил на вокзале и отвез на моторе к Кириллу в вагон № 11. Около часу я сидел у него, затем пошли к Николаше. Он долго расспрашивал про Олега. Пил у него чай и около 12 ч. ночи вернулся к Кириллу, где пил [за] его здоровье по случаю завтрашнего его дня рождения. После этого мы вместе поехали на станцию. В 1 1/2 [ч.] он уехал в Двинск на встречу к Диску²¹, а я в 7 утра уехал на Белосток.

Возвращаюсь к посещению Верх<овного> глав<нокомандующего>. Поезд, в котором жил Кирилл, стоял в лесу. Так как я прибыл поздно вечером в Барановичи, было совершенно темно и ориентироваться не было никакой возможности. Проводил меня до поезда Николаши кн<язь> Ливен. Мы шли по шпалам минут пять, по лесу, и вдали виднелись освещенные окна его поезда. Рядом стояла будка с нарядом охраны. Жандармы и л<ейб> казаки. Встретил меня кн<язь> Щербатов²² и провел в вагон. Николаша и Петюша²³ сидели в салоне и читали газеты. Поздоровавшись с нами, Петюша вышел из салона. У Николаши на шее висел Георг<иевский> крест 3 степ<ени>. Он был, видимо, утомлен, но все же бодр. Первое, что он мне сказал, это что его кошмар — <слу>жить 36 л<ет> и даже 48 post factum. Так как все сведения с фронта сильно запаздывают да и не могут не запаздывать, когда фронт растянулся на 400 верст, всякие распоряжения силою вещей не могут своевременно поспеть. Потом говорил о приезде Ники, как его посвящали в курс дела. Потом мы перешли в столовую чай пить. Тут была масса народу, Димка Голицын²⁴, франц<узский> ген<ерал> Лагиш²⁵, адъютанты, доктора и т. д.

Итак, я уехал, как сказано выше, рано утром на Белосток. Около 8 утра на ст<анции> Багратионово, немного за Волковыском, Кубе меня встретил.

В 1 ч. дня 30 сен<тября> я приехал в Белосток. Мое дальнейшее путешествие было связано санитарным поездом мамá. Меня к нему прицепили. Я пошел искать знакомых в поезде. Нашел старшего док<тора> Кожина²⁶, гр<афиню> Игнатьеву²⁷. Кожин повлек меня смотреть новые вагоны и операционную. Раненых было 560. Долго поезд не трогался с места. Произошло это потому, что из поезда вынесли 10 тяжелораненых, а носилки все не возвращали. Лишь в 3 ч. поезд тронулся на Гродно, простояв в Белостоке с 8 ч. утра. Пошел я чай пить в столовую. Застал там ком<андира> гв<ардейского> экип<ажа> гр<афа> Толстого²⁸, его жену и адъютанта. Вдруг из глубоких коридора вылезла заспанная фигура Ю. Беляева²⁹, который возвращался (скорее бежал) из Варшавы. Но он скоро исчез, по-видимому, снова залег спать. Поезд шел ужасно тихо. Все время длинные остановки. От Белостока до Гродно 86 в<ерст>. На ст<анцию> Кузница в 24 в<ерстах> от Гродно мы приехали в 6 ч. и тронулись дальше в 7 ч. вечера. Около этого времени мы обедали с сестрами. После нашего обеда пришла вторая смена, и мы с Кубе пошли в купе Ю. Беляева, который угощал нас коньяком Гревса³⁰. Чего он нам только не рассказывал про Варшаву, сибирских казаков, свои амурные похождения и т. д. Время шло, а мы снова стояли в 4 вер<стах> от Гродно, было 8 ч. вечера, и лишь к 12 1/4 [ч.] поезд подошел к ст<анции> Гродно. Тут я только узнал о кончине Олега Констан<антиновича>. Вагон мой отцепили, поставили на запасный путь, и я скоро лег спать. На следующее утро, было уже 1 окт<ября>, в 10 ч. я поехал являться главнокомандующему 2-й армии ген<ералу> Рузскому. Он жил в маленьком деревянном домике, охраняемом кубанскими казаками. Вся комната была уставлена столами, покрытыми картами. Ген<ерал> Рузский — человек, явно лишенный всякой внешней красоты. Фигура сутуловатая. Среднего роста. Волосы редкие и седые. Лицо худое, даже аскетическое, и только бойкие живые глаза блещут энергией из-под довольно крупных очков. Он очень любезно меня встретил, показал на карте расположение армий, корпусов. Видел я нач<альника> шт<аба> Вл. Ал. Орановского^{30а}. Затем поехал к Дмитрию³¹ и Сандро³². Они жили близ города в доме кн<язя> Друцкого-Любецкого, убитого [при] Басингоме. Оба лежали в постелях в одной комнате. В другой спал гр<аф> Адам Замойский³³. Посидел с ними. В 1 ч. был общий завтрак в штабе. Фотограф нас снимал. Обедал я у Дмитрия, было очень вкусно. Много водки и вина. Около 10 [ч.] ввалили<сь> Б. Огарев³⁴, прямо от батареи, и гр<аф> Шереметев³⁵. Посидели, по-

* См. «Дневник» за 1915 г., запись от 10 октября.

болтали. В 2 ч. ночи весь штаб и мы уехали в Седлец. Генералу Рузскому дали Варшавский фронт, где дела были тревожны, и ему пришлось переехать на юг. Около 11 утра прибыли в Седлец, долго томились на вокзале. Кто ездил в город искать свою квартиру, а остальные делились своими впечатлениями. Завтракали Дмитрий и Сандро у меня в вагоне. Они оба переехали в квартиры, а я остался у себя в вагоне. Город Седлец не дурен для бывшего губернского города. Прекрасный вокзал, мощные улицы, каменные здания и т. д. Обедали снова все у меня в вагоне, так как собрание еще не открылось.

3 окт<ября>

Я получил командировку осмотреть тыловые пути корпусов 2-й армии. В 10 ч. вечера я выехал в Варшаву. Мне дали в помощь подполковника Генерального штаба Сергея Карловича Сегеркранца³⁶. В 12 ч. ночи мы прибыли в Варшаву. Штаб армии находился в поезде на Брестском вокзале, и локомотив под парами стоял прицепленный к поезду. Я с Сегеркранцем прошли прямо в оперативное отделение, где застали полковника Вялова³⁷ в очень душном вагоне. Освещалось все лишь свечами, и от этой копоти дышать было трудно. Через некоторое время пришел начальник штаба генерал-майор Постовский³⁸, генерал-квартирмейстер и командующий 2-й армией генерал Шейдеман³⁹. Он взял карту и рассказал все дела под Варшавой, начиная с 28 сентября. Как было трудно в первые дни с малыми силами отстаивать город. Но с подходом новых корпусов дела стали лучше, и в данное время бой происходит в районе 10 верст от города. Для общего наступления ждали лишь подхода II Сибирского корпуса и XIII [корпуса]. Потери были довольно значительны в первые дни. Теперь немцы атаковали главным образом наш правый фланг [Прушково-Блон], но все атаки были отбиты артиллерийским огнем. С юга ждали подхода V армии [генерала] Плеве⁴⁰ с 19 и 5 корпусами. Видно было, что генерал Шейдеман пережил тяжелые дни. Один день неприятель опрокинул одну бригаду, которая отбежала до фортов, но, собравшись, вернулась на линию. Это вызвало в городе панику, которая, к счастью, скоро улеглась. Телефон не переставал работать все время с корпусами. Шли донесения о результатах дня.

В 2 ч. я покинул штаб и пошел спать.

На следующее утро, в 8 [ч.] я поехал на своем моторе в штаб I Сибирского корпуса в деревню Служевицы. Канонада началась с раннего утра и все усиливалась. На горизонте пылала деревня Пясечко, зажженная нашей тяжелой артиллерией. Все небо было затянато дымом тротильных бомб. Командир I Сибирского корпуса генерал Плешков⁴¹ был очень в духе. Его сибиряки дрались отчаянно, и знаменитый [Машдловский] лес, который считался труднопроходимым, они взяли штыками. Со стороны Прушково и Блона канонада все развивалась. Гул стоял немолкаемый. Возвращаясь к Варшаве, по сторонам дороги перед временными укреплениями полевых батарей сибиряки строили проволочные заграждения, которыми они воспользовались для сушки белья. Раненых везли мало, бой шел почти исключительно артиллерийский. В самом городе у перевязочного пункта стоял паровой трам с ранеными, и польские вольные дружины заботливо снабжали их папиросами и кушаньем, а у кого повязка была плоха, снова перевязывали в соседнем доме. Эти польские организации работали все время под огнем и так много сделали для раненых, которых эвакуировали с позиций в узкоколейных поездах — трамах. Мои путешествия по тылу лишены особого интереса. Приходилось на каждом шагу вылезать из автомобиля, расспрашивать обозы, определять [номер] Н-ской* части и проверять по карте, верно ли они стоят. Путаницы было много, и прав был генерал Рузский, когда он меня послал проверять тыл, что тыльные пути устанавливаются туго, и если их не проверять, то это может плохо отозваться на своевременном питании фронта. А при отступлении — катастрофа. Встречал мало немецких аэропланов. В деревне [Ваверы] обозная охрана открыла стрельбу пачками (что было строжайше запрещено), но, конечно, безрезультатно.

8 окт<ября>

Я поехал по [Венской] дороге на станцию Прушково. Там встретил командира IV корпуса генерала Алиева⁴². В самую станцию попал, как их прозвали, «чемодан»⁴³, то есть тротильная бомба, и здорово разрушила среднюю часть станции. Пройдя пешком [к калитке], мы нашли домик снаружи совершенно разрушен-

* Так в тексте.

ным, и четыре трупа немцев лежало во дворе. Рядом в траншеях наших лежали винтовки, масса патронов, многие были залиты кровью, видны были следы перевязок, сброшенные сапоги, рубашки, амуниция и т. д. Окопы были покинуты только вчера. Впереди еще ряд окопов и шагах в 200 немецкие. Дошли и до них. Неприятельские окопы глубже наших и соединены с задними канавами глубиной аршина 2. Там следов крови не нашли, но массу соломы, патронов, жестянок из-под консервов и носилки. Стаканы наших шрапнелей валялись сотнями кругом. Но все, что возможно было собрать, было убрано жителями. Далее в лесу, говорили, было еще много неубранных трупов. Но было далеко идти, и мы вернулись на ст<анцию> и в Варшаву, где пересели на [Калишскую] дорогу и поехали на ст<анцию> Блон. Благополучно доехали до ст<анции> Жарово, где предупредили, что можно проехать еще верст 5 — не более, ибо путь взорван. Доехали до этого места и пошли пешком. Саперы уже работали. Взяли дрезину и поехали. Часто приходилось останавливаться, переносить дрезину на руках через разрушенный участок. Особенно трудно было перебраться через взорванный мост. Ферма провалилась вниз серединой. Кое-как добрались до ст<анции> Блон. Что можно было взорвать, немцы взорвали. Стрелки, рельсы, водяной кран, телегр<афные> столбы. Станцию же обратили почему-то в конюшню, и видно, что стояли лошади там довольно долго. Навозу было много. Они умудрились даже поставить лошадь в самую маленькую комнату, и, видно, лошадь ввели задом, ибо повернуть ее там было невозможно. Навоз указывал, что вводили ее задом. Все шкафы с бумагами перевернуты, разбросаны, разгромлены. Даже домик сторожа и тот разгромили. Нашли массу бутылок из-под вина. Видно, пили много. Даже солдатская фляга — и из той несло коньяком. В саду против ст<анции> похоронен офицер 2 [пионерн<ого>] батальона 3/16 ок<тября>, и каска лежит на его могиле. По дороге мы встретили четыре трупа. Карманы у всех вывернуты, сапоги сняты. Один был покрыт шинелью. Шла баба мимо с ребенком. Долго смотрела она на труп; потом палкой попробовала поднять шинель. Шинель отделилась. Она отбросила [ее] в сторону, как будто испугалась. Потом подняла шинель концом палки, взвалила палку на плечи и пошла с ребенком дальше. В самой дер<евне> Блон у казарм пожарной команды мы встретили двух сестер Кр<асного> Креста. Они обратились ко мне с просьбой помочь вывезти 6 раненых. Лошадей не было, и вывезти нет возможности. Я обещал прислать наши моторы, что и было исполнено. Сестры эти были украшены медалями на Георгиев<ских> лентах. Они во время боя работали, собирая раненых, и ген<ерал> Данилов⁴⁴, командир XXIII кор<пуса>, их наградил. Они о нем отзывались с восхищением. Тут же мы узнали, что недалеко от Блона, в имение гр<афа> Потоцкого, занятое немцами, был привезен смертельно раненный офицер. Те, которые его несли, приняли меры, чтоб удалить любопытных, и, по-видимому, с большим почтением отнесли к нему. Он скончался, и тело его так же таинственно было вывезено, причем офицеры один день носили на левой руке траур. Теперь мы узнали догадками, что убит был, по всей вероятности, R. Petel-Friedrich, сын императора⁴⁵.

Обратное путешествие было очень утомительное, и добрались мы до Варшавы лишь в 8 ч. вечера. Теперь снова монотонная жизнь в Седлеце. Делать нечего. Гуляешь, читаешь, пишешь, спишь, ешь, вот и все.

22 октября

Наш главнокомандующий решил съездить в 10[-ю] армию ген<ерала> Сиверса⁴⁶ в районе Сувалкской губ<ернии>, дабы выяснить на месте причины медленного наступления на Восточную Пруссию. В 12 ч. ночи мы выехали и 20 окт<ября> к 7 ч. утра прибыли на ст<анцию> Гродно. Было 4 гр<адуса> морозу при сильном ветре. Я с Рузским сели в закрытый мотор «Ford» губерн<атора> ген<ерала> Шебеко⁴⁷ и поехали в штаб 10[-й] арм<ии> в 30 верстах от города в женском монастыре Красностоке. Ехали час. По дороге видели спешное укрепление Гродно: вырубленные леса, засеки, батареи, окопы и т. д. Штаб 10[-й] арм<ии> располагался в монастырской школе очень удобно и широко. На совещании я не присутствовал, но на обратном пути ген<ерал> Рузский мне говорил, что главная заминка в наступлении заключалась в том, что корпуса бывшей 1[-й] арм<ии> Ренненкампа после его знаменитого отступления, по-видимому, потеряли свой моральный дух, и не столько войска, сколько корпусные командиры, потерявшие всякую веру в себя. Кроме того, некоторые корп<усные> командиры (Мищенко⁴⁸ и ...*), как Рузский выразился, безграмотные в военном деле, ждут наступления соседа, а сами не двигаются. Им

* Пропуск записи в дневнике.

мерещатся все новые и новые немецкие корпуса, и потому постоянно доносят в оправдание, что наступление невозможно ввиду превосходства неприятельских сил. Ну вот все это Рузскому пришлось разобрать, указать дальнейший план наступления и, главное, поддать всем немного энергии. Результатом этого и было, что 22 ок<тября> они взяли Бакараржево при общем наступлении. Вернулись мы из штаба в Гродно к 1 1/2 [ч.], позавтракали и выехали обратно. В 10 1/2 [ч.] вечера мы прибыли обратно в Седлец, где были получены за время нашего отсутствия новые указания штаба Верховн<ого> главн<окомандующего>. Эти указания шли вразрез с мнением ген<ерала> Рузского, который и решил переговорить по телеграфу с ген<ералом>-квартирм<ейстером> штаба Верх<овного> глав<нокомандующего> ген<ералом> Даниловым⁴⁹. В общих чертах новые директивы сводились к следующему. Ввиду того, что армии центра за Вислой сильно продвинулись вперед, в то время как северная в Восточной Пруссии (10[-я]) и южная у Сана (3[-я]) отстали, то следует центру приостановить наступление до тех пор, пока 10[-я] арм<ия> не дойдет до нижней Вислы, а южная — до меридиана Пельц. Возражения штаба С<еверо>-З<ападного> фронта сводились к тому, что в первоначальном плане (первый период войны) были две группы армий: северная в Восточной Пруссии и южная в Галиции, которые обе продвинулись довольно далеко вперед. Когда же обнаружилось движение неприятеля на Варшаву, то как из северной, так и из южной были взяты корпуса для усиления центра у Варшавы. В результате от Варшавы неприятель был оттеснен на 150 верст при очень усиленном наступлении и довольно быстром отходе неприятеля и при дальнейшем движении центра через недели две или три был бы уже в пределах Познани. Но ослабление флангов привело к тому, что они могли [быть] отброшены назад — северная группа к Неману, а южная за Сан. Ежели теперь выполнить план Верх<овного> гл<авнокомандования> и усилить фланги, то это придется сделать за счет центра, и тогда получится, что фланги достигнут намеченной линии, а ослабленный центр будет, весьма вероятно, снова оттеснен к Варшаве, то есть к Висле. Такой план был признан ген<ералом> Рузским крайне рискованным. Переговоры по телеграфу, по-видимому, поколебали в Данилове уверенность, и было решено, что ген<ерал> Рузский лично поедет в Ставку для переговоров, и вот 21 окт<ября> в 9 ч. вечера мы и выехали в Барановичи. Ко мне подъехал в это время [Хрямин], который и поехал со мной.

В 10 ч. утра мы прибыли в Барановичи. Стояла теплая осенняя погода, гр<аду>-са> 2 тепла. Туман закутал весь горизонт, и в воздухе чувствовалась сырость. На вокзале мы узнали, что к 5 ч. ждут приезда Государя. С вокзала в Ставку мы поехали на моторах. Ген<ерал> Рузский моментально исчез в вагоне нач<альника> штаба, а я остался в садике перед поездом. Петя Ольд<енбургский>⁵⁰ вышел ко мне. Он недавно прибыл с юга из III арм<ии>. Потом д<ядя> Николаша вышел и поехал в церковь. Праздник Казанской Б<ожьей> Матери. Я тоже поехал в церковь. Церковь в казармах железнодорож<ного> бат<альона>. Служил протопресвитер военно-мор<ского> дух<овенства> Шавельский⁵¹. В 12 [ч.] мы были все приглашены к завтраку в вагоне Верх<овного> глав<нокомандующего>. Столовая эта — простой вагон-ресторан с маленькими столиками. 1 [-й] стол: Николаша, ген<ерал> Пантелеев, протопр<есвитер> Шавельский и нач<альник> шт<аба> Янушкевич⁵². 2-й [стол]: Петюша, ген<ерал> [Каульбарс^{52а}], Димка Голицын и ген<ерал> Рузский. 3-й [стол]: Петя [Ольденбургский], я, ген<ерал>-а<дъютант> Троцкий⁵³ и Данилов и т. д. Давали закуску, водку, вино и отличную еду. Настроение Николаши было возвышенное. Получены известия о взятии Сандомира на юге, [Бакараржева] на севере и об отступлении по всему остальному фронту неприятеля.

После завтрака я лично бродил по саду и поезду, был у Пети, зашел к Менгдену⁵⁴. В 4 [ч.] чай пили. В 5 1/2 [ч.] уже было совсем темно, подошел царский поезд. Ники принял ген<ерала> Рузского и пожаловал ему Георгия 2-й степени. Я остался ждать ген<ерала> снаружи. Видел только Дрентельна⁵⁵ и Нарышкина⁵⁶. В поезд не входил. В 6 1/2 [ч.] мы отбыли на станцию, пообедали в вагоне и вернулись в Седлец к 8 ч. утра 23 ок<тября>. Результат поездки был удачен в том смысле, что операции на севере и юге признали за самостоятельные, а центр отдельно, причем наступательный характер его остался без задержки. Вопрос о прибавке IV арм<ии> к фронту остался открытым, ибо боялись обидеть ген<ерала> Иванова⁵⁷, отымая у него эту армию. От знаменитой директивы Данилов отказался, утверждая, что его не поняли. Видимо, испугался своей глупости. По поводу этого инцидента необходимо отметить следующее, что проливает свет на многое. Когда наш ген<ерал>-квартирм<ейстер> Бонч-Бруевич⁵⁸ говорил Данилову, зачем в последней директиве требуется ос-

тановка всего фронта (за Вислой), Данилов ответил: «Я писал вообще...» Надо заметить, что телеграмма, в которой указывается директива, подписана нач<альником> шт<аба> Янушкевичем, и в ней все время повторяется фраза: «Его Им<ператорское> Выс<очество> Верховный главнокомандующий требует, находит, указывает и т. д.». Впечатление, что директива дана лично Верх<овным> гл<авнокомандующим>. А ген<ерал> Данилов про ту же телеграмму говорит: «Я так писал». И, вероятно, он действительно лично писал и без указаний от Верх<овного> гл<авнокомандующего>, иначе нельзя себе объяснить, каким образом он может говорить про такую важную телеграмму: «Я писал, вы меня не поняли, это не так» и т. д. И соглашается изменить директивы. Ежели бы телеграмма изображала личную волю Верх<овного> гл<авнокомандующего>, то ген<ералу> Данилову было бы проще сказать, что он ничего изменить не может без доклада Верх<овному> гл<авнокомандующему>, ибо это его воля. У нас всех, кто знал эту тайну, ясно создалось мнение, что именем Верх<овного> гл<авнокомандующего> [он] орудует помимо Верх<овного> гл<авнокомандующего>. Пишет его именем и ежели и спрашивает мнение Верх<овного> гл<авнокомандующего>, то, вероятно, скрывая те сведения, которые могли бы повлиять на Верх<овного> гл<авнокомандующего> в смысле изменения тех соображений, которые ему докладываются. Это открытие очень печалило наш штаб. Главное, что Данилов (Черный) — сухой педант — страшен. Жизни не знает. Нравственный элемент, который составляет главный успех боя, он не понимает и с ним не считается. Ведь на карте, на которой он орудует, нет людей. Есть кружки, означающие корпуса. Есть известное между ними расстояние, а всякий успех, стоивший десятки тысяч жертв, отражается на карте только тем, что наносится новый кружок впереди старого. И печатают в газетах, такой-то город взят. А что это стоило усилий, потерь — эта ему область недоступная. Ведь что нам стоила эта стратегическая операция отхода всех армий за Сан и Вислу! Сколько напрасных жертв, а главное, моральных страданий для тех войск, которые должны были отступить назад, бросив кровью взятые места! Кто возместит эту нравственную муку? А без этой нравственной веры победы не бывает. Видел я сами эти бедные корпуса бывшей 1[-й] арм<ии> ныне в 10-й. Как им трудно снова поверить в свои силы! Насколько они потеряли веру в свое начальство! А почему отступили — вина тут шт<аба> Верх<овного> гл<авнокомандующего>, то есть того же Данилова. Он нашел нужным им отойти (стратегические соображения). И не мог этот сухой муж понять, что он наносит своим же войскам куда больший удар, нежели неприятель.

[25 октября]

22 окт<ября> ген<ерал> Рузский был в Ставке, говорил, убедил, согласились, и вот сегодня вечер 25 ок<тября>, прошло три целых дня, и нет директив из Ставки. Вот как они работают?!

Еще маленький штришок к этой общей картине. Когда в Ставке Верх<овного> Главнокомандующего> наш ген<ерал>-кв<артирмейстер> Бонч-Бруевич говорил с нач<альником> шт<аба> Янушкевичем о соображениях штаба фронта относительно дальнейших планов, то Янушкевич ему ответил: «Ну, уж по части стратегии вы обратитесь к Юрию Никифоровичу (Данилову), это его дело». При таком положении вещей, конечно, все стратегические соображения вырабатываются Даниловым самостоятельно и без участия Янушкевича, который ему всецело доверил эту отрасль. Дело в том, что когда Янушкевич был назн<ачен> нач<альником> Ген<ерального> штаба, то он оказался гораздо моложе Данилова, и, как человек очень деликатный, до чрезвычайности, он предоставил Данилову полную самостоятельность в своей области, не желая, как младший, своими действиями возбудить недоверие или скорее не желал осуществить тот служебный контроль над Даниловым, который он, Янушкевич, должен был бы осуществить. При мобилизации в штабе Верх<овного> гл<авнокомандующего> они оказались снова в том же взаимоотношении, благодаря чему Янушкевич совершенно старается стушеваться и вместо того, чтобы быть связующим звеном между Верх<овным> гл<авнокомандующим> и Даниловым, стушевался и подписывает все телеграммы, составленные Даниловым, без проверки. При всех же личных переговорах он, Янушкевич, старается не касаться стратегической стороны. В результате все телеграммы из Ставки Верх<овного> гл<авнокомандующего>, в которых даются основные директивы, иначе устанавливается общий план войны, отсутствует именно этот общий план. Я лично читал много этих телеграмм, но понять, чего хотят, решительно нельзя. Говорят о необходимости починить желез<ые> дороги, мосты, шоссе. Но и без них штаб фронта это знает и работы в этом направлении идут. А об общем плане глухо лишь сказано, что предполагается вступить в пределы Германии. Но о направлении, в котором это надо делать, когда — ничего.

[28 октября]

Уже сегодня 28 ок<тября>, прошло 10 дней, и весь фронт стоит. Немцы этим временем пользуются, и из агентурных сведений мы знаем, что они укрепляют свои границы. А брать эти укрепления — лишние жертвы. Вместо того, чтоб на их плечах вторгнуться в пределы Германии, мы ждем, ждем. Почему — неизвестно. Сколько ни запрашивали штаб Верх<овного> гл<авнокомандующего>, ответы получались, как сказано выше, относительно мостов и т. д. Мы все здесь пришли к глубокому убеждению, что Данилов орудует не только помимо нач<альника> шт<аба> Янушкевича, о чем я уже писал выше, но и помимо Верх<овного> гл<авнокомандующего>. Сопоставляя все мелочи, уясняется та картина, что Верх<овный> гл<авнокомандующий> не в курсе дела, у него нет общего плана — в результате нет общей воли, нет цели, нет идеи. Директивы шт<аба> Верх<овного> гл<авнокомандующего> в лучшем случае, когда в них и мелькают идеи, являются лишь решением задачи на основании результатов боев, но эти указания никогда не идут в глубь, а ограничиваются указаниями, до какого рубежа дойти. Рубежи эти очень малы — верст 60 — 100. Но дальше — ни полслова. Затем проходит томительно время стоянок, и вдруг снова задача дается, короткая и часто без связи с предыдущим периодом, под влиянием случайных успехов или неудач, в каком-либо частном месте.

Нынешний приезд Государя в Ставку совершенно атрофировал штаб Верх<овного> гл<авнокомандования>. В первый приезд Государь осыпал штаб милостями. Ну вот и к этому приезду они приготовились, и, действительно, их снова покрыли милостями. Но милость милостью, а дело делом. Но вот с дня приезда Государя в Ставку 22 окт<ября> все застыло. Никаких указаний больше не дают и сыплют телеграмму за телеграммой о наградах, о представлении к наградам, а о войне как будто и забыли. Все это очень грустно, ибо в результате — лишние жертвы.

Когда Государь был у нас в Седлеце, 26 окт<ября> в 8 ч. веч<ера>, то из разговоров за столом и затем частной беседы Рузского с Государем было видно, что он вовсе не в курсе дела. Многие его удивляло, многое интересовало. Рузский представил ему карту с боевым расписанием. Когда Рузский уходил, Государь вернул ему карту, на что Рузский сказал: «Ваше Величество», не угодно ли сохранить эту карту?» Госуд<арь> спросил: «А можно ли?» Это мелочь, конечно, но характерно то, что он три дня был в Ставке, и там ему общего плана войны не указали (да был ли он, вот еще вопрос?). А боевого расписания и подавно ему не дали, а то не обрадовался бы он так, когда Рузский ему отдал карту. Что Государю говорили в Ставке, — думается, что ничего. Да и не ему одному ничего не говорят, но и Верх<овному> гл<авнокомандующему> тоже.

Государь, как всегда, был бесконечно ласков со всеми, как всегда, все очарованы им, но его полное незнание обстановки войны глубоко всех смутило. Два-три вопроса, заданных за столом ген<ералам> Рузскому и Орановскому, ясно на это указывало. Все было глубоко убеждены, что Государь все знает, и разочарование было тяжелое, и невольно всякий задавал себе вопрос, как могли в Ставке его так плохо ориентировать. Конечно, все ж знают, что сам Верх<овный> гл<авнокомандующий> ничего не знает, и при этих условиях что мог он сказать Государю — ровно ничего. Кто во всем этом виноват, вряд ли когда-либо узнаем, но, по общему мнению, виноват (Черный) Данилов. Общую характеристику его деятельности я дал уже выше. Из распросов разных лиц видно, что у Данилова одно стремление — всю войну вести единолично. Никого не спрашивать, ни с кем не советоваться и всю славу и доблесть наших войск свести к своим стратегическим талантам. Ох уж эти кабинетные стратеги!

Несколько слов о приезде Государя в Седлец.

В воскресенье 26 окт<ября> за завтраком Орановский говорит мне, что сегодня вечером ожидается приезд Государя. Днем Кубе мне говорит то же самое, но со слов буфетчика. Мы видели усиленную чистку вокзала, несли флаги. Видна была суета. Я решил не идти встречать поезд, ибо делать нечего. Сидел у себя в вагоне и обедал, когда прибежал жандарм (это было в 7 1/2 ч. веч<ера>) и передал, что ген<ерал> Рузский меня требует на вокзал, куда он прибыл в ожидании поезда. Я живо оделся и пошел. Оказывается, ген<ерал> Рузский просил меня придти поговорить с ним. Дело было в том, что после завтрака Орановский говорит мне, что ген<ерал> Рузский представил меня к награде по телеграфу. На это штаб Верх<овного> гл<авнокомандующего> запросил, был ли я в сфере огня. Рузский спросил об этом полк<овника> Сегеркранца, который был со мной в командировке в Варшаве, который и ответил, что я был в сфере артилл<ерийского> огня. Вот Орановский и хотел у меня узнать, так ли это было. Я ему ответил, что в никакой сфере огня я не был. Единственно, когда я был в штабе 1[го] Сиб<ирского> кор<пуса>, то мы бы-

ли в 12 <верстах> от немецких батарей, а вовсе не [в] 5 <верстах>, как утверждал Сегеркранц. Дальность же артилл<ерийского> огня не превышает 8 <верст>. Орановский спросил, как же быть. Ген<ерал> Рузский уже ответил, что я был в сфере огня. Я заметил Орановскому, что так подводить меня нельзя и, ежели меня спросят, был ли я в огне, я отвечу, что не был. Орановский смутился, указав при этом, что тогда я подведу Рузского. Это не мое дело, ответил я и прибавил, что очень прошу представление к награде остановить, ибо вовсе не желаю быть помехой. Он и обещал поговорить с Рузским.

Вот на вокзале Рузский и говорит мне, что Орановский ему все передал, но что поздно, представление послано, и очень просит меня его не подводить и обещал в будущем свести меня под огонь, чтобы оправдать награду. Я умолял Рузского телеграфно вернуть представление, но он не хотел. Я ему сказал, что он ужасно меня подвел этим. Тогда он взял карту и хотел доказать, что тот пункт, где я был, дер<евня> Служевец, находится в сфере арт<иллерийского> огня, и если в то время, когда я там был, в эту деревню снаряды не падали, то могли. Эта история была мне очень неприятна, и я решил написать об этом д<яде> Николаше с просьбой меня не награждать, на что и получил на следующий день от него по телеграфу ответ: «Твое правильное желание будет исполнено. Дядя Николаша».

Благодаря этому я поехал на вокзал к моменту прихода царского поезда, проходя из Холма обратно в Барановичи. В 8 [ч.] 30 [м.] поезд подошел к станции Седлец. Хотя никто не должен был знать о приходе поезда, тем не менее вокзал наполнился офицерами. Как только поезд остановился, ген<ерал> Рузский был приглашен в поезд. Мы еще болтались на перроне, пока не пригласили к обеду. Из штабных были приглашены генералы. С Государем прибыли: военный министр Сухоминов, адм<ирал> Нилов⁵⁹, Воейков⁶⁰, кн<язь> Орлов⁶¹, Дрентельн, Нарышкин, Саблин⁶². После обеда Ники удалился к себе с Рузским, а нас отпустили. Я еще долго гулял по перрону. Болтал с Воейковым, с шоф<ером> Государя Кегрессом⁶³. После этого ушел к себе.

Генерал Рузский простудился и третий день лежит. Сегодня, 29 окт<ября>, заболел ген<ерал>-квартирм<ейстер> Бонч-Бруевич. По-видимому, в городе инфлуэнца.

Сегодня, 31 окт<ября>, ген<ерал> Орановский сообщил, что мы переезжаем в Варшаву, чтобы быть ближе к фронту, ибо 1 ноября начнется общее наступление.

1 ноября вечером весь штаб переехал в Варшаву и разместился в Лозенках в здании бывшей школы подхорунжих. Как помещение, так и удобства для штаба превосходные. Желать лучшего нельзя. Но то, что мы все ожидали, а именно, что пребывание штаба в таком большом городе, где еще кроме того центр всех политических веяний, вызовет массу неудобств. Во-первых, стали все кому надо и кому не надо ездить в штаб представляться ген<ералу> Рузскому. Старик и без того много дела, да еще его тревожат. Кроме того, присутствие штаба вызвало в городе массу сплетен и толков, которые, без сомнения, имели исходной точкой штаб. Было еще одно неудобство, а именно, что из Варшавы не так легко переехать назад в случае необходимости. Вперед, конечно, сколько угодно, но назад вызовет панику. А что именно назад, может, нужно будет уехать, покажет последующее.

К нашему приезду дела на фронте представлялись в следующем виде. По общей директиве 2 ноября оба фронта должны были начать наступление на линию Ченстохов — Краков — Карпаты. Долго наш Северный фронт ждал этот день, как просил он ускорить его, указывая, что задержка даст противнику возможность окопаться и вывести главные силы и затем перебросить их на Торнское направление. Но штаб Верховного остался глух к нашим мольбам, ссылаясь главным образом на Южный фронт, который запоздал в своих операциях и не дошел до намеченной линии. Наш фронт возражал, что операции Южного фронта должны быть выделены в совершенно особую операцию, не связанную с Северным фронтом, иначе оба будут лишь друг другу мешать. Но ничего не повлияло, и мы стояли две недели друг против друга. Когда же 2 ноября, согласно общей директиве, наш фронт начал наступление, то со стороны Торно появились 3 корпуса, идущие вдоль Вислы, сметающие по дороге наши слабые линии I арм<ии> на правом фланге. Неприятель оказался к 3 ноября уже в 60 <верстах> за нашим правым флангом. Пришлось спешно переправить на лев<ый> берег Вислы 2[-й] корп<ус> I арм<ии>. А затем, что и было самое трудное, повернуть на север II и V арм<ии>. Не имея железных дорог, было трудно быстро выполнить всю ломку фронта, и вот вся драма заключалась в том, успеют ли войска к 4 ноябр<ю> вечер<ом> стать на свои места, чтоб принять бой.

Именно в этот день я выехал в Петроград, и Орановский дал мне карту для Государя, где было показано, как войска стояли для наступления и как их пришлось повернуть для опережения наступления со стороны Торна. Приехал я в Петроград лишь 6 ноября, а у Государя был 7 ноября к завтраку. Николай Мих<айлович>⁶⁴, вернувшийся от Юж<ного> ф<ронта>, тоже был приглашен к завтраку. По лицу его видно было, что мое появление было для него очень неприятным. Он, вероятно, хотел за столом много говорить и по обыкновению все критиковать, но все время молчал или говорил вещи (простые), до войны не относящиеся. После завтрака я передал Ники карту и объяснил ему расположение армии. В углу кабинета стояло знамя австрийского полка, привезенное с Южного фронта.

15 ноября я выехал обратно в Варшаву и 17 ноября прибыл туда с мамой к 11 [ч.] 40 [м.] утра. Положение на фронте сильно изменилось за эти 14 дней. Был прорыв у «Бруина», правый фланг отодвинут назад, и на всем фронте отчаянные бои все время. Потери огромные. В личном составе тоже произошли большие перемены. Ген<ерал> Рузский 16 ноября ездил в Седлец на свидание с Верховным и Ивановым, и там было решено ком<андующего> I арм<ией> Ренненкампа⁶⁵ сменить за старые грехи ко всеобщей радости. Ком<андующего> II арм<ией> Шейдемана за целый ряд послушаний, крайнюю нераспорядительность и даже панический ужас тоже сменить.

Ком<андующим> I арм<ией> назначили ген<ерала> Литвинова⁶⁶, а для II арм<ией> предложили ген<ерала> Куропаткина⁶⁷. Он сам очень просил ему дать хоть корпус. Но так как ген<ерал> Куропаткин с прошлым, решили обождать приезда Ники в Ставку. Ответ получился отрицательный, без объяснений. Временно назначили ген<ерала> Алиева, ком<андира> IV корпус<а>.

Перед своим отъездом я устроился с Орановским, что буду у него каждый день в 9 1/2 [ч.], чтобы читать телеграммы и быть в курсе дела. Вот и 18 ноябр<я> я и приехал к нему. Читали сводку, отмечали расположение всех войск, затем последние донесения.

Неприятель в итоге собрал 11 1/2 корпус<ов> на правом берегу Вислы. Сила, конечно, огромная, но и нас немало. 12 корпус<ов>. Но вот где драма. Состав всего фронта (около 18 корпус<ов>) равнялся 16 ноябр<я> 175 000 вместо 600 000. То есть 1/4 и пополнения не идут. Вопрос теперь сводится к тому: удержат свои позиции до подхода пополнений, привести войска в порядок и затем лишь мыслить о наступлении. Вот почему был отдан приказ укрепить весь фронт усиленным профилем. Провести проволочные заграждения и держаться. Противник каждый день усиленно атакует наши позиции у Ловича и Лодзи и старается обойти наш левый фланг. Этот обход был сегодня, 22 ноябр<я>, взят в тиски, и мы ждем отступления обходной колонны. На самом правом фланге, в районе Илова, были частичные отступления, но с возвращением на старые места. Конечно, будь наши корпуса в полном составе, вопрос обстоял бы иначе, и мы могли бы перейти в наступление, но, имея лишь 1/4 всего состава, трудно что-либо предпринять. Конечно, не следует забывать, что и противник понес большие потери и его корпуса не в блестящем виде. Он до сих пор наступает густыми колоннами, неся при этом большие потери.

Итак, мы теперь стоим на месте, закапываемся, и лишь левый фланг придется отвести за Лодзь на линию Т[оглашова]. Но это последнее наше предположение зависит от Ставки, и мы очень боимся, что не дадут. А это крайне необходимо, ибо V арм<ией> имеет ужасно изломанную линию, благодаря чему корпуса растянуты. Осадка назад сокращает боевую линию на 1/3, что, принимая во внимание слабый состав корпусов, крайне необходимо и, главное, выгодно. Линию предполагаемого отхода укрепляют усиленно. Наша гв<ардейская> кав<алерия> имела блестящее дело под Петраковым, где ей пришлось удержать наступление целого корпуса, что и было выполнено. К сожалению, ком<андир> пех<отных> гренадер<ов> ...* был тяжело ранен и привезен к нам в госпиталь. Сегодня, 22 ноябр<я>, положение его было безнадежное.

По поводу вакансии на должность ком<андующего> II арм<ией> у нас имелось предположение, что туда назначить Алексева, нач<альника> шта<ба> Юж<ного> фронта, а на место Алексева назначить Данилова (Черного). Все это подтверждает предположение, что хотя избавиться в Ставке Верх<овного> от Данилова. Уже давно на него была масса нареканий, и даже Ники об этом знает. Многие о нем я уже писал выше, но за последнее время подобные факты стали вновь повторяться и, главное, он мешает всем операциям.

* Пропуск в дневнике для указания фамилии.

23 ноября

Сегодня при разборе бумаг между прочими было сообщение ген<ерала> Сиверса, ком<андующего> X арм<ией>, что за последнее время наблюдалась массовая сдача в плен, даже целыми ротами в 84[-й] п<ехотной> див<изии>. В одном случае сдалось целых три роты. Ген<ерал> Сиверс, давая оценку этому печальному случаю, просит провести законодательным путем закон, по которому всякий пленный теряет право в будущем возвращаться на родину и фактом сдачи в плен считается выбывшим из русского подданства. Я возразил Орановскому, что такую меру юридически трудно обосновать. Можно карать за сдачу в плен, включительно до смертной казни, но огульно признавать всех попавших в плен выбывшими из русского подданства повлечет много несправедливостей, ибо не все же добровольно попадают в плен. Смешивать же всех вместе не есть решение задачи. Положение на фронте за день успокоительное. Атаки прекратились, и даже заметно отступление неприятеля почти по всей линии. Неприятель понес весьма чувствительные потери. В некоторых полках в ротах не более 20 — 40 человек, а XXV кор<пус> почти целиком уничтожен. О каких-либо наступательных действиях с нашей стороны и речи быть не может. Надо пополнить убыль. Освежить материальную часть, пополнить запасы, а на все это потребуется немало времени.

24 ноября

Бой на фронте затих. Лишь в некоторых местах шла легкая артиллерийская перестрелка. Атак нигде не было. Отход левого фланга исполнен благополучно. Трудно пришлось лишь гв<ардейской> кавалерии под Петраковым, но и то к концу вчерашнего дня немцы отошли. Разведывательное отделение очень жаловалось на беспорядки в г. Варшаве, и приписывает это слабости воен<ного> губ<ернатора> ген<ерала> Турбина⁶⁸, и предлагает заменить его Енгальчевым⁶⁹. Разговор был также об секвестрации Варшавского газового завода, находящегося всецело в руках немцев. В других городах отделы этого общества были секвестрованы. Вероятно, так и будет сделано.

26 ноября

За эти два дня замечено было по агентурным сведениям прибытие IV нем<ецкого> кор<пуса>. Итого на левом берегу Вислы в итоге 13 1/2 корпусов. Неприятель усилил атаки на нашем правом фланге, но безрезультатно. На левом [фланге] за вчерашний день наша гв<ардейская> кавал<ерия> одержала успех, не допустив противника вперед, причем особенно отличилась наша 5 бат<арея>. Мы все ожидаем яростных атак неприятеля в центре и правом фланге, где обнаружено присутствие тяжелых артиллерий. Мы тоже подводим к Илову 120-пуд<овые> орудия из Н [ово]-Георгиевска. Движение корпуса на Цеханов — Млаву приостановлено. В X арм<ии> заметнее идет осадная война в траншеях и минами. Укомплектование идет, но очень медленно.

4 декабря

За истекшую неделю наши дела на левом берегу Вислы приняли очень неблагоприятный вид. Растянutosть линии фронта I, II и V армий, с изломанными фронтами, ставит задачу армиям очень трудной. Линия фронта идет от Вислы через Илов на юг восточнее Ловича, огибает Лович с запада, образуя здесь выдающийся полукольцо. Далее линия тянется на юго-запад на Гловно — Згерж, поворачивает на юг, западнее Лодзи на Рзгов, Тушин. В итоге правый фланг верстах в 100 от Варшавы, а левый в 200 с лишним. Неприятель сосредоточил главный удар на наш правый фланг V и VI Сиб<ирских> корп<усов>, которые, понеся большие потери, немного подались назад. Не имея резервов под рукой, пришлось стянуть туда с левого фланга I Сиб<ирский> корп<ус>, но путь далекий, и в случаях дальнейшего осаживания этих корпусов левый фланг не в силах помочь. Ввиду этого было решено левый фланг оттянуть назад, начиная от [Стрелкова], вытянуть фронт прямо на юг до Вольборж. Этим мы, правда, отдавали неприятелю Лодзь, но сокращением фронта выигрывали в силе линии огня. Сокращение выразилось приблизительно в 30% линии. Петраков оставался, таким образом, впереди нашего левого фланга на стыке Северного и Южного фронта. Для обеспечения прорыва туда был выслан гв<ардейский> кав<алерийский> корп<ус> Гилленшмидта⁷⁰, Новикова⁷¹ и др. Несмотря на более выгодную линию фронта все же оказать содействие правому [флангу] мы были не в силах. V и VI Сиб<ирские> корпуса в течение 10 дней выдерживали ожесточенные атаки, подались окончательно за р. Бзуру. Это поставило левый фланг в очень

ненормальное положение, и пришлось отвести весь фронт за Бзуру и Равку. Тут подготовлена позиция, конечно, еще не очень сильная, и надежда удержаться на ней долго сомнительна. Почему, спросит всякий? Ответ прост. Состав корпусов составляет лишь 1/4 нормального состава, а пополнение идет медленно. Кроме того, артиллерийских снарядов очень мало, что не позволяет вести интенсивный огонь. Конечно, как пополнение, так и люди, и снаряды подойдут, но на это надо время, а потому, весьма вероятно, придется отойти еще назад на укрепленный район Варшавы, где малый фронт позволит выводить в резерв части для пополнения и освежения, и, когда все корпуса будут доведены до полного состава, перейти в общее наступление. Все это, конечно, весьма печально, но грустная необходимость заставляет укрыться под защиту крепостей. В результате мы затягиваем кампанию месяца на два по крайней мере.

Наш крайний правый фланг X арм<ии> Сиверса ведет осадную войну на Мазурских озерах, медленно подвигаясь вперед. Укрепленный район Млавы успешно прогнал немцев за пределы к Сольдау. Я лично склонен думать, что немцы, как это всегда они делают, отошли сами при виде превосходящих сил. Южный фронт тоже отошел назад на линию р. Пилицы. Вот и общий итог. К 1 дек<абря> штаб фронта снова переехал в Седлец. Наш главнокомандующий очень устал там. Масса лиц его посещала и отымала лишь непроизводительно время. В Седлеце очень спокойно. [Конечно], Варшава была смущена отъездом штаба, но, в общем, перенесла это спокойнее, нежели многие ожидали.

За вчерашний день на фронте было спокойно. Атаки немцев не было. Почему и отход на линию Бзура — Равка выполнен спокойно.

8 дек<абря>

Войска благополучно отошли за Бзуру — Равку и стали укреплять свои позиции, усиливая их искусственными препятствиями. Неприятель все же около Сохачева форсировал переправы, но был отбит. По донесению разведывательного отделения, неприятель стал перегруппировать свои силы. Сперва была заметна группировка против нашего крайнего правого фланга, а теперь, агенты доносят, сосредоточение идет против центра, то есть южнее Сохачева, примерно у слияния Бзуры и Равки. Попытки неприятеля нажать на наш левый фланг (V арм<ии>) не удались. Также не удались атаки встык между Сев<ерным> и Юж<ым> фронтами, то есть между V и VI арм<иями>. Сильный кавалерийский заслон, действовавший в фланг наступающим колоннам, успешно помог отражению натиска. На Млавском направлении неприятель отошел к Сольдау за пределы границы. На линии Мазурских островов, в общем, без перемен. Сиверс медленно ведет наступление чисто осадными работами.

Вчера вечером г<енерал>-ад<ъютант> Рузский выехал на осмотр укрепленного района Варшавы.

За обедом Г. [А.] Скалон⁷² (Кут) передал мне со слов подъесаула Янова (1 Чит<инского> полка), что, проезжая на локомотиве с 2 на 3 дек<абря> между ст<анциями> Радом — Скаржинск с корнетом Скосырским (л<ейб>-гв<ардии> Грод<ненского> гус<арского> п<олка>) и капит<аном> Усачевым (1[-го] пехотн<ого> бат<альона>), машинист им жаловался, что нач<альник> Привисл<енской> ж<елезной> д<ороги> ген<ерал>-м<айор> Гескет⁷³ делает все возможное, чтоб задерживать движение эшелонов. С этой целью поезда простаивают по несколько часов на полустанках, а в Люблине при постройке перекидного моста рабочим материалом завалено несколько путей, мешающих движению. Кроме того, сократив доход машинистов с 90 р. в месяц на 40, он будто желает вызвать этим с их стороны забастовку, которую они не сделают ввиду войны и общего патриотического духа, но после войны такая забастовка возможна, ибо действия ген<ерал>-м<айора> Гескета нетерпимы и явно вредят военным действиям. Названные выше три офицера желали бы, чтоб их выслушали, и готовы подтвердить свои показания.

Выслушав это не более и не менее как явное обвинение ген<ерала>-м<айора> Гескета в измене, я решил на следующий день поговорить с Орановским. Он, конечно, счел обвинение в измене чересчур сильным, но, принимая во внимание, что вообще на Привисл<енской> ж<елезной> д<ороге> замечен большой беспорядок, он принял к сведению и сказал, что посмотрит.

10 дек<абря>

За вчерашний день на Млавском направлении немцы снова повели наступление на Цеханов — Мехов со стороны Млавы. Расположенный там 1[-й] Тур<кестан>

ский» корп<ус> под нач<альством> ген<ерала> Шейдемана (бывш<его> ком<андующего> II арм<ией>) начал отражать натиск, но, по мнению ген<ерал>-кварт<ир-мейстера> Бонч-Бруевича, Шейдеман, проникнутый вечной паникой, не способен принять должные меры, и с минуты на минуту можно ожидать весьма нежелательных результатов. У Млавы был выдающийся геройский поступок двух прапорщиков, которые ночью подползли к арт<иллерийскому> биваку и, начав стрелять из винтовок, навели панику, причем одно орудие в полной запряжке двинулось по их направлению без ездовых, которые разбежались. Поймав лошадей, они сели верхом и привезли орудие в штаб корпуса. Орудие оказалось 4 1/2-д<юймовой> гаубицей.

На остальном фронте немцы вели отчаянные атаки, понесли огромные потери, но успеха не имели. И наши потери немалы. В одном из полков V корп<уса> осталось лишь 4 оф<ицера>. Пленных взято мало. По донесению видно, что пленных не берут. Против 10-й арм<ии> в ночь к аванпостам явился немецкий офицер и сдался в плен.

По сообщениям пленных, укомплектование немецких частей идет из добровольцев. Это свидетельствует о том, что запасы людей исчерпаны и приходится взывать к добровольцам.

13 дек<абря>

За эти дни существенных перемен на фронте не было. Немцы немного продвинулись вперед в исходящем углу фронта, у слияния р. р. Бзуры и Равки, и мы отошли назад, выпрямив эту линию, что выгоднее в смысле сокращения фронта, и, кроме того, исходящий угол подвергал наш фронт фланговому огню. На левом фланге немцы не продвинулись, но и мы успеха не имели. В X арм<ии> начался штурм Летцена. Результаты еще не известны.

Из мелочей можно отметить наблюдающееся за последнее время распространение брошюр и воззваний к полякам и немцам против России. Было много случаев ловли шпионов в Варшаве. Особенно подозрительные люди были замечены в гост<инице> «Аполло» и в доме № 18 по Крак<овскому> предм<естью>. Установлено наблюдение. Вообще шпионство сильно развито. Много хлопот задает «Бристоль». Там все подслушивают разговоры, и было много случаев, что именно из «Бристоля» выносились сведения весьма секретного характера. Хотели даже закрыть ресторан в «Бристоле», но этому воспротивился нач<альник> шт<аба> Орановский.

14 дек<абря>

Сидел я у себя после завтрака в вагоне, когда получил от Орановского письмо с приложением телегр<аммы> на имя ген<ерал>-ад<ъютанта> Рузского от Янушкевича следующего содержания: «Его Величество ожидает в Ставке Великого князя Андрея Владимировича для возложения поручения». Телеграмма была подана из Барановичей в 12 ч. 40 [м.] дн<я>, а я получил ее лишь в 2 ч. 45 м. дн<я>. Сейчас же пошел к ген<ералу> Рузскому проститься, получил для передачи ген<ералу> Янушкевичу пакет и в 4 ч. 40 м. с экстренным поездом выехал в Барановичи. В 8 ч. в Бресте встретил Ник<олая> Мих<айловича>, который ехал из Холма, вызванный такой же телеграммой. Зачем мы понадобились в Ставке, мы понять не могли и, как ни вертели, в чем дело, так и не договорились. Прибыли в Барановичи в 16 [ч.] 45 [м.] вечера и на моторе поехали к поезду Государя. Он как будто не ожидал нашего приезда и ничего не сказал даже о причинах вызова. Оттуда я зашел к Янушкевичу, передал ему пакет ген<ерала> Рузского и вернулся домой в вагон.

15 дек<абря>. Понедельник

В 11 3/4 [ч.] Николай Мих<айлович> и я, мы поехали к завтраку в поезд Ники. За столом было 26 пер<сон>. После завтрака Ники позвал меня к себе и передал поручение объехать I, II и V армии и благодарить по корпусам всех за службу. Государь приказал благодарить в следующих выражениях: «Горячее спасибо за доблестную боевую службу». Для выполнения этого поручения надо попасть в штаб корпуса, а ежели возможно, то и в части, где это представится возможным. В X арм<ию> будет командирован Георгий Мих<айлович>, в IV и IX — Ник<олай> Мих<айлович>, а [на] юг — Петя Ольд<енбургский>.

В 5 [ч.] мы выехали обратно в Седлец.

По возвращении в Седлец ген<ерал> Рузский, которому я передал о полученном мною высочайшем поручении, просил меня собрать по дороге сведения по артиллерии.

16 декабря я выехал в объезд через Варшаву. Не вдаваясь в подробности своих путевых впечатлений, приведу здесь в общих чертах то, что я донес главнокомандующему после командировки.

Артиллерия: среднее состояние боевых припасов в корпусах: I, II, V арм<ий> и укрепленного района — указано в приложенной таблице (таблица эта была приложена к моему отчету), из которой видно, что легких [орудий] в бригадах и мортир* в дивизионах осталось около 1/4 боевых припасов при нормальном соотношении между шрапнелями и гранатами.

В тяжелой артиллерии остаток колеблется от 1/5 до 1/6 нормального запаса, но соотношение между шрапнелями и бомбами нарушено. Бомб по норме должно быть 1/3, а налицо в 42[-х] линейных пушках около 1/10, а в 6 дм. несколько лучше.

По данным некоторых корпусов можно определить в среднем суточный расход на одно орудие в 5 патронов для легких орудий. Эту норму следует признать за среднее максимальное. За первый период войны, то есть до того дня, когда было указано на необходимость в соблюдении экономии в расходовании снарядов, артиллерийская стрельба велась очень интенсивно и весьма часто без определенной задачи. Благодаря этому подвижные запасы быстро истощались и пополнение из местных парков не поспевало за расходом. В данное время местные парки почти пусты. В настоящее время на весь фронт поступает 4 парка в месяц, что составит, считая на весь фронт, около 1800 3-х дм. орудий; в сутки на одно орудие — 2,2 патрона. Можно допустить даже не 2,2, а 3 патрона, так как часть орудий находится в ремонте. Такое пополнение запасов, с соблюдением известной разумной экономии, вполне обеспечивает легкую артиллерию. В наиболее тяжелом положении наши лучшие пушки, 42-лин<ейные> дальнобойные. По частным сведениям, заготовление фугасных бомб так затруднено. Это очень тяжело отзывается на успехе нашего огня в борьбе с неприятельскими дальнобойными пушками. Легкая артиллерия бессильна с ними бороться.

Почти все инспектора артиллерии корпусов указывали на желательность увеличить количество пулеметов в дивизиях или по крайней мере довести их до нормы. За последнее время много пулеметов выведено из строя и не заменено новыми. Уменьшая силу артиллерийского огня при отражении атак в силу вынужденной экономии в расходовании снарядов, следует восполнить этот недостаток усилением пулеметного огня.

Инспектор артилл<ерии> I арм<ейского> корпуса князь Масальский⁷⁴ просил дать ему поршневые пушки, ежели они обеспечены достаточным количеством снарядов. При нынешней позиционной войне окопы сближены на очень короткие расстояния, и поршневые пушки вполне могли стрелять с успехом. Это дало бы возможность еще более экономить снаряды и накопить ко дню наступления полный боевой комплект.

Материальная часть во всех бригадах вполне исправна. Снабжение с большим успехом справляется с этой задачей, заменяя новыми предметами испорченные и сломанные. Во II кав<алерийском> корп<усе> нарезки почти во всех пушках сорваны и еще не заменены новыми, о чем сообщено в снабжение.

Парковая бригада 79[-й] ар<тиллерийской> бр<игады> была сдана в г. Двинск по расположению коменд<анта> Новогеоргиевской кр<епошти> ген<ерала> Бобыря⁷⁵ в августе месяце, и бригада возить свой боевой комплект полностью не может. Обывательские подводы, коими заменены зарядные ящ<ики>, цели не достигают. Та же участь постигла и 77[-ю] ар<тиллерийскую> бр<игаду>.

Офицерский состав почти во всех пехотных полках не превышает 10 — 15 и лишь в редких случаях достигает в некоторых полках 25. Были полки с одним офицером. Этот вопрос сильно озабочивает всех корпусных командиров и командующих армиями. Без офицеров вести атаки почти невозможно. Даже сидение в окопах без офицеров пагубно действует на людей. Командир I арм<ейского> корп<уса> рассказал случай, когда пришел из окопа унт<ер>-оф<ицер> просить дать им в окоп офицера, хотя бы<...> чтобы сидел у них, а то, как он выразился, «мы сбежим».

Командующий I арм<ией> предлагал расформировать 67 и 76[-ю] пех<отные> дивиз<ии> как проявившие недостаточную доблесть и влить их в другие дивизии, чем увеличится состав офицеров. В крайнем случае взять офицеров с этапов.

Команд<ующий> II арм<ией> полагал бы лучше взять офицеров от кавалерии, где есть сверхкомплект.

Общее мнение — ежели будут выбиты из строя последние офицеры, то, сколь-

* Далее зачеркнуто в дневнике слово «артиллерийских».

ко бы ни присылали на укомплектование нижн<их> чин<ов>, полк сформировать невозможно.

Саперы работают по отзывам всех корпусных ком<андиров> свыше всякой похвалы. Впереди окопов устроены проволочные заграждения. Окопы доведены до полной профили и расположены в два ряда. Впереди ночные, а сзади дневные. Для резервов сделаны убежища с печами. Сибиряки даже умудрились устроить бани под землей. Лопата, к которой раньше относились весьма небрежно, считая ее за лиш- ний груз, теперь ценится солдатами, и каждый бережет свою лопату, как винтовку.

Санитарное состояние в войсках превосходное. Холера в I арм<ии> локализу- ется, а во II были лишь единичные случаи (8). Большим подспорьем для войск был бы нормальный отпуск дров. С наступлением холодов в окопах без костров обой- тись нельзя. Приходится рубить лес, что вызывает, весьма естественно, много наре- каний со стороны помещиков, но запретить рубку невозможно.

Общий восторг войск вызвал **поезд-бани**. Те корпуса, которые имели возмож- ность им воспользоваться, прямо не нахвалятся. Всех вымыли, дали чистое новое бе- лье. Верхнюю одежду пропустили через стерилизационные камеры. После чего всех напоили чаем.

Тыл во II и V арм<иях> отлично устроен. Тыловые пути разработаны в дета- лях. Всюду выставлены указатели дорог, куда дорога идет. Ночью горят фонари. В этапных пунктах — подробные указатели на всех углах, указывающие, где этапный комендант. Обозы двигаются действительно по своим путям и в большом порядке. Чистота всюду большая. Падали не видать. Бродячих солдат нет. Команды пополне- ния идут в порядке и строго по своим путям. Все селения охраняются караулами, и патрулируются улицы и выходы.

В I арм<ии> тыл не так хорош. Отсутствие на дорогах и перекрестках указате- лей ведет к блужданию команд. Я лично встретил заблудившуюся команду в тылу II Кавк<азского> корп<уса>, которая шла в VI Сиб<ирский> [корпус]. Какими судь- бами команда так заблудилась, понять трудно было, но указать дальнейший марш- рут было еще труднее за отсутствием указателей на дорогах. При этом наступала ночь, и команда вряд ли могла раньше утра дойти до VI Сиб<ирского> корп<уса>.

По всем дорогам валяются неубранными павшие лошади, которых грызут [со- баки] и клюют вороны. Трупы некоторых лошадей на вид валяются довольно про- должительное время. В некоторых местах видел собак, разрывающих закопанные трупы лошадей. Внутренности после убоя скота валяются на полях.

Встречается масса бродячих отдельных солдат. Кавалерии было даже поруче- но делать облавы в лесах и болотах. За один день было переловлено свыше 600 че- ловек. В некоторых селениях хотя и были патрули, но цели они не достигают. Обо- зы загромождают дороги, и проехать через эту гущу повозок иногда прямо невоз- можно.

Дописав этот [доклад], я передал [его] нач<альнику> шт<аба> ген<ералу> Ора- новскому 23 дек<абря>, а 24 дек<абря> ген<ерал> Рузский имел со мной довольно длинный разговор по этому поводу. Главное касалось вопроса артилл<ерийских> патронов.

Ввиду того, что я ехал в штаб Верх<овного>, он просил меня переговорить о многом с Верх<овным> гл<авнокомандующим>, что мне не удалось сделать за от- сутствием времени.

24 дек<абря> я выехал в Ставку и 25 дек<абря> успел лишь доложить о пред- полагаемой смене ком<андира> XXIII корп<уса> ген<ерала> Сирелиуса⁷⁶. Верх<ов- ный> гл<авнокомандующий> предложил назначить на эту должн<ость> ген<ерала> Олохова⁷⁷, ком<андира> I Гв<ардейской> п<ехотной> д<ивизии>. После завтрака я переговорил с Орановским по аппарату, и дело кончилось назначением ген<ерала> Олохова. Вечером того же дня я выехал в Петроград, куда и прибыл 26 [декабря] ночью.

29 дек<абря> я являлся Его Величеству и между прочим доложил, что вопрос с офицерскими наградами так плохо поставлен, что до сих пор почти никто ничего не получил. Я предложил в виде проекта мысль учредить подвижные Георгиевские ду- мы. Мысль эта понравилась Ники, и он поручил мне написать об этом кн<язю> Ор- лову, чтоб он этот проект разработал и доложил ему.

В этот же день я написал Орлову следующее письмо: «Объехав по Высочайше- му повелению часть Северо-Западного фронта, я имел случай лично опросить всех командующих армиями, корпусных командиров и большинство нач<альников> ди- визий, командиров бригад и команд<иров> полков и низших начальников о положе- нии офицерских наград. Во всех без исключения частях награды офицерам очень за- поздали и запаздывают. Причин к тому очень много. Главным образом запоздание

в наградах произошло от частой перегруппировки частей войск, причем части переходили много раз не только из одного корпуса в другой, но из армии в армию и даже из одного фронта в другой. При этом вся переписка часто возвращается обратно в части, на что требуется очень много времени, принимая во внимание трудность в доставлении документов в части, находящиеся в бою.

Кроме того, созыв думы Георгиевской при штабах армий на практике оказался очень трудным. Главный контингент Георгиевских кавал<еров>, число которых должно быть в думе семь, находится в строю, и отрывать их без явного ущерба для боя не всегда представляется возможным.

Созыв же думы из числа лиц той же армии влияет очень часто на решение думы, где младшим приходится судить старших, а старшие, при личных счетах, влияют на судьбу младших.

В итоге все вышеуказанные причины затянули дела о наградах до крайности. Есть случаи, что представление к награде осталось до сих пор без ответа с самого начала войны.

Этот вопрос сильно озабочивает всех начальников. Своевременность наград имеет большое нравственное значение. Подвиг должен быть награжден без замедления (ст. 19. Статута).

Большая потеря в офицерском составе в пехоте до 80% свидетельствует уже о беспримерной их [отваге], а наград почти нет.

Я здесь говорю лишь о Георгиевских крестах и оружии, так как награждение остальными орденами передано теперь в руки главнокомандующих и командующих армиями и идет почти нормально.

Обсуждая вопрос, как ускорить дело о награждении офицеров Георгиевским крестом и оружием, возникла мысль о создании подвижных дум с независимым от действующей армии составом, дабы, с одной стороны, ускорить дела о наградах, сосредоточение представления в руках лиц, не занятых в армии, и, кроме того, обеспечить решения думы большим беспристрастием.

Количество подвижных дум зависит от наличности в данное время свободных от дела Георгиевских кавалеров в государевой свите и в армии вообще. Но было бы желательно иметь хоть по одной думе на фронт. В состав каждой думы следовало бы назначить хотя бы по одному генерал-адъютанту. Это придало бы думе больший авторитет. В каждую думу можно было бы назначить от 4 до 5 лиц с тем, чтобы недостающее число Георгиевских кавалеров бралось бы на местах. Вызвать в думу двух-трех лиц не представляется трудным.

Представления о наградах следовало бы направлять прямо из штабов корпусов в эти думы, которые, не будучи заняты ничем другим, могут скорее и легче разбирать представления и в случае необходимости получать на местах дополнительные данные или поручать одному из членов думы на месте расследование упомянутых в представлении геройских поступков.

На днях я имел* возможность лично доложить Его Величеству об изложенном выше проекте, и Его Величество поручил мне сообщить этот проект Вам для доклада Его Величеству Вашего мнения по сему вопросу, каковую высочайшую волю я спешу ныне исполнить».

Пока до 6 января 1915 [г.] я по этому поводу больше ничего не слышал.

1915 год

8 янв<аря>

Сегодня у мамá пил чай мин<истр> иностр<анных> дел С. Д. Сазонов⁷⁸. Я там не был, но Борис говорил, что, по его словам, польский вопрос почти окончательно установлен. Решено дать им полную свободу вероисповедания, право в школах преподавать на польском языке, кроме главных предметов (истории, географии, русского языка и религии православной). Полное самоуправление, все должности замещаются поляками — русские тоже, но при условии знания польского языка, и, наоборот, поляк может служить в России, но должен знать русский язык. Судьи — поляки. Границы немного расширим, но не русскими землями, а новыми, завоеванными. Открытым остался вопрос об общем сейме. Местные и губернские в принципе приняты, но еще не общий на всю Польшу.

* Далее в тексте зачеркнуто слово «случай».

В общем, им дают почти полную свободу — и не спрашивают у нас, что, вероятно, они в скором будущем отделятся от нас. Туда им и дорога! Я не вполне согласен с этим мнением. Столько крови пролили за эту войну — и все на польских землях, и так халатно смотреть на будущее! Ежели так, то не стоило и воевать в Польше. Отдать Дакарданеллы и Босфор. Раз отвоевали да еще прибавили кое-что, то не для того, чтоб отдавать или создавать рядом новую независимую страну, да еще с перспективой, что она отделится в скором будущем. <...>

15 января

Прибыл я в Варшаву около 12 1/2 [ч.] и, покушав, выехал на моторе по Сохачевскому шоссе в штаб II арм<ии>. У Блона свернул налево и около 3-х часов был в Гродиске у ген<ерала> Смирнова⁷⁹. Там я в подробности узнал, где поставлены крепостные орудия, и выяснил, что присылка этих орудий очень кстати и вполне удовлетворяет моему назначению. Даже присылка еще одной батареи будет принята с благодарностью. То же относительно поршневой артиллерии — отказа нет.

Вообще ген<ерал> Смирнов — человек жизни, идет навстречу всему, всегда готов помочь и сознает полезность того, что ему предлагают. Зашел, между прочим, разговор о взаимной поддержке между армиями в тех случаях, когда неприятель атакует стыки двух различных армий. Ген<ерал> Смирнов на это сказал: «Я всегда поддерживаю соседей, вот в [Меского] 16 атак поддерживал и не только артил<ерийским> огнем, но и штыками. Я всегда выручаю соседей, и меня в этом отношении хорошо знают. Вот вы почитайте, что пишет ген<ерал> Сиверс в приказе, когда я ушел от него, почитайте и увидите. (Он встал, достал из жестяной коробки из-под бисквитов бумажку и подал мне. Это был приказ ген<ерала> Сиверса, в котором он проща[ется] с ген<ералом> Смирновым по случаю назначения его из команд<ующего> XX корпуса командующим II арм<ией>. Действительно, приказ был написан в очень теплых выражениях и в особенности было подчеркнуто, что ген<ерал> Смирнов всегда выручает соседей, как бы ему самому тяжело не было.) «Вот, читали,— сказал ген<ерал> Смирнов, когда я ему вернул приказ,— читали, но вот видите, и никто меня не упрекнет в желании не поддержать соседа. Это первое дело — взаимопомощь. Ну и с I арм<ией> у меня тоже хорошие отношения. Главнокомандующий был мною немного недоволен, будто мы с Литвиновым ссоримся, но это не так, вот почитайте (и сует мне бумагу за подписью Литвинова, где было сказано, что он может быть уверен, что I армия всегда поддержит 2-ю). Вот какие у нас отношения». Относительно артиллерии он сказал, что за всякую пушку буду благодарен.

Оттуда я поехал к ген<ералу> Литвинову. Настроение относительно артиллерии крайне противоположное. Зачем нам эти пушки? Трудно их перевозить, тяжесть громадная, а ежели будем отступать, то куда же их девать. Мы их взяли, чтобы не огорчать Главнокомандующего, но они нам не нужны. Вот что я услышал в штабе I арм<ии>. Мне казалось, что причина к тому была лень обдумать новую вещь, лень решить вопрос, как поступить с орудиями, лень шевелить мозгами по новому делу — живому, полезному. По новому и, конечно, сложному. С грустью в сердце я уехал от них и вернулся в 8 ч. вечера к себе в вагон.

16 января

В 11 1/2 [час.] я на моторе выехал на [Гуров] в штаб VI арм<ейского> корпус<а> к ген<ералу> Гурко. Поговорив немного, мы вместе поехали на позиции, где были крепостные орудия, и присутствовали при стрельбе. Разрывы были видны простым глазом. Молодой прапорщик, ком<андир> взвода, очень симпатичный и расторопный, давал отличные ответы на задаваемые вопросы, и было видно, что он вполне в курсе дела. Когда я его спросил, хорошо ли ты знаешь свои 120 пуд. 6 дм. пушки, он мне с гордостью ответил: «Я крепостник, Ваше Императ<орское> Выс<очество>!» Так как стрельба шла интенсивная и по телефону ком<андир> бат<ареи> беспрестанно давал приказания, то разговаривать долго было трудно, и мы пошли назад. Неприятель начал пристреливаться к батарее. Шрапнели рвались по сторонам, но мы благополучно вышли из сферы огня и вернулись в штаб. Батарея стреляла при мне на 3 в<ерсты> 100 с<ажней> по вы<со>те Шидловской. Была слышна пулеметная и ружейная трескотня и ясно видны разрывы чемоданов.

16 января

Около 10 ч. вечера ко мне в вагон зашел кн<язь> Енгальчев, новый варшавский ген<ерал>-губернатор. Разговор был длинный и по разным вопросам. Отмечу их по памяти, не ругаясь за порядок и последовательность.

Разговорились относительно гр<афа> Адама Замойского. Кн<язь> Ен<галычев> на это говорит мне: «А вы знаете, что он уже со мной выкинул? Накануне моего выезда в Варшаву, 7 янв<аря>, я был в Ставке Верховного. Гр<аф> Ад. Замойский отзывает меня в сторону и предупреждает, что в день моего приезда готовится в Варшаве целый ряд террористических актов на должностных лиц, и советует отложить поездку. Я ему ответил, что предупреди он меня раньше, то я мог бы и отложить, но меня ждет вся Варшава, и было бы крайне неудобно в последнюю минуту отменить приезд, который связан с целым рядом приемов и встреч. Он мне ответил, что у него есть список лиц, замешанных в заговоре, и между ними — известный общественный деятель доктор Завадский^{79а}, организатор скорой помощи, много потрудившийся в деле эвакуации раненых, и что по этому списку все эти лица будут в эту ночь арестованы. Приезжаю я в Варшаву и, конечно, внутренне чувствовал себя не очень хорошо, но все прошло благополучно. Как только я приехал в замок, то вызвал жандармов. Они не имели улики против лиц, отмеченных в списке гр<афа> Ад. Замойского, и, конечно, не арестовали бы их, но получили категорическое приказание из Петрограда и должны были исполнить. Я приказал им немедленно расследовать все улики, и на следующий день, получив сведения, что против них абсолютно ничего нет, я вызвал своего помощника сенатора Любимова и говорю ему: поезжайте в то место, где заключен докт<ор> Завадский, а если вам неудобно ехать, то я сам поеду. Но мне кажется, что вам удобнее это исполнить, и скажите ему, что новый ген<ерал>-губ<ернатор>, расследовав дело о вашем аресте, увидел, что это было весьма печальное недоразумение. Вы свободны, и ген<ерал>-губ<ернатор> надеется, что этот арест не повлияет на вашу полезную деятельность, которую он и вся Варшава ценят. Эффект получился boenff*. Все только об этом и говорили. Через три дня получаю я от ген<ерала> Янушкевича телеграмму с повелением Верховного освободить всех заключенных и чтоб это имело вид извинений. Я ему ответил, что уже это сделал лично три дня тому назад. *(Далее в тексте рукописи вклеена вырезка из газеты «Новое Время» за 20 января 1915 г.)*

За австрофильство

На днях арестованы 40 человек с председателем общества скорой медицинской помощи докт. Завадским и членом центрального обывательского комитета прис. пов<еренным> Дзевульским. Арестованным предъявлено обвинение в австрофильстве. («Варшавское Утро»).

Относительно польских легионов произошло нечто прямо невероятное. Представьте себе, является ко мне полковник [Горгинский] с бумагами. В одной из них, за подписью лиц из штаба Юго-Западной армии**, говорится по пунктам, что [заяуряд]-полковнику такому-то с разрешения Верх<овного> гл<авнокомандующего> и командующего Юго-Зап<адной> арм<ии> ген<ерал>-ад<ъютанта> Иванова разрешается формировать польские легионы из лиц только польской национальности, командный язык — польский, офицеры — поляки, и что легионы будто всех трех родов оружия, и высшие командные соединения будут под начальством лиц, перечисленных в бумагах, а общее руководство по формированию поручено Польскому национальному комитету. Другая бумага гласила, что разрешается в соборе Св. Яна в январе освятить для этих легионов хоругви и что легионы будут присягать под этими хоругвями на польском языке, причем показал мне присяжный лист, точный перевод нашей присяги, причем перевод засвидетельствован полковником из штаба Иванова. Я у него взял эти бумаги, говоря, что они ему теперь не нужны, и посоветовал съездить к Иванову в штаб, ибо тут, говорю ему, есть недоразумение. Да, вот забыл прибавить, что в бумаге было сказано, что в легионы поступают все новобранцы 1915 года [из] губерний Царства Польского.

Недоразумение вот в чем. Вы, конечно, знаете, что в армии есть знамена, а не хоругви, и знамена жалуются Государем Императором. Присяга же происходит не под знаменем, а в присутствии знамени. Присягают же перед крестом и Евангелием. Что же касается легионов, то по общему принципу единства армии могут быть только польские дружины государственного ополчения, формирование коих идет общим порядком уездными польскими начальниками.

Немедленно я написал Алексееву, нач<альнику> шт<аба> Иванова, что мы старые знакомые, а потому позволяю писать Вам совершенно откровенно. Польские легионы в том виде, как Вы разрешили их формировать, — [это] походит на

* Здесь: разочарование, неудовольствие.

** Так в документе: имеется в виду Юго-Западный фронт.

восстановление польской армии, а так как это вовсе не входит в виды правительства, то Вас могут обвинить в создании польской армии. Кроме того, нахожу совершенно недопустимым поручать формирование этих легионов Польскому национальному комитету, который, между прочим, не существует как таковой, а есть лишь группа лиц польской знати. Формировать воинские части должны уездные воинские начальники, и может быть сформировано лишь государственное ополчение и ничто другое. Между тем явившийся ко мне [зауряд]-полковник был в форме полковника, и на погонах золотом вышиты латинские буквы "P. L.". О том же я написал и в Ставку. Главное, что поляки вовсе не желали этих легионов, им это скорее навязали, а отнимать — конечно, может вызвать неудовольствие.

Относительно **общей программы**, то я получил точные инструкции от Его Величества и, главное, просил во вступительной речи упомянуть, что воззвание Верховного главнокомандующего остается в силе и как база моей деятельности. В деталях моей речи я просил разрешения, говоря о Польше, сказать «губернии Царства Польского», а не Привисленский край. Выражение «губернии Царства Польского» находится в законе и часто повторяется. Сказать же «Привисленский край» — это ложка [дегтя] в бочке с медом. Выражение для поляков обидное. Государь согласился с этим, и теперь всюду будет сказано «губернии Царства Польского». Речь моя была одобрена всеми министрами и Верховным главнокомандующим.

Приехал я в Варшаву и с вокзала проехал прямо в собор. Местный владыка лично в соборе меня не встречал, а прислал викарного епископа. Отслужил молебен Святому Александру Невскому, не знаю почему, могли бы по крайней мере Святому Николаю, едали не хотели Государю. Зато в католическом соборе был сам местный епископ со всем духовенством и масса народу. Он меня приветствовал краткой речью, в которой выразил надежду, что я отнесусь с любовью к многострадальному польскому народу. Затем отслужили молебен о здравии Государя. После этого состоялись приемы в замке. Один только не приехал, это наш епископ Николай.

Когда я к нему заехал с визитом, то, как говорят, он хотел сперва меня пастырски благословить. Ну, это, конечно, не так. Он, между прочим, явно против слов воззвания Верховного главнокомандующего. Я ему заметил, что это воззвание опубликовано с ведома Государя, который и желает провести все, что там сказано, а потому нам, русским, здесь следует поддерживать волю Государя, а кто не желает это делать, тому лучше не служить в этом крае.

«Ну конечно, конечно, само собою разумеется», — ответил он мне. Понял, в чем дело, и сразу круто повернул.

Был потом у католического епископа. Подтвердил ему, что вопрос о веротерпимости будет проводиться широко, но что я надеюсь, как веротерпимость с нашей стороны, то такая же веротерпимость должна быть к православной религии и со стороны католического духовенства. И, главное, я надеюсь, что, пользуясь этой полной веротерпимостью, я не увижу пропаганды со стороны католического духовенства. В этом случае всю власть, мне данную, а она огромна, я приложу к прекращению пропаганды и надеюсь, что вы дадите подчиненному вам духовенству соответствующие указания и не дадите мне повода с сожалением применять эту власть. Ну, это старик умный, понял меня отлично, и с ним дело пойдет на лад. А вот с нашим это трудно будет. Поговорю с обер-прокурором Святейшего Синода Саблером. Надо решить, как ему быть, а то он ни в собор, ни в замок не является. Мне лично, конечно, безразлично, но положение, мною занимаемое, не допускает этого, а главное — католическое духовенство ведет себя так корректно, и это сравнение говорит не в пользу нашего духовенства.

Приезд Государя в данное время я считаю несвоевременным. Не говоря уже о том, что это и опасно, бомбы бросаются аэропланами довольно часто. Приезд должен быть обставлен очень торжественно и обдуманно. Не может Государь приехать и ничего не сказать полякам. Это будут толковать как неподдержание слов воззвания Верховного. А если говорить, то это должно быть точно, положительно и глубоко обдуманно. Кроме того, я считаю, что нахождение неприятеля на территории Польши является моментом, когда приезд нежелателен. Неприятель должен быть прогнан за пределы наших границ, и тогда приезд будет своевременен и может быть обставлен с должным блеском и торжественным. Кроме того, Государь должен остановиться в Лозенках, а дворец пуст. Все вещи вывезены, и замок опустел. Прием при этих условиях весьма затруднителен.

Конечно, мое положение трудное. Каждый шаг должен быть взвешен и обдуман, но и результаты при благоприятных условиях могут быть прямо исторически-

ми. Я говорил Государю: «Ваше Величество. Я службой не дорожу, я человек свободный, я дорожу лишь Вашим расположением ко мне и пользой дела». Я вспомнил при этом покойного фельдмаршала Гурко⁸⁰, когда он был варшавским ген<ерал>-губер<натором>. За его спиной стоял Александр III⁸¹, и Гурко знал, что Государь его всегда поддержит, а потому не боялся министров и работал вполне свободно и самостоятельно, что очень необходимо в такое время. Я много спорил в Петрограде о том, что, по-моему, именно теперь, а не после войны надо решить будущность Польши и постепенно проводить в жизнь в строго определенных рамках известный план. А то воззвание Верховного толкуется уже слишком распространительно, и ежели сразу не ввести все в рамки, то после войны или даже через более или менее продолжительное время аппетиты могут возрасти, желания примут размеры недопустимые, а тогда вводить все в более узкие рамки будет не только трудно, но и вызовет массу неудовольствия. Теперь же эти рамки широки, и расширять до известных пределов всегда легче, нежели втискивать в пределы. Его Величество со мной согласился, и со стороны Верх<овного> главн<окомандующего> я имею полную поддержку. У меня с ним еще со времени гусарского полка установились отличные отношения. Когда мне нужно, то я пишу его нач<альнику> шт<аба> Янушкевичу, которого вел<икий> кн<язь> Николай Мих<айлович> так хорошо охарактеризовал: «Дама, приятная во всех отношениях», пишу ему и подсказываю, какой ответ мне нужен.

Относительно наместничества, то это вопрос уже в принципе решенный.

Польше дадут полное внутреннее самоуправление, свободу религии, языка, но в школах — история, география и русский язык обязательно на русском языке. Открытым еще остался вопрос об областной съезде, то есть сейме. Мин<истр> вн<утренних> дел Маклаков⁸² тут протестует, да еще многие интригуют против, и Воейков тоже. Но незыблемыми остаются единство армии, финансов, внешняя политика, правосл<авная> религ<ия> считается господствующей, таможня.

Много вопросов еще остаются спорными и нерешенными. Между прочим — коронация Государя как короля Польского в Варшаве. Тут — очень много как «за», так и «против».

Вот что говорил мне в течение часа кн<язь> Енгальчев у меня в вагоне на Брестском вокзале в Варшаве от 10 до 11 ч. вечера. До этого он был у Рузского в вагоне тут же на вокзале.

17 января

В 11 часов утра я поехал в замок отдать визит кн<язю> Енгальчеву. Мы снова разговорились. «Я сегодня получил шифрованную телеграмму из Ставки», — говорит мне кн<язь> Енгальчев, — и вопрос о польских легионах решен в том духе, как я вам вчера говорил. Ну, слава Богу, с этим теперь покончили. А то потом было бы трудно справиться. Без того теперь идет сильная подпольная агитация, главным образом поддержанная из Германии. По-видимому, они потеряли надежду на полную и окончательную победу и решили хотя бы смутой нам мешать. Борются со смутой теперь весьма трудно. Администрация совсем заснула. Уже при Скалоне в последние годы, когда он был так болен раком и умер в своем кабинете тут рядом, вот почему я не устроил там свой кабинет, гражданская администрация ничего не делала, а при Жилинском⁸³, который ни во что не вмешивался, все распалось. К тому же и охранное отделение, боясь нашествия немцев, сожгло свой архив, все фотографии, карточки и приметы, и теперь надо все вновь заводить. Да и охранное отделение было неважное. Бывший помощник ген<ерал>-губ<ернатора> по полицейской части сам себе устроил покушение в прошлом году, за что получил ленту, а все охранное отделение — награды. Теперь его уволили в отставку, и он живет здесь, в Варшаве, и его сын, который по 102 ст<атье> отбыл 4 года в тюрьме, а теперь, вероятно, забыли про это, восстановили его во всех правах, и он поступил снова на службу. Теперь у меня новый помощник по полицейской части. Я ему сказал, чтобы он работал, как знает, но что я сохраняю за собой полную свободу передвижения по городу и чтоб мне в этом не мешали. Я давно уже предупреждал Государя, когда Скалон еще был болен, что на такой пост необходимо готовить по несколько кандидатов, чтоб была преемственность в работе и смена не отражалась на всей политике по управлению краем. И без того людей мало. Ну кто же у Государя под рукой? Я говорил Влади Орлову: зачем вы набираете в ген<ерал>-адъютанты лиц, которых Государь видеть не желает, с которыми он вовсе не говорит и которым даже поручить ничего нельзя? Благо у многих репутация неважная. Хотя бы Клейгельс⁸⁴. Назначили Пантелеева⁸⁵ расследовать самсоновское дело⁸⁶ и в связи с этим и Ренненкампа. Ну что он понимает в военном деле? Ровно ничего. Откомандовал Семе-

новским полком, а потом командовал корпусом жандармов. Ну и в результате несмотря на массу улик против Ренненкампа он в докладе все улики смазал. А между тем многие командиры батарей показали, что они получали приказание в Восточной Пруссии во время боев по таким-то участкам не стрелять, и при расследовании оказывалось, что эти участки принадлежали родственникам Ренненкампа. У управляющих некоторыми имениями были найдены за подписью Ренненкампа охранные листы, чтоб наши войска не трогали бы ничего. И эти поместья также принадлежали Ренненкампу. Кроме того, из Германии были получены сведения, что немцы очень интересовались его денежными делами. Все это входило уже характеризует Ренненкампа, и у военного министра Сухомлинова уже собран целый том с обвинительными документами. Теперь разобрать это дело поручено генералу адъютанту Баранову⁸⁷. Это человек глубоко порядочный и, конечно, доведет дело до конца. Но долгое время Государь верить не хотел. Я ему неоднократно говорил, но он все как-то уклонялся и сомневался в правде. В этом много виноват князь Орлов, который был в переписке с князем Белосельским⁸⁸, а последний состоял при Ренненкампе и не командовал своей бригадой, которая входила в состав той же армии. Белосельский сильно поддерживал Ренненкампа, [которого поддерживал] и Андриуша [Шувалов]⁸⁹. Я ему однажды говорил: что Вы делаете, Россию губите, защищая такого генерала. На это [Шувалов] мне ответил, что Ренненкампу ему однажды в жизни помог, и он считает своим долгом и его теперь выручать. Я ему сказал, что это не причина и интересы государства должны быть выше личных чувств. Орлов тоже не прав. Он пользовался кроме того частными агентами, с которыми сносился жандармским шифром, и, конечно, сведения, добытые таким путем, не могут быть всегда очень чисты. А надо быть очень осторожным с Государем. Так легко в его глазах очернить кого бы то ни было, и даже ежели он и не поверит, то все же остается немного. И ежели нет точных данных о ком бы то ни было, лучше не говорить, как плохое, так и хорошее. Но ежели есть точные сведения, то надо говорить всю правду. Это долг каждого перед своим Государем. Ну вот, как я говорил, Государь долго не верил мне, а я его довольно часто видел, когда был начальником штаба в 6-й армии в Петрограде. Государь очень интересовался делами войны, и никто его не держал в курсе дела. Я ездил к нему рано утром, никто не знал об этом. Однажды я нашел большую перемену в Государе. Он мне сам стал говорить про Ренненкампа, обвиняя его. Оказывается, у него был до этого великий князь Дмитрий Павлович и имел четырехчасовой доклад у него. Дмитрий Павлович хорошо знал детали всего этого дела, и его доклад сильно повлиял на Государя.

Я лично думаю, что Ренненкампа один виноват во всем этом деле. Жилинский гораздо меньше, хотя Верховный главнокомандующий мне сказал, [что] не знал я Жилинского на прежней службе — я бы даже заподозрил его в высшей измене. Этот вопрос, конечно, трудно решить.

А вот на Кавказе — дела творятся. Прямо чудеса что такое! Бедный граф Воронцов⁹⁰ так рамолен*, что перед приездом Государя ему вприсынули камфору, и он мог три минуты говорить с Государем. После чего впал снова в полный рамолимент. Он и доклады больше не принимает. Графиня к нему никого не пускает. Принимает лично все доклады и управляет всем Кавказом лично, как гражданской частью, так и военною. Вообразите, что даже штаба армии нет. Нет командующего, ничего нет. И это прямо чудом генерал Юденич⁹¹ спас положение. Так нельзя это было оставить. Теперь туда послан Сашка Воронцов⁹². Мы его одели кавказцем и поручили (я вел с ним эти переговоры), чтоб он убедил своего отца поручить Мышлаевскому⁹³ командование армией и сформировал бы ему штаб, а он пусть остается главнокомандующим. Сашка был у Верховного и теперь уехал на Кавказ. На это я расказал Енгальчеву то, что мне говорил генерал Гулевич про тот же Кавказ.

Государь был на Кавказе, эту часть в скобках**. Я лично уже слышал от Государя. (Ему Воронцов докладывал, что наступление турок нельзя ожидать раньше февраля — марта, когда снега стают. Потом Государь был в Сарыкамыше⁹⁴ и только успел доехать обратно до Ставки, как была получена телеграмма, что Сарыкамыш уже окружен турками.) Как теперь оказалось, именно в то время, когда Государю докладывали, что турки будут наступать не раньше февраля — марта, два их корпуса уже обходили нас справа, а в то время, когда Государь был в Сарыкамыше,

* От французского *gamolli* — расслабленный, физически и умственно немощный, впавший в слабоумие человек.

** Так в тексте.

авангард турок показался уже на горах, и курды, по сведениям пленных, даже хотели обстрелять царский поезд, но никак не ожидали, что он так скромно выглядит. Через два дня после отъезда Государя Сарыкамыш был занят. Из этого видно, в какой опасности Государь был благодаря беспечности и халатности штаба кавказского наместника.

Самое же дело под Сарыкамышем произошло следующим образом. Город этот лежит на единственной жел<езной> дор<оге> в тылу нашей армии, и с его захватом тыл был окончательно отрезан. Когда еще только обозначилось наступление турок, в армию (там всего было 1 3/4 корп.) был<и> послан<ы> Мышлаевский и Юденич. Они ехали на моторе. Но уже Сарыкамыш был обложен со всех сторон и проехать нельзя было. Мышлаевский повернул мотор и поехал прямо в Тифлис, заявив, что смертельно заболел, и слег там в постель. Юденич же как-то прорвался мимо Сарыкамыжа, добрался до армии и, как уже известно, разбил турок наголову. Узнав о блестящей победе, Мышлаевский выздоровел и требует себе Георгиевский орден.

В это же время дежурный генерал штаба наместника ген<ерал> Веселовзоров⁹⁵ послал всем министрам и многим другим лицам телеграммы с извещением, что турки под стенами Тифлиса, что Кавказ будет завоеван турками, положение безнадежное и что необходимо прислать немедленно два корпуса. Верх<овный> главн<окомандующий>, когда узнал об этом, потребовал увольнения генерала Веселовзорова, но гр<аф> Воронцов умолил Верх<овного> гл<авнокомандующего> его оставить как единственного его помощника и без него он ничего не может. Как оказалось, ген<ерал> Веселовзоров — личный друг графини, и это она пустила за его подписью эти телеграммы, и она же опять именем гр<афа> Воронцова упростила его не убирать.

На этом мой разговор с кн<язем> Енгальчевым кончился, и я уехал. В приемной он мне представил своего пом<ощника> сен<атора> Любимова⁹⁶, жанд<армско-го> ген<ерала> и других лиц.

В 4 ч. я выехал обратно в Седлец.

Дело в том, что я был послан в VI арм<ейский> корпус осмотреть установку 120 пуд. крепостных орудий. Я был там вчера на позициях и смотрел стрельбу и оборудование. Поставлены орудия на [Болимовском] шоссе в 3-х верстах от позиций, в специальных окопах, по две пушки в каждом окопе. Окопы отлично [за]маскированы деревьями, и в 20 шагах ничего не видать. В случае налета аэроплана орудия прикрываются елками. К сожалению, отсутствие хороших дорог не позволяет поставить пушки ближе к лесу и дать им более глубокий обстрел. Необходимо было бы проложить полевою жел<елезную> д<орогу>, но материал не дают им. Пришлось ставить на шоссе, то есть близко от шоссе, что, конечно, дает неприятелю возможность легче их найти по карте. И то уже шпионы подожгли домик близ батареи, когда орудия были установлены. К счастью, неприятель пристреливался, но не нашел их (пока).

Главнокомандующий заинтересовался этим, но дальнейших указаний я не получил, а потому о втором выезде я пока не думаю.

По поводу этой поездки я написал доклад, но никто не требовал, и он остался у меня при деле в черновом виде вместе со схемой местности.

20 января

Сегодня у меня был ген<ерал>-л<ейтенант> Борис Эммануилович Похвистнев⁹⁷. Он заведует в штабе снабжения артиллерийским отделом и как старый артиллерист близко принимает к сердцу все вопросы об артиллерии. Самый большой вопрос теперь — это снабжение артиллерии. Изготовление артил<ерийских> патронов на наших заводах идет ужасно медленно. Еле-еле 12 парков в месяц, то есть 360 т<ысяч> патронов, когда потребность около 1 1/2 миллиона. Заграничные заказы могут поспеть только около марта — апреля и то не наверное. Теперь же приходится быть до крайности экономным, а это не всегда возможно. За последние дни были снова атаки немцев, и, конечно, огонь был развит сильный. С винтовками тоже не налаживается. Месячная порция наших заводов — 45 т<ысяч>, а сейчас нужно вооружить 800 т<ысяч> новобранцев, а запасов нет. Специалисты говорят, что можно утроить производство, но что-то не налаживается. В Японии куплены винтовки Арисака обр<азца> 1897 [года] калибра 2,56 [лин.]. Чудные винтовки, но патронов

мало. Всего 125 шт. На каждую. Всего куплено 300 т<ысяч>. И с вопросом, кого ими вооружить, тоже вызывает споры. Таким числом можно вооружить целую армию, а то хотят их дать ополченцам. Но эти ополченцы уже принимают участие в боях, а при таком распределении винтовок вопрос о снабжении патронами крайне труден. Да и изготовление к ним патронов не налажено, а что можно сделать с 125 патронами. Мало. Из Италии тоже идут винтовки, но в меньшем количестве и тоже не нашего калибра. Были закуплены и в Америке, но там что-то произошло с вопросом об уплате. Американцы хотели уплату золотом, а наши хотели векселями. Наш же финансовый агент в Америке протестовал против уплаты векселями, ссылаясь на то, что появление наших векселей на американских биржах может дурно повлиять на наш курс. Затем, касаясь вообще вопроса о постановке артиллерийского дела в армии, мы сошлись с ним во взгляде, что этот вопрос поставлен очень неудовлетворительно. Уже в штабе Верховн<ого> чувствуется отсутствие специалиста. Все сосредоточено в руках офиц<еров> Ген<ерального> шт<аба>, и они, конечно, не будучи специалистами, многие вопросы затягивают, а на многие не реагируют, так как артилл<еристы> при корпусах инсп<екторами> артил<лерии> обезличены. У них нет ни власти, ни престижа. Этим и объясняется часто наблюдаемое неправильное расходование патронов, стрельба по целям недопустимым, вроде приказа обстрелять Лович, чтоб погугать неприятеля.

В этом отношении главный штаб много виноват. Он ни за что не хотел вообще допустить артиллер<истов> в штабы армий, и единственную должность в шт<абе> [ответственного за] снабж<ение> определил не выше чина ген<ерал>-майора. Это, конечно, отзывается на многих вопросах чисто технического свойства [и] крайне вредно. <...>

24 янв<аря>

Зашел сегодня в оперативное отделение посмотреть на карту, в каком положении наши операции на линии [Боржимов — Болимов — Гузов]. За пять дней с 18 по 23 янв<аря> мы потеряли тут 40 000 ниж<них> чинов, 700 оф<ицеров> на пространстве 7—10 верст. Эта операция вызвала ожесточенную критику почти всех офицеров штаба. Весь наш фронт молчал, пока шли эти бешеные атаки, нигде не было сделано попыток перейти в наступление, чтоб хоть немного отвлечь внимание неприятеля и этим ослабить напор на такую маленькую дистанцию. Даже по сведениям развед<ывательного> отд<еления> немцы убрали 4 корпуса, часть на Карпаты, а часть в Вост<очную> Пруссию. И несмотря на такое ослабление фронта все же не двинулись. Уж ежели и нужно было принести такие колоссальные жертвы, то лучше было бы перейти в наступление всем фронтом. А теперь что же вышло? Правда, немцы линию не прорвали, но и мы не [про]двинулись, и в результате потери не принесли решительно никакой пользы. Конечно, трудно критиковать все в такие времена, и история покажет, кто прав. Но больно смотреть на это полное отсутствие энергии и желания взять инициативу в свои руки! <...>

27 янв<аря>

Зашел к нач<альнику> шт<аба> ген<ералу> Гулевичу⁹⁸ проситься в Варшаву видеть мамá. Он говорил, что неприятель зашевелился, всюду напирает, и нам необходимо что-либо предпринять, чтобы парировать его удары. Гв<ардейский> корпус подтянут к Варшаве, но куда его двинуть, еще неизвестно. Ждут сегодня возвращения главноком<андующего> из Ставки. Он, вероятно, привезет необходимые сведения. Вообще наступает новый фазис войны, а именно активных действий с обеих сторон. И сам Гулевич того мнения, что надо активнее действовать и не терять из своих рук инициативы, как мы это всегда делали.

29 янв<аря>

Узнал сегодня утром следующие печальные сведения. Неприятель повел вчера наступление на X арм<ию>, на ее правый крайний фланг у [Ласдмена], против 3<го> корп<уса> и на левый от [Иоганисбурга]. Первый напор был на левый фланг, куда ген<ерал> Сиверс и стянул резервы; на другой день они пошли против правого фланга и отбросили 4<-й> кор<пус> Епанчина⁹⁹, который, по официальному донесению Сиверса, «рассеян». В силу этих обстоятельств вся X арм<ия> вынуждена была

отойти назад, оперевшись правым флангом в Кр. Ковно, а левым — в новую группу у Остроленки. Итак, в один день нас выбили из Вост<очной> Пруссии. Естественно, что весь штаб был очень опечален этим. Тут есть доля неожиданности, но и есть доля нераспорядительности. Неоднократно говорили главн<окомандующему>, что нельзя держать армии без резервов. Но он был противного мнения, что резервов быть не должно. Все должны драться. В силу этого ни у одной арм<ии> нет в резерве ни одного солдата. При этих условиях прямо невозможно парировать [неприятеля] фланговым ударом. Приходится брать [войска] с фронта, этим ослаблять фронт (тришкин кафтан), и немцы пользуются этим, чтоб вновь наносить удары по тому месту, откуда были сняты войска.

Х армия Сиверса в ноябре была очень сильна (7 к<орпусов>), и резерв вполне обеспечивал его фланги. Но вот решили, что это лишняя роскошь — иметь резерв, и у него отобрали 3 к<орпуса>. А теперь вновь приходится везти ему II гв<ардейский корпус>, XIX. Опять мы ослабляем Варшавский фронт. Чем кончится вся эта операция, мы узнаем на днях, но положение очень трудное. Кроме того, немцы подвоят свежие корпуса и можно ожидать, что еще где-нибудь они произведут напор.

Наш глав<нокомандующий> из Ставки проехал прямо к Плеве в XII арм<ию>, и там с глазу на глаз установили районы и планы действий. Сделал он это один, ибо никого с собой не взял. На это, как слышно, очень обиделись как ген<ерал>-кв<артирмейстер> Бонч-Бруевич, так и нач<альник> шт<аба> Гулевич, что при решении таких важных вопросов их совсем не спросили.

О результатах поездки глав<нокомандующего> в Ставку сведений нет никаких. Положение, надо признать, очень серьезно, и решения должны быть очень взвешены и рассчитаны. А то многие боятся, что все же общего, цельного плана не выработали, а решают все по отдельным фактам. Вообще наш фронт удивительно мало маневрирует. Вся инициатива постоянно в руках неприятеля, а у нас даже самого мало-мальского цельного плана нет. А неприятель там. Все бросается туда. Ушел неприятель — мы отдыхаем, пока он снова не вздумает наступать. И так все время с самого начала войны. Бегаем за помощью, за неприятелем.

В 5 ч. Епанчин еще отошел назад под Ковно. Положение не выяснено. Наступление 12-й арм<ии> не может быть начато раньше 1 февр<аля>, то есть через три дня, когда закончится сосредоточение корпусов. Это может быть и запоздалой помощью. Во всяком случае, без общего маневрирования не обойтись. Надо же на что-нибудь решиться в конце концов. <...>

По поводу здоровья ген<ерала> Рузского должен записать следующее. В последний приезд Ники в Ставку он меня спросил, как здоровье Рузского. Я ответил, что хорошо. Но все же поинтересовался узнать, почему меня спрашивает. Ники сказал, что он вообще слышал, что ген<ерал> Рузский болен, сильно устал, разнервничался и, главное, что он морфиноман. Последнее я ни подтвердить, ни отрицать не мог, ибо впервые об этом слышу, но никаких намеков на морфий у меня нет. После этого разговора я присматривался ко всем мелочам, но ничего не мог заметить.

Из этого разговора одно, несомненно, ясно, что о здоровье Рузского были разговоры и довольно серьезные, иначе Ники при своей необычайной деликатности никогда бы не намекнул на морфий. По-видимому, этот вопрос сильно беспокоит Ники, и у него, наверное, было сомнение на счет нормальности Рузского, ибо морфий именно нарушает полную нормальность человека. Мне кажется, что все это есть симптомы нарождающихся сомнений относительно Рузского. И ежели эти сомнения появятся в достаточном количестве, то судьба Рузского может быть решена довольно определенно. Возможно, конечно, что, напротив, эти сомнения рассеются сами собой, и тогда картина будет иная, то есть положение Рузского окрепнет. Потом увидим, что будет. Пока же надо наблюдать. Интересно, как ему пройдет инцидент с X арм<ией>. За этот отход ген<ерал> Жилинский был смещен. Ренненкампф уволен. Над Орановским висел дамоклов меч, и он сам предпочел уйти до того момента, когда дамоклов меч его не прикончил. Из разговоров слышал, что в Ставке только удивлялись, почему Орановский раньше не ушел. Значит, это давно подготавливалось. Рузский, по-видимому, не поддерживал Орановского и скорее был рад, что он ушел. До сих пор в приказе ему ни полслова благодарности. Это нехорошо!

Примечания

¹ Сухомлинов Владимир Александрович (1848—1926) — участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., кавалер ордена св. Георгия 4-й ст., имел ранения, награжден именным оружием за храбрость. Генерал от кавалерии (1906), генерал-адъютант свиты императора. Командующий войсками Киевского военного округа, киевский, подольский и волынский генерал-губернатор (1905—1908), подвергался покушению революционеров-террористов. Член Государственного Совета, начальник Генерального штаба (1908—1909), военный министр (1909—1915). В марте 1916 г. арестован, но за недостаточностью улик со стороны обвинения освобожден. В 1917 г., после Февральской революции, вновь арестован и осужден за государственную измену и преступления по должности к бессрочной каторге. 1 мая 1918 г. амнистирован по возрасту и состоянию здоровья, тогда же эмигрировал в Финляндию, а затем в Германию. Скончался в Берлине в бедности.

² В начале 1914 г. великий князь Андрей Владимирович оставил командование батареей в связи с предоставлением ему места в свите императора. В письме к своей матери великой княгине Марии Павловне от 6 января 1914 г. он спрашивал совета: «Вопрос, по которому я хочу узнать Ваше мнение, заключается в следующем. Поскольку я команду батареей (уже второй в течение прошедших 4-х лет) и сделал для страны более того, что могу, я нахожу правильным передать молодым офицерам ту должность, которую занимаю. <...> Я писал об этом генералу Орановскому, моему командиру, и он чрезвычайно одобряет мой план, находя, что будет правильным передать мою должность старшему офицеру, который для нее подходит, и, таким образом, я не буду обязан командовать «дивизионом», и это он находит совершенно необязательным... Я буду ждать Вашего ответа перед тем, как написать Ники <...> Ваш любящий сын Андрей».

³ Кирилл Владимирович (*Кирилл*, 1876—1938) — великий князь, внук императора Александра II, старший сын великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны, двоюродный брат императора Николая II, родной брат великого князя Андрея Владимировича. В 1905 г. против воли императора и канонов православной церкви женился на своей двоюродной сестре, великой княгине Викторнии Федоровне (урожденной принцессе Викторнии-Мелите Саксен-Кобург-Готской), брак был признан императорской фамилией в 1907 г. Имел в браке сына и двух дочерей. Окончил морской кадетский корпус. Участник русско-японской войны, служил на броненосце «Петропавловск», на котором держал свой флаг вице-адмирал С. О. Макаров в Порт-Артуре. При подрыве на mine и гибели броненосца получил небольшую контузию. Кавалер золотого оружия (1904), контр-адмирал (1915), командир гвардейского экипажа (1915—1917). С июня 1917 г. — в Финляндии, с 1920 г. — в эмиграции в Швейцарии, Германии, Франции. В 1922 г. объявил себя местоблюстителем престола, а 31 августа 1924 г. — императором Кириллом I. Ряд представителей династии Романовых не признавали этот акт законным. Проживал в приморском городке Сен-Бриак в Бретани (Франция). Скончался 12 октября 1938 г. от склероза и начавшейся гангрены в Париже. Был похоронен 19 октября в Кобурге (Германия), в фамильном склепе герцогов Саксен-Кобург-Готских рядом со своей женой. В 1995 г. перезахоронен вместе с супругой в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Петербурге.

⁴ Николай II Александрович (*Ники*, 1868—1918) — сын императора Александра III и императрицы Марии Федоровны, российский император (1894—1917); взшел на престол 21 октября (3 ноября по новому стилю) 1894 г. К этому времени имел воинское звание «полковник», которое сохранил за собой до конца своего царствования, не считая возможным присвоить себе очередной воинский чин. Короновался 14 мая 1896 г. Женат с 15 (27) ноября 1894 г. Дети: Ольга (1895), Татьяна (1897), Мария (1899), Анастасия (1901), Алексей (1904). Первая мировая война тяжким бременем легла на Россию и способствовала развитию революционной ситуации в стране. Недовольство царским правительством подвигло ряд политических и военных деятелей на дворцовый переворот, который обернулся Февральской революцией и в конечном результате привел к Октябрьской социалистической революции в России. Император Николай II во избежание гражданской войны отрекся от трона (фактически был низвергнут) и вместе с семьей заключен под домашний арест в Александровском дворце Царского Села, а в начале августа 1917 г. выслан в Тобольск. После прихода к власти большевиков царская семья в конце апреля 1918 г. переводится на тюремный режим в Ипатьевский дом в Екатеринбурге. В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. все были тайно расстреляны, а в печати было объявлено о казни только бывшего императора Николая II. Зарубежная Русская Православная церковь (31 октября — 1 ноября 1981 г. в Нью-Йорке) канонизировала царскую семью и их приближенных.

⁵ Великий князь Николай Николаевич (*младший, Николай, Николаша*, 1856—1929) — внук императора Николая I, старший сын великого князя Николая Николаевича (старшего) и великой княгини Александры Петровны Ольденбургской, двоюродный дядя Николая II. Женат был на великой княгине Анастасии Николаевне (черногорской принцессе Стане), вдове герцога Георгия (Юрия) Максимилиановича Лейхтенбергского, и под ее влиянием одно время был близок к Г. Е. Распутину, но затем стал его ярким противником. Окончил Николаевское инженерное училище (1873), Николаевскую военную академию (1876, с серебряной медалью и занесением на мраморную доску). Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., состоял офицером для особых поручений при главнокомандующем; за переход через Дунай награжден орденом Св. Георгия 4-й ст., за переход через Балканы в составе отряда генерала Гурко — золотым оружием. Затем последовательно командовал лейб-гвардии гусарским полком, 2-й бригадой 2-й кавалерийской дивизии, в 1895—1905 гг. — генерал-инспектор кавалерии. Генерал-адъютант свиты императора (1894), генерал от кавалерии (1901), председатель Совета государственной обороны (1905—1908), командующий войсками гвардии и Петербургского военного округа (1905—1914). В начале первой мировой войны и после отречения от престола Николая II являлся Верховным главнокомандующим (20 июля 1914 г. — 23 августа 1915 г., 2—11 марта 1917 г.), награжден орденом Св. Георгия 3-й ст. (за взятие Львова в 1914 г.) и орденом Св. Георгия 2-й ст. (за взятие Перемышля в 1915 г.). Главнокомандующий Кавказской армией и наместник царя на Кавказе (24 августа 1915 г. — 1 марта 1917 г.). После Февральской революции находился в ссылке в имении Дюльбер (Крым). В конце марта 1919 г. эмигрировал и проживал в Италии. В 1922 г. поселился на юге Франции, с 1923 г. — в Шуаньи (под Парижем). С декабря 1924 г. принял от барона П. Н. Врангеля руководство деятельностью всех русских военных зарубежных организаций, которые к этому времени оформились в Русский общевоинский союз (РОВС). Среди части белой эмиграции считался главным претендентом на престол. Умер 5 января 1929 г. в Антибе (Франция). Похоронен в русской церкви г. Канны.

⁶ Русский Николай Владимирович (1854—1918) окончил Николаевскую военную академию (1881), принимал участие в русско-турецкой войне (1877—1878), в русско-японской войне (1904—1905) — начальник полевого штаба 2-й Маньчжурской армии, командир 21-го армейского корпуса, член военного совета, генерал-адъютант свиты императора, генерал от инфантерии (1909), командир армейского корпуса. В кампании 1914—1917 гг. — командующий 3-й армией Юго-Западного фронта, главнокомандующий Северо-Западным фронтом, 6-й армией и Северным фронтом. Кавалер ордена Св. Георгия 2-й и 3-й ст. В Ставке генерала Русского в Пскове был подписан императором Николаем II акт об отречении от престола, что было осуществлено под непосредственным давлением генерала и военных деятелей. Узнав о проведении в жизнь выборного начала в армии, в апреле 1917 г. подал в отставку и уехал на лечение на Северный Кавказ. В октябре 1918 г. зарублен красногвардейцами как заложник в Пятигорске.

⁷ Великая княгиня Мария Павловна (*старшая*, 1854—1920) — вдова великого князя Владимира Александровича (брата Александра III), урожденная принцесса Мария-Александровна-Елизавета-Элеонора Мекленбург-Шверинская, дочь великого герцога Мекленбург-Шверинского. Мария Павловна, выйдя замуж в 1874 г. за великого князя, оставалась протестанткой, приняла православие 10 апреля 1908 г. Президент (с 1909 г.) Академии художеств. Вместе с великим князем Николаем Николаевичем стояла во главе великокняжеской оппозиции по отношению к императору Николаю II и его жене Александре Федоровне. Их объединяла ненависть к «позорному Гришке Распутину», доведшему, как им казалось, монархию «до последней черты», презрение к «истеричной и претендующей на власть» императрице и подчинявшемуся жене императору, боязнь революции. Салон великой княгини группировал вокруг себя все недобольные властью великосветские и иностранные дипломатические круги общества столицы. В случае монархического переворота и смены династической ветви власти она по старшинству рода могла перейти к ее сыновьям. После Февральской революции некоторое время оставалась под домашним арестом в Кисловодске, где в то время вместе с младшим сыном, великим князем Андреем Владимировичем, находилась на отдыхе. Позднее, в феврале 1920 г., на итальянском пароходе «Семирамида» эмигрировала из Новороссийска вместе с сыном Андреем и его гражданской женой балериной М. Ф. Кшесинской, жила в Швейцарии и Франции. В сентябре 1920 г. великая княгиня Мария Павловна после непродолжительной болезни скончалась в маленьком курортном городке Контрексевиль департамента Вогезы на востоке Франции, где и была похоронена в специальной часовне, построенной для нее и двух младших ее сыновей.

⁸ Владимир Александрович (1847—1909) — великий князь, третий сын императора Александра II, дядя императора Николая II. С 1874 г. был женат на урожденной принцессе Мекленбург-Шверинской — великой княгине Марии Павловне (старшей), имел сыновей: Александра (умер младенцем), Кирилла, Бориса, Андрея и дочь Елену. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. в должности командира 12-го армейского корпуса, награжден орденом Св. Геор-

гия 3-й ст. и золотым оружием с бриллиантами (1878). Генерал от инфантерии (1880), генерал-адъютант свиты императора. В 1881—1905 гг. — главнокомандующий войсками гвардии и Санкт-Петербургского военного округа, член Государственного совета, сенатор, член Комитета министров, товарищ президента (1869—1876) и президент (с 1876) Академии художеств. С его именем связано строительство здания Николаевской академии генерального штаба (на Суворовском проспекте), Офицерского собрания армии и флота, создание Экономического общества офицеров в Петербурге.

⁹ Мария Федоровна (*Минни*, 1847—1928) — дочь датского короля Христиана IX и королевы Луизы, урожденная принцесса Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская, с 1866 г. супруга императора Александра III, от брака с которым родила шестерых детей, мать императора Николая II. Шеф Кавалергардского полка (с 1881). В России осуществляла высшее управление учреждениями ведомства императрицы Марии. По ее инициативе возникли Мариинские женские училища для малообеспеченных девушек-горожанок, являвшиеся промежуточной ступенью между начальными низшими школами и средними учебными заведениями. После Февральской революции вместе с семьей старшей дочери, великой княгини Ксении Александровны, находилась на положении ссыльной в своем имении в Крыму. 11 апреля 1919 г. на борту английского броненосца «Мальборо» покинула вместе с родственниками пределы России. Проживала и умерла в Дании в 1928 г.

¹⁰ Александра Федоровна (*Аликс*, 1872—1918) — урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, с 1894 г. российская императрица, жена императора Николая II. Ее матерью была английская принцесса Алиса (дочь королевы Виктории), а отцом — гессенский герцог Людвиг IV.

¹¹ Царское Село — ныне г. Пушкин, находится в 25 км от Санкт-Петербурга; до Февральской революции 1917 г. здесь в Александровском дворце находилась постоянная резиденция Николая II и царской семьи; с 9 (22) марта до 1 августа 1917 г. императорская семья содержалась там под арестом. В Царском Селе были расквартированы 1-й и 4-й лейб-гвардии стрелковые резервные полки и другие воинские части.

¹² Кубе фон, Федор Федорович — адъютант великого князя Андрея Владимировича, полковник лейб-гвардии 4-го стрелкового императорской фамилии полка.

¹³ Ермолинский Николай Николаевич — генерал-майор по гвардейской пехоте (декабрь 1911), был адъютантом Верховного главнокомандующего, великого князя Николая Николаевича, затем шталмейстером двора великого князя Николая Николаевича, занимал должность шталмейстера двора е. и. в. великой княгини Елизаветы Маврикиевны (июнь 1916); воспитатель князей Олега и Игоря Константиновичей.

¹⁴ Олег Константинович (1892 — 1914) — князь императорской крови, четвертый сын великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнук императора Николая I. С начала первой мировой войны на фронте; был смертельно ранен в августе 1914 г. в Восточной Пруссии. За проявленные мужество и смелость на фронте отмечен орденом Св. Георгия 4-й степени. Похоронен в склепе часовни в имении Осташево (Московской губернии). Могила не сохранилась.

¹⁵ Игорь Константинович (1894—1918) — князь императорской крови, пятый сын великого князя Константина Константиновича и великой княгини Елизаветы Маврикиевны, правнук императора Николая I; штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского е. и. в. полка, флигель-адъютант (февраль 1916) свиты императора Николая II. Убит под Алапаевском в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной и великими князьями. Похоронен при Св. Серафимовском храме в Пекине.

¹⁶ Цейге фон Мантейфель Вернер Германович — лейб-хирург, действительный статский советник, доктор медицины, ординарный профессор Императорского Юрьевского университета.

¹⁷ Опцель Владимир Андреевич (1872—1932) — выдающийся русский, советский хирург; окончил Военно-медицинскую академию (1896), защитил докторскую диссертацию (1899), заведовал кафедрой хирургической патологии и терапии с клиникой в ВМА (с 1908), кафедрой академической хирургии (1918—1932); в 1931 г. основал и возглавил кафедру военно-полевой хирургии ВМА.

¹⁸ Мартынов Алексей Васильевич (1868—1934) — крупный русский, советский хирург, заслуженный деятель науки; окончил медицинский факультет Московского университета (1891), защитил докторскую диссертацию (1897); с 1910 г. — профессор и директор госпитальной хирургической клиники медицинского факультета Московского университета; опубликовал более 60 научных трудов; председатель съезда российских хирургов, почетный член Общества русских хирургов; пользовался большим авторитетом среди коллег, в 1928 г. делал операцию острого холецистита академику И. И. Павлову.

¹⁹ Георгиевский крест — орден Св. Георгия — был учрежден в 1760 г. Им награждали

только за военные заслуги. Знак ордена представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, покрытый белой эмалью, с изображением Св. Георгия в центральном медальоне. Звезда ордена — золотая, квадратная, имеет в центре медальон с вензелями СГ, вокруг которого расположен девиз: «За службу и храбрость». Лента ордена черно-желтая. Орден имеет четыре степени.

²⁰ Ливен Карл Павлович — светлейший князь, состоявший при великом князе Кирилле Владимировиче, капитан 2-го ранга.

²¹ Виктория Федоровна (*Дакки, Диска*, 1876—1936) — урожденная принцесса Виктория-Мелита-Саксен-Кобург-Готская, внучка императора Александра II, дочь Альфреда Эрнста (1844—1900, сын королевы Виктории), герцога Саксен-Кобург-Готского, и великой княгини Марии Александровны (1853—1920), двоюродная сестра императора Николая II, была в первом браке замужем с 1894 г. за братом императрицы Александры Федоровны великим герцогом Гессен-Дармштадтским Эрнстом-Людвигом, а с 25 сентября 1905 г. — женой великого князя Кирилла Владимировича. Этот брак (между двоюродными братом и сестрой) не был разрешен императором Николаем II и по церковным православным канонам был противозаконным; признан императорской фамилией в России только в 1907 г. Имела двух дочерей и сына. После революции жила в эмиграции. Скончалась в Аморбах, перевезена и захоронена 6 марта 1936 г. в семейном склепе герцогов Саксен-Кобург-Готских в Кобурге (Германия). В 1995 г. перезахоронена вместе с супругом великим князем Кириллом Владимировичем в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора в Петербурге.

²² Щербатов Николай Борисович (1868—?) — князь, камергер, крупный землевладелец, с 1907 г. — предводитель дворянства в Полтавской губернии, с 1912 г. — член Государственного совета, главноуправляющий государственным коннозаводством, управляющий Министерством внутренних дел (июнь — сентябрь 1915 г.).

²³ Петр Николаевич (*Петюша*, 1864 — 1931) — великий князь, второй сын великого князя Николая Николаевича (старшего), внук императора Николая I, двоюродный дядя Николая II, женат на великой княгине Милице Николаевне, урожденной княжне Черногорской. В браке имел сына и трех дочерей, шеф лейб-гвардии гренадерского саперного батальона. Имел звание генерал-лейтенанта (1908), в годы первой мировой войны состоял при Ставке верховного главнокомандующего, а при переводе великого князя Николая Николаевича на Кавказ последовал за ним. После Февральской революции на положении ссыльного проживал в имении Дюльбер в Крыму. Эмигрировал в марте 1919 г., скончался во Франции и похоронен на кладбище в Каннах.

²⁴ Голицын Дмитрий Борисович (*Димка*, 1851—?) — князь, генерал-адъютант, обер-егермейстер, заведующий императорской охотой.

²⁵ Лагиде де, маркиз — французский генерал, военный атташе в России, во время первой мировой войны состоял при Ставке (до мая 1916 г.).

²⁶ Кожин Александр Ефимович — действительный статский советник, почетный лейб-хирург, консультант-хирург Петроградского Николаевского военного госпиталя и Красносельского офицерского имени великой княгини Марии Павловны лазарета.

²⁷ Игнатъева, графиня, урожденная кн. Урусова, жена гр. А. И. Игнатъева, губернатора Могилевской губернии.

²⁸ Толстой — граф, контр-адмирал, наблюдающий за морскими командами в действующей армии.

²⁹ Беляев Георгий Петрович — командир 5-го Донского казачьего артиллерийского дивизиона (1914), полковник.

³⁰ Гревс Александр Петрович (1879—?) окончил Николаевский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское училище. Службу начал в 10-м драгунском Новотроицко-Екатерининском полку, участник кампании 1904—1905 гг., полковник лейб-гвардии Гусарского е. и. в. полка.

^{30a} Орановский Владимир Александрович (1866 — 1917) окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального штаба. Службу начал в лейб-гвардии драгунском полку, затем — офицер для поручений при штабе корпуса; генерал-квартирмейстер при штабе Приамурского военного округа, генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего на Дальнем Востоке (1904—1905); начальник штаба кавалерийской дивизии (1910—1913); начальник штаба Варшавского военного округа (1913—1914), командир 1-го кавалерийского корпуса (с янв. 1914). Имел воинские звания — генерал-майор (1904), генерал-лейтенант (1908), генерал (октябрь 1914); награжден орденами Св. Анны, Св. Станислава, Св. Владимира, Св. Георгия, Золотого Орла, Белого Орла. 29 августа 1917 г. в Выборге во время самосуда убит солдатами.

³¹ Дмитрий Павлович (*Дмитрий, Митя*, 1891—1942) — великий князь, внук императора Александра II, сын великого князя Павла Александровича и великой княгини Александры Ге-

оргиевны, урожденной принцессы греческой, двоюродный брат императора Николая II. После смерти матери он и сестра, великая княжна Мария Павловна, воспитывались в семье великого князя Сергея Александровича и великой княгини Елизаветы Федоровны. После мorganатического брака отца в 1902 г. опеку над ним и сестрой взял на себя император Николай II. Великий князь Дмитрий Павлович проживал во дворце, когда-то построенном для князей Белосельских-Белозерских на углу Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге. Штабс-ротмистр лейб-гвардии Конного полка. Флигель-адъютант свиты императора Николая II (1912), принимал участие в заговоре с целью убийства Г. Е. Распутина во имя спасения монархии. За это преступление был выслан в Персию, на фронт, в отряд генерала Баратова. После революции в эмиграции в Англии, Франции и США. В ноябре 1926 г. в Биаррице женился на богатой американке Одри Эмери, дочери железнодорожного короля. От брака родился сын Павел, который, по мнению многих, был похож на царевича Алексея. Развелся в 1930 г. После развода сын остался с матерью. Павел Дмитриевич носит титул князя Романовского-Ильинского, пожалованный ему Кириллом Владимировичем. Позднее великий князь Дмитрий Павлович занимался торговлей шампанским в Палм-Бич, штат Флорида (США). Деятельный сотрудник императора в эмиграции Кирилла Владимировича, председатель Главного совета Младоросской партии в 1935—1938 гг. Умер от туберкулеза (уремии) в Давосе (Швейцария).

³² Александр Михайлович (*Сандро*, 1866—1933) — великий князь, внук императора Николая I, четвертый сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны, двоюродный дядя Николая II. С 1894 г. женат на старшей дочери императора Александра III, имел дочь и 6 сыновей. С детства близкий друг Николая II. Вице-адмирал (1909), генерал-лейтенант, генерал-адъютант (1909) свиты императора Николая II, адмирал (1915). Во время первой мировой войны — заведующий организацией авиационного дела в действующей армии, с декабря 1916 г. — генерал-инспектор военного воздушного флота. Уволен со службы 22 марта 1917 г. Вместе с семьей и вдовствующей императрицей Марией Федоровной находился на положении ссыльных в своем имении в Крыму. В 1918 г. отправился в Париж для участия в Версальской мирной конференции от имени России. Позднее участвовал в деятельности Русского общевоинского союза (РОВС). Увлекался археологическими исследованиями, провел ряд успешных раскопок, результаты которых обогатили мировую историческую науку. Читал лекции в Швейцарии и США. Проживал во Франции, в Ментоне, где и скончался. Автор мемуаров «Книга воспоминаний» (Париж, 1933).

³³ Замошский Адам Сергеевич — граф, флигель-адъютант, корнет лейб-гвардии уланского полка, адъютант великого князя Николая Николаевича, церемониймейстер двора; во время первой мировой войны состоял при Ставке, постоянно находился при Николае II; позднее видный деятель польской партии «реалистов».

³⁴ Огарев Борис Петрович — командир запасной батареи лейб-гвардии конной артиллерии (1915), полковник.

³⁵ Шереметев Александр Дмитриевич (1859—?) — граф, окончил Пажеский е. и. в. корпус, занимал должности адъютанта главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа (1889—1894), шталмейстера двора е. и. в. (1894), офицера для особых поручений при Военном министерстве (1899); генерал-майор свиты императора Николая II (1909).

³⁶ Сегеркранц Сергей Карлович — полковник оперативного отделения штаба, в котором служил в 1914—1915 гг., великий князь Андрей Владимирович; командир 3-го гусарского Елисаветградского полка (1916).

³⁷ Вялов Степан Ефимович (1875—?) окончил Константиновское артиллерийское училище, Николаевскую академию Генерального штаба; служил в Туркестанской артиллерийской бригаде (1894), при штабе Иркутского военного округа, был преподавателем военных наук во Владимирском военном училище, полковник (1914).

³⁸ Постовский Петр Иванович — генерал-лейтенант, находился в распоряжении начальника Генерального штаба (1914—1916).

³⁹ Шейдеман Сергей Михайлович — генерал от кавалерии, до и в начале войны командовал 2-м армейским корпусом, после гибели генерала А. В. Самсонова принял от генерала Алиева 2-ю армию; позднее состоял в резерве, но снова вернулся на фронт в должности корпусного командира.

⁴⁰ Плеве Павел Адамович (1850—1916) — генерал от кавалерии, командовал войсками Московского военного округа. Во время первой мировой войны — командующий 5-й и 12-й армиями; затем командующий Северо-Западным фронтом; уволен с назначением в Государственный совет.

⁴¹ Плешков Михаил Михайлович (1856—?) окончил Николаевское кавалерийское училище, Николаевскую академию Генерального штаба. Службу начал в лейб-гвардии Уральском

казацком эскадроне (1874); занимал должности начальника штаба дивизии, командира полка, командующего дивизией, командира 1-го Сибирского армейского корпуса (1912—1916); генерал-майор (1902), генерал-лейтенант (1907), генерал (1913); награжден орденами Св. Анны, Св. Станислава, Св. Владимира.

⁴² Алиев Эрис-хан-Султан-Гирей (1855—?) — генерал-лейтенант (1907), командир 2-го Сибирского армейского корпуса (1908), командир 4-го армейского корпуса (с февраля 1914 г.).

⁴³ «Чемоданами» на фронте называли снаряды, извергаемые крупнейшими калибрами осадных орудий.

⁴⁴ Возможно, Данилов Николай Алексеевич (*Данилов-рыжий*, 1867—?) окончил Московский кадетский корпус и Николаевскую академию Генерального штаба, занимал должности старшего адъютанта штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии (1895—1897), командира роты (1896—1897), делопроизводитель канцелярии Военного министерства (1902), командир батальона (1903). Участник войны 1904—1905 гг. Исполнял должность начальника штаба главнокомандующего всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии; начальник канцелярии Генерального штаба, ординарный профессор Николаевской военной академии. В первую мировую войну — начальник снабжения Северо-Западного фронта.

⁴⁵ Сын германского императора Вильгельма II (Гогенцоллерна).

⁴⁶ Сиверс Фаддей Васильевич (1853—1915) — генерал от инфантерии (1912). Окончил классическую гимназию, Варшавское пехотное училище и Николаевскую академию Генерального штаба. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг. и кампании 1900—1901 гг. в Китае. С 1911 г. — командир 10-го армейского корпуса, с октября 1914 г. — командующий 10-й армией. 25 апреля 1915 г. в связи с гибелью 20-го армейского корпуса в Августовских лесах отчислен с должности. Застрелился.

⁴⁷ Шебеко Вадим Николаевич — генерал-майор свиты императора Николая II, саратовский вице-губернатор, гродненский губернатор; 17 февраля 1916 г. назначен московским градоначальником.

⁴⁸ Мищенко Павел Иванович (1853—1919) — генерал-адъютант, генерал от артиллерии, участник русско-японской войны 1904—1905 гг., бывший войсковой наказной атаман войска Донского. Во время первой мировой войны командовал армейским корпусом на Западном фронте, позднее на Кавказе.

⁴⁹ Данилов Юрий (Георгий) Никифорович (*Данилов-черный*, 1866—1937) — генерал от инфантерии (1914). Окончил Михайловское артиллерийское училище (1886) и Академию Генерального штаба (1892). С началом первой мировой войны назначен генерал-квартирмейстером при верховном главнокомандующем. Играл крупную роль в планировании стратегических операций, которые проводили русские войска против германской и австро-венгерской армий в период 1914—1915 гг. В феврале 1917 г. занимал должность начальника штаба Северного фронта, затем командовал 5-й армией. После провала выступления генерала Корнилова в августе 1917 г. отчислен в резерв. В феврале 1918 г. возглавил группу военных консультантов при советской делегации в Брест-Литовске, выступал против заключения мира с Германией. Вернувшись в Петроград, участвовал в разработке плана строительства новой армии, но, не найдя общего языка с Л. Д. Троцким, подал в отставку и уехал на Украину. Осенью 1920 г. стал начальником военного управления в правительстве П. Н. Врангеля. После гражданской войны жил в эмиграции, где написал ряд трудов по первой мировой войне. Автор воспоминаний «На пути к крушению. (Очерки из последнего периода русской монархии)» (Ганновер, 1928; Берлин, 1929).

⁵⁰ Ольденбургский Петр Александрович (*Петя Ольденбургский*, 1868—1924) — принц, сын А. П. и Е. М. Ольденбургских. Генерал-майор свиты императора. С 1901 г. — муж сестры Николая II, великой княгини Ольги Александровны, которая развелась с ним в 1916 г. После революции эмигрировал, похоронен в Каннах.

⁵¹ Шавельский Георгий Иванович (о. Георгий) (1871—1951) — протопресвитер (с 1911 г.), глава военного и морского духовенства в русской императорской армии, затем — в Добровольческой армии (1918—1920). Доцент богословского факультета Софийского университета (с 1924 г.).

⁵² Янушкевич Николай Николаевич (1868—1918) — генерал от инфантерии (1914), генерал-лейтенант, выпускник Николаевского кадетского корпуса и Михайловского артиллерийского училища (1880). Окончил курс Академии Генерального штаба (1896). Заместитель начальника канцелярии военного министерства (1911—1913). С января 1913 г. — начальник Императорской Николаевской военной академии, профессор. С марта 1914 г. — начальник Генерального штаба. С 19 июля того же года — начальник штаба верховного главнокомандующего (1914—1915), помощник по военной части наместника на Кавказе великого князя Николая

Николаевича (с августа 1915 г.), а затем — главный начальник снабжения Кавказской армии. После октября 1917 г. арестован и отправлен в Петроград, но по дороге убит конвоирами.

^{52a} Каульбарс Александр Васильевич (1844 — ?) — барон, командующий Маньчжурской армией (1904—1905), командующий войсками Одесского военного округа (1904, 1905—1909), генерал от кавалерии, генерал-майор (1884), генерал-лейтенант (1894).

⁵³ Троицкий Владимир Иоанникиевич (1847—?) — генерал-адъютант свиты императора, генерал от инфантерии по гвардейской пехоте, бывший командир Павловского полка и командующий 2-й гвардейской пехотной дивизией (1905—1914). Позднее петроградский комендант и главный начальник Киевского военного округа.

⁵⁴ Менгден Георгий Георгиевич — граф, флигель-адъютант, полковник, заведующий двором великого князя Сергея Александровича.

⁵⁵ Дрентельн фон, Александр Александрович (1868—1922) — флигель-адъютант, штаб-офицер для поручений при императорской главной квартире (1909—1915), командир Преображенского полка (с сентября 1915), генерал-майор.

⁵⁶ Нарышкин Кирилл Анатольевич (*Кирица*, 1868—1924) — князь, флигель-адъютант, генерал-майор (1916), с 1916 г. начальник военно-походной канцелярии с. и. в. Николая II. Друг детства императора. Покинул царскую семью после ее опалы.

⁵⁷ Иванов Николай Иудович (1851—1919) — генерал от артиллерии (1908), генерал-адъютант свиты императора Николая II, член Государственного совета. Перед первой мировой войной — командующий Киевским военным округом. С июля 1914 г. по март 1916 г. — главнокомандующий Юго-Западным фронтом; позднее находился при Ставке в Могилеве. В первые дни Февральской революции (27 февраля) был назначен Николаем II командующим Петроградским военным округом с чрезвычайными полномочиями. 28 февраля во главе Георгиевского батальона выехал в столицу для руководства войсками и водворения порядка, однако оказался блокированным недалеко от Царского Села. По указаниям начальника Генерального штаба генерала Алексеева, а несколько позднее и самого Николая II не предпринимал военных действий. Позднее арестован Временным правительством и находился под следствием ЧСК, но по личному распоряжению А. Ф. Керенского был освобожден по состоянию здоровья. Уехал в Киев. После октября 1917 г. — участник белого движения; в октябре — ноябре 1918 г. командовал белоказачьей особой Южной армией у атамана П. Н. Краснова. Умер в 1919 г. на Дону от сыпного тифа.

⁵⁸ Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870—1956) — генерал-лейтенант, в 1915 г. — начальник штаба Северо-Западного фронта. Позднее был начальником штаба Ставки верховного главнокомандующего (ноябрь 1917 г.), затем военным руководителем Высшего военного совета (с марта 1918 г.); начальником Полевого штаба Красной Армии (июнь — июль 1919 г.), начальником Высшего геодезического управления ВСНХ (1919—1923).

⁵⁹ Нилов Константин Дмитриевич (1856 — 1919) — выходец из ярославских дворян. Участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., кавалер ордена Св. Георгия 4-й ст. (1877). Позднее командовал знаменитым крейсером «Светлана». Во время плавания на императорской яхте «Штандарт» он отвечал за безопасность царской семьи. Был женат на фрейлине великой княгини Марии Павловны, княжне Марине Михайловне Кочубей. Адмирал (1912), командир гвардейского экипажа (1903 — 1908), флаг-капитан (адъютант по военно-морской части) свиты императора Николая II (с 1905), генерал-адъютант (с 1912). Близкий друг царя. После Февральской революции был удален от Николая II и подвергся аресту. Репрессирован.

⁶⁰ Воейков Владимир Николаевич (1868—1947) — флигель-адъютант (1906), командир лейб-гвардии гусарского полка (1907—1913), зять графа В. Б. Фредерикса, генерал-майор свиты императора Николая II. Возглавлял российский олимпийский комитет (1912). С 25 декабря 1913 г. — последний дворцовый комендант. В 1915 г. назначен «главнонаблюдающим за физическим развитием народонаселения Российской империи». Во время первой мировой войны служил объектом насмешек и получил прозвище «генерал от кувакерии», так как торговал минеральной водой из своего имения Кувака. В дни Февральской революции по распоряжению Временного правительства был выслан из Ставки и посажен в Петропавловскую крепость. Позднее освобожден и эмигрировал. Автор книги: «С царем и без царя. Воспоминания последнего дворцового коменданта Государя императора Николая II» (Гельсингфорс, 1936).

⁶¹ Орлов Владимир Николаевич (*Влади*, 1868—1927) — князь, генерал-лейтенант, флигель-адъютант. Женат на фрейлине императрицы княгине О. К. Белосельской-Белозерской. В 1901 — 1906 гг. — помощник начальника, в 1906—1915 гг. — начальник военно-походной канцелярии императора, генерал-майор свиты Николая II (1909). Уволен с должности под влиянием Распутина; с 27 апреля 1915 г. — в распоряжении наместника на Кавказе, с 16 ноября — помощник его по гражданской части. После Февральской революции поселился в Крыму. Позднее в эмиграции, скончался в Париже.

⁶² Саблин Николай Павлович (1880—1937)— контр-адмирал, флигель-адъютант свиты императора Николая II, старший офицер (1911) и командир (1916) императорской яхты «Штандарт», личный друг царя. В чине лейтенанта служил на прославленном в Цусимском бою крейсере «Алмаз», откуда был переведен на «Штандарт» и был 1-м вахтенным начальником при капитане И. И. Чагине. Командовал морским батальоном гвардейского экипажа. В первые дни Февральской революции был изолирован от Александровского дворца в Царском Селе. После революции эмигрировал.

⁶³ Кегресс А. А. был не шофером Николая II, а заведующим императорским гаражом.

⁶⁴ Николай Михайлович (*Бимбо, Николай*, 1859 — 1919)— великий князь, внук императора Николая I, старший сын великого князя Михаила Николаевича и великой княгини Ольги Федоровны, двоюродный дядя Николая II. Участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. в чине поручика конной артиллерии, награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. Окончил Николаевскую военную академию. Генерал-адъютант свиты императора Николая II, генерал от инфантерии по гвардейской пехоте, с 1884-го по 1903 г.— на различных командных должностях в армии, в т. ч. командующий Кавказской гренадерской дивизией (1897); историк, энтомолог; председатель Императорского Русского географического (с 1892) и Императорского Русского исторического (с 1910) обществ, доктор философии Берлинского университета (1910 — 1914), доктор русской истории Московского университета (1915 г.), занимался изучением эпохи императора Александра I, автор работ по истории России и международных отношений конца XVIII — начала XIX в. Расстрелян в Петропавловской крепости 28 января 1919 г.

⁶⁵ Ренненкампф Павел Карлович (1854—1918)— генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Окончил Гельсингфорское пехотное юнкерское училище, участвовал в кампании 1900 г. в Китае, в русско-японской и первой мировой войнах. В начале первой мировой войны командовал 1-й армией Северо-Западного фронта, с которой принял участие в Восточно-Прусской операции. После неудач под Лодзью в ноябре 1914 г. был отстранен от командования, отчислен в распоряжение военного министерства. 3 октября 1915 г. уволен со службы. После Февральской революции арестован и отправлен в Петропавловскую крепость. После Октябрьской революции уехал в Таганрог. 12 апреля 1918 г. был расстрелян.

⁶⁶ Литвинов Александр Иванович — генерал от кавалерии, до первой мировой войны и в начале ее командовал 6-м армейским корпусом; в ноябре 1914 г. принял от генерала П. К. Ренненкампа 1-ю армию.

⁶⁷ Куропаткин Алексей Николаевич (1848—1925)— генерал от инфантерии (1901), генерал-адъютант свиты императора Николая II. В 1883 — 1890 гг. служил в Главном штабе, в 1890 — 1898 гг.— начальник Закаспийской области. Военный министр в 1898—1904 гг. Во время русско-японской войны командующий Маньчжурской армией, а затем главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке. После неудачного Мукденского сражения с японцами в марте 1905 г. был смещен с поста главнокомандующего, понижен в командовании, получив лишь одну из армий. В 1916 г. командовал Северным фронтом, затем Туркестанский генерал-губернатор (1916—1917). С мая 1917 г. жил в своем имении в Псковской губернии. Работал сельским учителем. Убит бандитами.

⁶⁸ Турбин Александр Федорович (1858—?)— генерал-майор (1909), генерал-лейтенант (февраль 1915). Окончил Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище, командовал ротой (10 лет), батареей (2 года), командир лейб-гвардии Вольнского полка (1909), варшавский комендант (1914), командир 6-й Сибирской стрелковой дивизии (сентябрь 1915).

⁶⁹ Енгальчев Павел Николаевич (1864—?)— князь, генерал-адъютант, окончил Пажеский корпус, Николаевскую академию Генерального штаба, участник боевых действий в кампании 1900—1901 гг. в Китае, исполнял должность дворцового коменданта, начальник Академии Генерального штаба; с января 1915 г. варшавский генерал-губернатор, сменивший кн. Тумакова для проведения более «либерального» по отношению к полякам курса; имел награды: ордена Св. Станислава 1-й ст., Св. Анны 1-й ст., Св. Владимира 2-й ст.

⁷⁰ Гилленшмидт фон, Яков Теодорович (1870—?) — генерал-майор (1912), генерал-лейтенант (май 1915), окончил Пажеский е. и. в. корпус, занимал должности командира запасного кавалерийского дивизиона, командира драгунского полка, командира бригады кавалерийской дивизии, командира лейб-гвардии кирасирского полка; с мая 1915 г. командовал 4-м кавалерийским корпусом.

⁷¹ Новиков Владимир Васильевич (1864—?) окончил Михайловское артиллерийское училище и Николаевскую академию Генерального штаба; генерал-лейтенант (1913), начальник 14-й кавалерийской дивизии; с января 1916-го по июнь 1916 г. командовал 43-м армейским корпусом; награжден орденами Св. Анны 3-й ст. (1898), Св. Владимира 3-й ст. (1910), Св. Станислава 1-й ст. (1913).

⁷² Скалон Георгий Антонович (1847—1914) — генерал-адъютант свиты императора, генерал от кавалерии, окончил Николаевское училище гвардейских юнкеров; с 1865 г. в лейб-гвардии уланском полку, в 1905—1914 гг. — варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского военного округа; 5 августа 1906 г. в Варшаве в него неудачно была брошена бомба.

⁷³ Гескет Александр Давидович — генерал-майор (март 1912), военный инженер, начальник Привисленских железных дорог.

⁷⁴ Масальский Владимир Николаевич (1860—?) — князь, окончил Пажеский е. и. в. корпус, генерал-лейтенант (1909); инспектор артиллерии 1-го армейского корпуса (1913). С 1906 г. в свите императора Николая II.

⁷⁵ Бобырь Николай Павлович — генерал от кавалерии, комендант Новогеоргиевской крепости; при взятии ее попал в плен.

⁷⁶ Сирелиус Леонид-Оттович — генерал-лейтенант (1908), начальник 23-й пехотной дивизии (1910), генерал от инфантерии (1914), командир 4-го Сибирского армейского корпуса (1915 — 1916).

⁷⁷ Олохов Владимир Аполлонович — генерал от инфантерии, в чине генерал-лейтенанта до и в начале первой мировой войны командир 1-й гвардейской пехотной дивизии, позднее — 23-го армейского и 2-го гвардейского корпусов. После Октябрьской революции служил в Генеральном штабе РККА.

⁷⁸ Сазонов Сергей Дмитриевич — камергер, советник посольства в Лондоне (1904—1906), посланник в Ватикане (1906—1910), товарищ министра иностранных дел (1909—1910), министр иностранных дел (1910—1916).

⁷⁹ Смирнов Владимир Васильевич (1849—?) — генерал от инфантерии, командир 20-го армейского корпуса (1908), командующий 2-й армией (1914).

^{79a} Завадский Юзеф — варшавский врач, национал-демократ, во время первой мировой войны выступал за отделение Польши от России (с австрофильским уклоном).

⁸⁰ Гурко Иосиф Владимирович (1828—1901) — генерал-адъютант (1877), генерал-фельд-маршал (1894), выпускник Пажеского е. и. в. корпуса (1846), участник Крымской кампании, командовал гусарским Мариупольским и лейб-гвардии Конно-гренадерским полком. Герой русско-турецкой войны 1877—1878 гг., командовал передовым отрядом русских войск, кавалер ордена Св. Георгия 3-й и 2-й ст. Впоследствии временный петербургский генерал-губернатор (апрель 1879 — февраль 1880), генерал-губернатор Одессы (1882—1883), варшавский генерал-губернатор и командующий войсками Варшавского округа (1883—1894); член Государственного совета (1886).

⁸¹ Александр III Александрович (*дядя Саша*, 1845—1894) объявлен наследником престола после смерти в 1865 г. старшего брата Николая, император со 2 марта 1881 г., короновался 15 мая 1883 г., отец императора Николая II. Вступив на престол после гибели отца, стал проводить контрреформы, беспощадно подавлял революционное движение, усилил борьбу с террористами. В царствование Александра III в основном завершено присоединение к России Средней Азии (1885), заключен русско-французский союз (1891—1893), проводил мирную внешнюю политику, за что именовался современниками Царем-Миротворцем. Был женат с 1866 г. на великой княгине Марии Федоровне, урожденной датской принцессе Марии-Софии-Фредерике-Дагмаре, дочери датского короля Христиана IX. Дети от брака: Николай (император Николай II) (1868—1918), Александр (1869—1870), Георгий (1871—1899), Ксения (1875—1960), Михаил (1878—1918), Ольга (1882—1960). Умер император Александр III в возрасте 49 лет от нефрита. Царская семья ежегодно отмечала 26 февраля, день его рождения, как и день кончины, несением церковной службы.

⁸² Маклаков Николай Алексеевич — гофмейстер, действительный статский советник, камергер, в 1900-х годах — черниговский губернатор, министр внутренних дел (1912—5 июня 1915 г.), член Государственного совета.

⁸³ Жилинский Яков Григорьевич (1853—?) окончил Николаевское кавалерийское училище, Николаевскую академию Генерального штаба; службу начал в 1873 г. в кавалергардском полку, занимал должности командира полка, начальника штаба дивизии, командира корпуса, начальника Генерального штаба (1911—1914); генерал-майор (1900), генерал-лейтенант (1904), генерал от кавалерии (апрель 1910); с 4 марта 1914 г. состоял в должности варшавского генерал-губернатора и командующего войсками Варшавского военного округа; награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира, Св. Александра Невского, Белого Орла.

⁸⁴ Клейгельс Николай Васильевич (1850—?) окончил Павловский кадетский корпус, Николаевское кавалерийское училище; службу начал в лейб-гвардии драгунском полку (1866); занимал должности командира эскадрона, варшавского обер-полицейстера (1888—1895), Санкт-петербургского градоначальника (1895—1903), киевского, подольского и вольнского

генерал-губернатора (1903—1905); генерал-майор (1892), генерал-лейтенант (1899), генерал от кавалерии (апрель 1910), генерал-адъютант. Награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира, Белого и Золотого Орла, Св. Александра Невского.

⁸⁵ Пантелеев Александр Ильич (1838—?) окончил школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров; службу начал в лейб-гвардии Преображенском полку (1856); занимал должности командира роты, батальона, полка, директора Императорского училища правоведения (1890—1897), командира отдельного корпуса жандармов (1898—1900), иркутского военного генерал-губернатора (1900—1903), член Государственного совета (1903—1916); генерал-майор (1892), генерал-лейтенант (1893), генерал (1904); награжден орденами Св. Георгия, Св. Владимира, Св. Станислава, Св. Анны, Св. Александра Невского, Белого Орла.

⁸⁶ Имеется в виду дело о гибели А. В. Самсонова, генерал-лейтенанта, командовавшего 2-й армией Северо-Западного фронта и попавшего в окружение при проведении Восточно-Прусской операции, закончившейся трагически для русской армии.

⁸⁷ Баранов Петр Петрович (1843—?)— окончил Пажеский корпус; службу начал в лейб-гвардии уланском полку; занимал должности командира эскадрона, полка, дивизии, бригады, генерал-адъютанта (1910—1916); участвовал в русско-турецкой войне (1877—1878); генерал-майор (1891), генерал-лейтенант (1900), генерал (1910); награжден орденами Св. Анны, Св. Станислава, Св. Владимира, Белого Орла, Св. Александра Невского.

⁸⁸ Белосельский-Белозерский С. К.— князь, генерал-лейтенант, командир лейб-гвардии уланского полка, до и во время первой мировой войны в чине генерал-майора командовал объединенным отрядом, позднее — 1-й бригадой 2-й Кавказской кавалерийской дивизии и Донской казачьей дивизией, 29 декабря 1915 г. был назначен командующим Кавказской кавалерийской дивизией.

⁸⁹ Шувалов Андрей Петрович — граф, генерал-майор свиты императора.

⁹⁰ Воронцов-Дашков Илларион Иванович (1837—1915)— граф, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, член Государственного совета, наместник на Кавказе, бывший министр двора и уделов.

⁹¹ Юденич Николай Николаевич (1862—1933) окончил Александровское военное училище, Николаевскую академию Генерального штаба; службу начал в лейб-гвардии Литовском полку (1879); занимал должности командира роты, батальона, полка, бригады, начальник штаба Казанского военного округа (1912—1913), начальник штаба Кавказского военного округа (1912—1914), командующий Кавказской армией (1915—1916), в 1919 г.— главком белогвардейской Северо-Западной армии; после провала наступления на Петроград (1919) эмигрировал из России. Имел воинские звания: генерал-майор (1905), генерал-лейтенант (1912), генерал (1915). Участник русско-японской войны, был ранен; награжден орденами Св. Владимира, Св. Станислава, Св. Анны, Золотого Орла.

⁹² Воронцов-Дашков Александр Илларионович (*Саушка*)— граф, флигель-адъютант, полковник лейб-гвардии Гусарского е. и. в. полка, причислен к канцелярии главной императорской квартиры.

⁹³ Мышлаевский Александр Захарьевич (1856—?) окончил Константиновское и Михайловское артиллерийские училища и Николаевскую академию Генерального штаба; службу начал в артиллерийской бригаде (1874), занимал должности командира роты, батальона, различные штабные должности (1888—1899), профессор Николаевской академии Генерального штаба, начальник Генерального штаба (1909), командир корпуса, помощник по военной части наместника е. и. в. на Кавказе (1913—1914), с июля 1916 г. находился в распоряжении военного министра; генерал-майор (1900), генерал-лейтенант (1906), генерал (1913); награжден орденами Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира.

⁹⁴ Сарыкамыш — опорный пункт на дороге в Эрзерум и штаб-квартира в Карском уезде Карской области, у восточной подошвы Саганлугского хребта (на территории современной Турции); здесь в начале 1915 г. русской армией под командованием генерала Н. Н. Юденича была одержана победа над турецкой армией Энвера-паши.

⁹⁵ Веселовзоров Борис Петрович (1869—?) окончил Павловское военное училище, Николаевскую академию Генерального штаба; службу начал в Кавказской гренадерской артиллерийской бригаде (1887), занимал должности командира роты, батальона, адъютанта штаба дивизии корпуса и др. В 1911—1914 гг. командовал 84-м пехотным Ширванским полком; генерал-майор по Генеральному штабу (октябрь 1913); дежурный генерал штаба Кавказской армии (ноябрь 1914).

⁹⁶ Любимов Д. Н.— сенатор, гофмейстер, помощник варшавского генерал-губернатора.

⁹⁷ Имеется в виду Похвиснев Эммануил Борисович (1860—?), генерал-лейтенант по полковой легкой артиллерии; окончил Михайловское артиллерийское училище; в 1907—1914 гг.— начальник Константиновского артиллерийского училища, с июля 1914 г.— начальник артил-

лерии Варшавского военного округа; с декабря 1914 г.— начальник артиллерийского снабжения действующих армий.

⁹⁸ Гулевич Арсений Анатольевич (1866—?) — командир лейб-гвардии Преображенского полка (1908), генерал-майор свиты е. и. в., начальник воинской гвардии и Петербургского военного округа (1912); начальник штаба Северо-Западного фронта (1915). В эмиграции председатель Союза преображенцев.

⁹⁹ Епанчин Николай Алексеевич (1857—1941)— генерал от инфантерии по армейской пехоте, участник русско-турецкой войны. Окончил военное Павловское училище и Николаевскую академию Генерального штаба. С 1876 г. прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка. С 1900 г.— директор Пажеского корпуса. 29 января 1913 г. назначен командиром 3-го армейского корпуса. Участник первой мировой войны. Возглавлял Вержболовскую группу войск. В связи с неудачными действиями был 6 февраля 1915 г. отрешен от командования с зачислением в резерв чинов при штабе Двинского военного округа, а 11 мая 1915 г.— уволен на пенсию. Высочайшим приказом от 31 июля 1916 г. он был вновь определен на службу с зачислением в резерв чинов при штабе Одесского военного округа, а в ноябре того же года был назначен в распоряжение главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта А. А. Брусилова. Автор воспоминаний «На службе трех императоров» (М., 1996).

(Окончание следует.)



Кирилл АНКУДИНОВ

Внутри после

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА

1

Мы обьелись информацией. Теперь это ясно каждому. Информация имеет объективную ценность. Значит, она может девальвироваться, как и все, что имеет ценность. Может возникнуть перепроизводство информации, информационная инфляция. Вот такую инфляцию мы и пережили.

Литература — информация особого рода, художественная информация. То, что называют словом «литературный процесс», — самоорганизующийся обмен художественной информацией. Бывают такие ситуации, когда информации (в том числе и художественной) слишком много, а потребность в ней невелика; это приводит к тому, что она теряет в цене, а «процесс» рассасывается сам собой или принимает альтернативные формы. Не случайно литература приобретала социальное значение либо в моменты столкновения с новым, доселе неизвестным, и это требовало осмысления, либо в закрытых социумах, цензурирующих информацию.

Как ни парадоксально, блестящий литературный процесс XIX века во многом являлся следствием различных цензур, от политической и церковной до цензуры общественной, определяемой как «правила хорошего тона».

Советский социум жил в режиме искусственного информационного вакуума, на фоне этого вакуума любая художественная информация несла в себе желанную многозначность. Когда система рухнула (отчасти благодаря выпестованному ею литературному процессу), вместе с ней рухнула и плотина, сдерживающая информацию. Произошел информационный потоп.

Нынешняя ситуация (ситуация после потопа) представляет собой почти полный негатив советской. Что сейчас наиболее неинтересно? Именно то, что было наиболее интересно двадцать и тридцать лет назад. Можно пройтись по всему тому, что когда-то так волновало читателей, по всем «запретным темам» и «темам последних страниц». Итог будет предсказуем.

Сенсации? Все сыты какими угодно сенсациями по горло. Политика? Везде, на любой вкус. Не знаешь, куда спрятаться от политики. Историософия? Все точки зрения — на выбор. Секс? Лучше и не говорить об этом. Структурализм? Завались хоть постструктурализмом. Авангардное искусство? Попросту прогорело, держится только на инерционном интересе западных университетов. Юмор? С каким интересом когда-то читали последнюю страницу «Литературной газеты»! Сейчас это самая скучная и ненужная страница. Удивляюсь, как все юмористы еще не разорились.

И напротив: интересно сейчас то, что в советское время казалось обыденностью и рутинной, — детали, воспоминания, описания. Рассказ попутчика в поезде. Выражение лица сидящего напротив в вагоне метро. Цвет его волос. Походка. Крой одежды. Дедушкино разливательное ситечко. Воспоминание о вокзальной кружке на цепочке. Архитектура. Закат солнца. Расположение облаков на небе. Все то, к чему все притерпелись. Все предметное, все конкретное и все человеческое. Именно эта жажда по человеческому породила нынешний бум мемуаристики. И вот уже

мемуаристика выигрывает у художественной, выдуманной литературы. Андрею Сергееву за его «Альбом для марок» дают Букеровскую премию.

Как поживает в таких условиях наш старый знакомый — литературный процесс? Очевидно, что условия не благоприятствуют его существованию. Литература угодила в тот же горемычный ряд, что и все прочие «достижения перестройки». В некоторый момент литературы стало слишком много, поэтому она значительно потеряла в цене. Литература была потопом, она же оказалась и жертвой потопа.

А может, уже никакого процесса-то и нет?

2

Ответ на этот вопрос будет неожиданным: литературный процесс одновременно существует и не существует.

Подобная двойственность наиболее четко отражена в положении современной поэзии. С одной стороны, поэзия реально присутствует на страницах журналов, книг и альманахов. Она есть. С другой стороны, ее мало кто замечает. То есть ее как бы нет. Подобно честертоновскому почтальону поэзия обрела статус невидимки. Этот феномен поддается простому объяснению: то, что не имеет признаков и характеристик, существуя реально, не существует для наблюдателя (читателя). Таким образом, современная поэзия может быть разделена на поэзию определяемую (существующую) и на поэзию, не поддающуюся определению (несуществующую).

Это позволяет сделать вывод: традиционное определяющее противоположение «хорошие стихи — плохие стихи» для нашего времени потеряло значение. Оно было актуальным в пушкинское время. Тогда за Пушкиным, за его ближайшим окружением (Боратынский, Дельвиг, Вяземский, Жуковский), за тончайшим слоем поэтов третьего ряда (вроде Туманского, Теплякова, Деларю) сразу же обнаруживался пресловутый граф Хвостов. Можно было с полной уверенностью сказать, что Пушкин «хорош», Боратынский — также «хорош», а Хвостов — «плох»; что же до туманских и тепляковых, их было так немного, что их присутствие не влияло на общую систему критериев. Мне могут возразить, сказав, что Надеждин не принял «Евгения Онегина», а Белинский — «Сумерки», отчего и у Пушкина, и у Боратынского возникали серьезные проблемы. Это так. Но никогда никому и в голову не приходило ставить Пушкина и Боратынского в один ряд с Хвостовым. В этом смысле критерий «хорошие стихи — плохие стихи» существовал объективно. Правда, тридцатые годы принесли некоторые сюрпризы: к примеру, Бенедиктов оказался «плохим хорошим поэтом». Но он представлял собой исключение.

Сейчас такая гармония немислима. Если мы возьмем наиболее признанных кандидатов на роль «Пушкина» — Иосифа Бродского и Николая Рубцова, — мы увидим, что каждый из них может восприниматься не только как «Пушкин», но и как «граф Хвостов». Бродского неоднократно называли «графоманом» в «патриотической» прессе; многие нынешние эстеты не признают Рубцова поэтом.

Где искать точку отсчета?

Критерий «качества», традиционно использовавшийся при оценке поэтических произведений, ныне не действует. Во-первых, он предполагает чересчур низкую планку — слишком многие могут сейчас написать стихотворение «качественное» (то есть созданное с учетом основных норм стихосложения). Во-вторых, существуют альтернативные системы, отрицающие само понятие «качественность». Дмитрий Александрович Пригов — «качественный» поэт? Или «некачественный»? А как можно оценить «качественность» творений Ры Никоновой?

Очевидно, что при объективном отсутствии основополагающего, решающего критерия все попытки как-либо классифицировать современную поэзию равны по ценности опытам одного коротасаровского персонажа, который классифицировал людей по группам «плосконосых, рыбомордых, толстощеких, узкоглазых, бровастолицых, научновзглядых, парикмахероидных и т. д.». Конечно же, можно отметить определенную разницу между стихами, публикуемыми в «патриотических» изданиях, и стихами, публикуемыми в «демократических» изданиях. Можно, к примеру, сказать, что «демократы» и «патриоты», в равной степени не принимаемая нынешние времена, различаются по темпераменту неприятия: «демократы» — меланхолики, а «патриоты» — холерики. Можно также заметить, что «демократы» и «патриоты» по-разному дополняют набор ключевых образов, характеризующий современность

(набор этот состоит из слов: «бомж», «помойка», «киллер», «беспредел», «рэкетиры», «нувориш», «омоновец», «мерседес» и «телеэкран»). «Демократы» обычно разбавляют сей набор словами «вина», «сиротство», «очищение», «обретение», «становление», «освобождение», «покаяние» и «гулаг», а «патриоты» — словами «поругание», «унижение», «чистоган», «вороньё» и «доколе».

Можно, а что толку?

Увы, арифметика проста: стихов слишком много. Каких угодно стихов. Разных стихов. Ну и хороших, само собой... Двенадцать миллионов абитуриентов получили пятерки с плюсом. Можно писать как угодно: реалистично, постмодернистично, верлибром, столбиком, строчкой, без знаков препинания, боком, подскоком. В любом случае выйдет, что написано хорошо, но что до тебя кто-то уже написал почти то же самое. Уже никто не воспринимает всерьез критика имярек, считающего, что такие-то стихи «плохи», потому что чересчур «реалистичны», «постмодернистичны», «верлибричны», «цветаеваты», «бродскофильны», «пригнуты», «бесмысленны». Это его, имярека, вкусовые aberrации и девиации. Все — хорошо.

Описываемую ситуацию можно рассмотреть еще под одним углом, с точки зрения поэта, вступающего в литературный мир. Его пока никто не знает. Что ему делать? Нет даже гарантии, что его прочтут. Посмотрят, скажут: «Опять стихи!» — и отвернутся. Нашел, мол, чем удивить мир, стихами!

Есть, конечно, один способ — писать стихи, которые станут волновать читательские сердца. Но это — ненадежный способ. Поэты — слишком впечатлительный народ. Им кажется: напиши слово «любовь» — сердца всех учащенно забьются. Но сердца остаются спокойными. Это невероятно трудно — написать стихотворение, которое взволнует хотя бы одного постороннего человека. А для того, чтобы затронуть души многих людей (тем более — современных людей), надо иметь уникальное соединение эмоциональных, интеллектуальных и волевых свойств.

Впрочем, те, кто входит сегодня в литературный мир, прекрасно знают, что критерий «хорошие стихи — плохие стихи» утратил значение. Этого критерия нет.

А что есть? Что — вместо него?

Это — самое интересное.

3

Сейчас мне придется вернуться к тому, с чего я начал, — к литературному процессу как организованному потоку художественной информации (да простит мне уважаемая публика это возвращение к исходной точке).

Литературный процесс советского периода отличался крайней централизованностью. Все знают, что вне координации с Союзом писателей было невозможно напечатать книгу (любую). Тот, кто хотел участие в процессе, должен был войти в сферу влияния структуры. Структура эта, в свою очередь, имела при себе институт экспертов (редакторов, редакционных сотрудников, рецензентов и консультантов), которые руководили сетью литературных изданий, прежде всего толстых журналов, и осуществляли реальную работу этих журналов. Эксперты отбирали самые показательные произведения. Снимая сливки со стихийного литературного процесса, они создавали процесс организованный. Их работу строжайше контролировали сверху. Партийно-идеологический контроль выполнял одну побочную и довольно неожиданную задачу — он не позволял экспертам замкнуться в ограниченно-цеховую секту. Руководящие бонзы были теми самыми «простыми парнями», которые требовали от журнальной литературы понятности и доступности. Экспертов это, ясное дело, невероятно унижало, широкому же читателю давало дополнительное преимущество: мало того, что он в поисках ответов на свои вопросы мог обратиться только к современной ему художественной литературе (в самом деле, не к агитброшюрам же), эта литература к тому же была легкоусвояемой. Существовал, как известно, и андеграунд. Подобно литературе «официальной» он был жестко централизован. В довершение всего наземная и подземная структуры имели общие точки пересечения; для того чтобы войти в подземелье, и здесь надо было войти в структуру как таковую. Пребывание вне структуры оставалось жалким уделом многочисленных графоманов и прочих маргиналов от литературы.

Сейчас все переменялось. Монополия на владение информацией снята. При желании можно напечатать что угодно (предварительно хорошенько заплатив). Другое дело — все, что будет напечатано, дойдет только до тех, кому автор само-

лично доставит экземпляр, поскольку отсутствует система распространения. Между писателем и возможным читателем нет железной дороги, писателю приходится топтать на своих двоих. В оны времена структура требовала от творческого человека почти максимальной несвободы, взамен она оставляла ему комфортную возможность не задумываться о многих технических вопросах (вообще это особенность любой структуры; структура — средство связи для пользователей, она же требует от пользователей соблюдения правил, то есть в какой-то степени заставляет их быть несвободными).

Что же до экспертов, то, выйдя из-под контроля, они, естественно, создали самодостаточную среду, которой полновластно распоряжаются. То есть литературный процесс вроде и продолжается: выходят толстые журналы, в них публикуются романы и повести, затем эти романы и повести оцениваются критиками.

Увы, я вынужден произнести роковое слово «как бы». Все, что происходит сейчас в «большой литературе», — «как бы литпроцесс». Дело в том, что он имеет одну странную особенность — он почти полностью замкнут на себе, самодостаточен.

Те, кто присутствовал на современных литературных вечерах (к примеру, в салоне Чеховской библиотеки «Классики XXI века»), наверняка заметили, что публика в общем-то состоит исключительно из литераторов; те читатели, которые «не писатели», составляют в ней исчезающе малое меньшинство. Это — аналогия нынешнего «как бы литпроцесса», интересующего только тех, кто причастен к нему.

«Как бы литпроцесс» наталкивает еще на одну аналогию, на этот раз более жестокую, почти убийственную, — он очень похож на Замок, описанный Францем Кафкой. Грандиозная иерархическая система, которая живет исключительно собой и интересуется только собой. Никому фактически не нужная, несмотря на впечатляющие объемы, махина, ко всему прочему крайне несогласованная во внутреннем устройстве. Безумная машинерия, рискующая насмерть запутать любого пришельца извне. Как помнится, в Замок было невозможно проникнуть. В «как бы литпроцесс» проникнуть невозможно тоже. Сейчас мало таких смельчаков, которые захотели бы на свой страх и риск покорять очередной Замок, — люди научились понимать, какие игры им жизненно важны, а от каких можно и воздержаться. Но те считанные донкихоты, которые рискнули пойти в литературу, испытали на себе почти идеальную неуязвимость «как бы литпроцесса». Для того, чтобы быть допущенным в него, необходимо совершить невозможное — понравиться экспертам. Экспертов никто не контролирует сверху, им не нужно создавать видимость деятельности и предъявлять показатели по количеству подготовленных «новых писателей». Эксперты могут вообще не заниматься никакой деятельностью — на то они и эксперты. Эксперты не преследуют задачи нравственно-философского свойства; в отличие от экспертов XIX столетия они твердо знают, что цель искусства — искусство. Эксперты понимают только то, к чему привыкли. Эксперты боятся конкурентов, которые могут отнять у них статус экспертов. Экспертам ни к чему любое усложнение статичного пейзажа, который они привыкли держать перед глазами. Наконец, эксперты самыми первыми открыли, что критерия «хорошее произведение — плохое произведение» сейчас не существует. И это обстоятельство важнее всех прочих.

Так получилось, что каждую главу я заканчиваю вопросом. Я решил было больше не прибегать к этому дешево интригующему приему, но ничего не могу поделать; сам собой возник важнейший для всех «начинающих» вопрос:

Как понравиться экспертам?

4

Элементарно.

Для этого надо выделиться по отношению к общему фону, стать своеобразным.

Ситуация информационного переизбытка приводит к невозможности анализировать информацию. Это происходит вот почему. Повышение скорости поступления информации предполагает автоматическое повышение скорости анализа. За это неизбежно приходится платить. Анализ упрощается — пропускаются второстепенные показатели. Со временем их становится все больше и больше, наконец наступает такой момент, когда почти любую информацию становится невозможно

выявить из общего потока. Исключение составляет только та информация, которая отличается единственным показателем — показателем выделенности, непохожести. Признак непохожести, как правило, представляет собой совокупность внешних, поверхностных признаков: именно внешние признаки создают такую непохожесть, которая может быть легко зафиксирована. Необщий цвет костюма определяется с первого же мгновения. Куда труднее заметить необщее выражение лица.

Бывали такие времена, когда творческая индивидуальность не очень-то и приветствовалась, по крайней мере приветствовалась без особого восторга. Нынешняя эпоха истерически требует своеобразия. Авторская индивидуальность (либо принимаемое за нее стремление быть «не как все») превратилась в условие литературного выживания. Это очень скверно. Там, где выживают, а не живут, там и неизбежно развращаются, причем развращаются при помощи того, что необходимо для выживания.

Существуют разные способы выделиться. Прежде всего это — биография, богатая судьба, дарующаяся человеку как знак отличия. Увы, она дается немногим, поэтому этот путь, являющийся, несомненно, самым благородным (но при всем при том не таким уж беспорным), для большинства претендующих закрыт.

Некоторые пытаются создавать непохожие, выделяющиеся литературные тексты. Иногда это получается. Гораздо чаще — не получается. Такое дело требует слишком тонкого чутья. Всякая новизна немедленно устаревает. Только одиночкам удастся застолбить свой участок до того, как появятся толпы жадных перехватчиков. Помимо всего прочего, этот путь немыслим без такой малости, как художественный талант. А если его нет, где же его взять?

Зато почти беспроигрышным является третий способ, его можно назвать способом «жизнеустройства». Он таков: автор искусственно формирует для себя броский тип поведения. Это приносит результаты — автора немедленно запоминают. Правда, оказывается, что его литературные произведения интересуют всех во вторую очередь; их открывают для того, чтобы сказать: «Это написал тот парень, который...» Впрочем, в отсутствие интереса к литературе необычное поведение автора, пожалуй, служит побуждением к тому, чтобы прочитать написанное им.

Первым напомнил об этом Дмитрий Александрович Пригов, заявивший однажды, что не существует никакой литературы, а существует только набор масок, имиджей, интересующих читателя (читают только того, кто умеет создать себе удачный имидж, соответствующий требованиям времени).

В отношении «классиков» (Пушкина, Лермонтова и т. д.) Пригов был не прав: Пушкиным современники интересовались не как «арапом» и не как «дуэлянтом», а именно как писателем (как создателем литературных текстов). Конечно, я веду речь о духовно вменяемых современниках Пушкина, а не о той почтеннейшей публике, представитель которой сочинил немеркнущий шедевр «И Пушкин стал нам скучен, и Пушкин надоел...». Но по отношению к настоящим временам Пригов прав стопроцентно: действительно, литература как таковая подменена ныне пестрым карнавалом литературных «имиджей».

Когда Пригов сказал это, ему не поверили. Объяснили все приговской эксцентричностью, приговским цинизмом, наконец, приговской личной заинтересованностью (кто, как не он, является первым специалистом в деле имиджетворчества?). Сейчас настало время понять, что утверждение Пригова — горькая правда. В современном псевдолитпроцессе литератор может существовать только как устроитель собственного образа, как рекламоторец. В зависимости от этого жизнь литератора превращается в важнейшую часть мифа, в свою очередь, миф становится выгодным товаром (художественные произведения прилагаются «в нагрузку» к мифу). Таким образом, литературная ситуация принимает форму аукциона мифоторцев; выигрывает в этом аукционе тот, чей миф наиболее ярк и красив, в этом случае товар сбывается подороже. «Высокое искусство» шаг за шагом подчиняется законам шоу-бизнеса. Не беда, что на словах оно якобы противостоит шоу-бизнесу, стоит на страже священных заветов классической литературы, и так далее. Это — только слова.

Одно из правил шоу-бизнеса, пожалуй, наиболее обидно для «жрецов высокой культуры». Дело в том, что искусство глупое гораздо выгоднее, чем искусство умное, это — железный закон потребительской конъюнктуры. Клоун всегда обратит на себя внимание. Он более, чем кто-нибудь, непохож, именно поэтому он быстрее

всего запоминается и позднее всего выветривается из сознания (смотри феномен Жириновского). Глупость легко воспринимается, о мудрых вещах этого не скажешь, как правило, они сложны и неприятны. Чужую глупость наблюдать комфортно, а чужой ум ранит и оскорбляет окружающих. Все это, взятое в сумме, позволяет сформулировать обидный, но верный принцип: «Чем глупее, тем лучше» (некоторые деятели в таких случаях говорят «пипл схавет»).

Тот, кто в какой-то момент жизни согласился обручить искусство с бизнесом, к сожалению, должен проглотить все, что от него потребуют нормы бизнеса. Также он должен совершить все соответствующие случаю шаги, от первого до последнего включительно. Самым последним и самым судьбоносным шагом будет логически неизбежнейшее превращение писателя, Человека Культуры — в развеселого клоуна, потешающего платежеспособное население.

Коготок увяз — всей птичке пропасть.

Придется мне наконец сделать еще один, самый печальный из выводов: единственно открытый в настоящее время путь к славе — совершение очевидной и однозначной глупости.

Те, кому стыдно делать расчетливые глупости, могут заранее не беспокоиться. Их ждет литературная безвестность. Я вообще придерживаюсь того мнения, что удел настоящего художника — быть забытым.

Что поделаешь, я — экстремист.

5

Припело время для конкретных примеров.

Не стану говорить о некоторых повсеградно озкраненных поэтах и повсеместно утвержденных прозаиках — к чему обижать людей, которые, вероятно, и сами тяготятся своей неуместной славой? Некоторые, может быть, не тяготятся. Тем хуже для них. Все и так знают, кто из каких королей гол.

Но три показательных примера я все-таки приведу. Потому как эти примеры удивительно точно характеризуют особенности вхождения в так называемый лит-процесс.

Пример номер один. В перестроечное время прогремела группа «метаметафористов». Тому, кто найдет хотя бы одну черту сходства между Иваном Ждановым и Алексеем Парщиковым, можно сразу выдавать антибукеровскую премию за критику. По номинации «Луч света». Поелику у этих поэтов ничего общего, хотя они вышли в одной связке. Не будь нелепого «метаметафоризма», никто из «метаметафористов» не смог бы пробиться (по крайней мере не смог бы стать значимой фигурой). У них было слишком мало шансов: они были молоды и не имели надлежащих связей. Трагического противостояния «поэт — общество» также не могло быть, «метаметафористы» хотели писать «сложно», но в те времена многие хотели писать «сложно», ничего героического в этом уже не было. Правда, у Ивана Жданова судьба сложилась к тому времени непросто, но об этом надо вести отдельный разговор... Итак, поэты-«метаметафористы» были обречены на штатское прозябание. Их спасла борьба между «либералами» и «консерваторами», которая велась в то время. «Консерваторы» были вне себя из-за того, что происходило в стране, а тут им под нос сунули откровенную ахинею про то, что метаметафора так же отличается от метафоры, как метagalaktika от галактики. Тут они и взвились. В результате Александр Еременко собрал урожай нелестных ярлыков в адрес своей группы и опубликовал общий список в журнале «Юность». После этого все смутились: дело «метаметафористов» срифмовалось уж чуть ли не с делом Пастернака и всем прочим. Так был заявлен прецедент по использованию бессмыслицы в имиджестроительстве... Вообще-то «метаметафористы» были людьми умными и талантливыми, каждый из них неизмеримо превосходил уровень, заданный «метаметафоризмом». Просто так получилось, что умные люди прославились при помощи глупости. После этого «метаметафоризм» был забыт за ненужностью.

Пример номер два. Куртуазные маньеристы. Комментарии излишни. Весь потенциал «куртуазного маньеризма» едва тянул на один коллективный сборник. Дмитрий Быков вовремя сумел покинуть разыгравшуюся честную компанию, остальные продолжают шоу, пускай даже смысл этого шоу был исчерпан первым же манифестом. Их положению можно только посочувствовать. Однако стоит заметить,

что «курманьеристов» знают очень многие. Тогда как действительно серьезных и значительных поэтов, группирующихся вокруг петербургского журнала «Камера хранения» (Олег Юрьев, Валерий Шубинский, Сергей Вольф), знают только запрельные гурманы — ценители изящных искусств.

Пример номер три. Последняя сенсация литературной жизни — Алина Витухновская. В принципе вызволение Витухновской из тюрьмы было делом благим. Сознательно не касаюсь всех юридических аспектов, поскольку не имею точного представления о том, что происходило в действительности; могу сказать только, что Витухновскую жаль по-человечески, хотя ее поведение во многом было провокативной постмодернистской игрой. Но поразительно другое: никто не хотел говорить непосредственно о стихах. Сначала все дружно превозносили Витухновскую за то, что она попала в беду. Потом все стали столь же дружно ругать ее за то, что до этого ее хвалили. Имя Вознесенского в связи с творческим миром Витухновской возникло бог весть когда, хотя должно было бы возникнуть немедленно (конечно, в том случае, если речь велась бы о стихах, а не о посторонних предметах). В довершение всего обнаружилось, что взгляды Витухновской на действительность совершенно не совпадают с либерально-гуманистическими взглядами ее вызволителей. Сейчас ее арестовали вторично, и, насколько я знаю, число защитников сократилось до минимума. Что называется, была без радости любовь...

Да послужит это уроком как для тех, кто желает непременно включиться в литературный процесс, так и для тех, кто заботливо пестует новоявленные литературные дарования.

6

Так заведено, что в мире случаются катастрофы. Но они воспринимаются как катастрофы только теми, кто наблюдает их извне. Внутри медленных катастроф тоже есть своя жизнь.

Мы проживаем внутри катастрофы по имени ПОСЛЕ.



Алексей АЛОВ

Урбанистический пейзаж

Первая моя встреча с «альманахом для чтения» (так было написано на обложке) «Urbi» произошла четыре года назад. Питерский поэт Алексей Пурин подарил мне третий выпуск альманаха, в котором были опубликованы его стихи из цикла «Нижегородские ахи». Поначалу я решил, что ко мне попал самиздатовский сборник: трудно читаемый шрифт, маленький тираж (100 экземпляров)... Да и место издания — Нижний Новгород — не внушало доверия: литературная провинция справедливо ассоциировалась со стилистической и тематической вторичностью, с патриархальностью взглядов.

При более тщательном знакомстве с содержанием «Urbi» скептические настроения развеялись: оно привлекло внимание живостью стиля и смелостью культурологических аналогий.

По-настоящему альманах заявил о себе выпуском пятым. К этому времени сменился состав редакторов (ими были теперь К. Кобрин, А. Пурин, В. Садовский), место издания, дизайн; увеличились тираж и объем публикуемых материалов; расширился круг авторов. «Особость» нижегородско-петербургского предприятия выразилась в новаторском отношении к подбору сочинений. Главными критериями здесь выступают «читаемость» текста, его тематическая и структурно-композиционная неожиданность, смысловая насыщенность, эмоциональная яркость. «Urbi» смело призывает в союзники сочинителей, оказавшихся «непубликабельными» — футуристов (Р. Никонова-Таршис, В. Эрль), новых поэтов-неоклассицистов (А. Казанский, Н. Уперс), прозаиков, работающих на стыке привычных жанров (В. Симонов, М. Окунь, В. Садовский), неординарных филологов (А. Барзах).

Urbs в переводе с латинского означает город. И действительно, выпуски альманаха с участием большого количества самобытных, непохожих, а иногда творчески антагоничных по отношению друг к другу писателей напоминают современные российские города — тот же Петербург или Нижний Новгород. Академические, высокого штиля дворцово-парковые ансамбли (если можно так сказать о художественных произведениях) соседствуют с мрачными трущобами; изысканная литературная речь — с дворовым жаргоном и молодежным сленгом; *urbs* населен множеством персонажей — здесь говорят о литературе и политике, любят друг друга, выпивают, ругаются матом — в общем, живут; на *urbic*ских страницах отображаются и осмысливаются наиболее острые сегодняшние реалии: «старение» культуры, расслоение общества, гибель советской империи и сексуальная революция...

Новаторской представляется и сама политика издания. Многоавторские сборники трансформируются в книги. Начало положено еще выпусками «Баден-Баден» (1996) и «Труды Феогида» (1996), где единое полотно сюжета и тематики скраивается из разножанровых произведений: в «Баден-Бадене», например, сочинения двадцати шести авторов словно прошиты цитатами из «Старой записной книжки» П. А. Вяземского.

Издавая многоавторские альманахи-книги, редакторы создают каталог-накопитель (если можно так выразиться) текстов, которыми пользуются и в дальнейшем (в частности, при издании отдельных книг некоторых своих сочинителей). Для авторов, читателей и иных (не связанных с «Urbi») издателей выпуски типа «Баден-Бадена», «Труды Феогида», «Нового Сизифа» становятся своеобразной «площадью знакомств», средством для аналитической коммуникации, средой обитания коллективного художественного разума.

Продуманной, а не случайной становится и практика издания отдельных книг определенных авторов в виде очередного выпуска «Urbi». Здесь учитываются новые реальности книжного рынка: читатель сейчас все чаще выступает как потребитель, стремящийся приобрести максимально насыщенные, хорошо изданные книги любителей сочинителей.

Стихи, представленные в «Urbi», объединены общими классическими — дравинско-пушкинскими — стилистическими корнями, они идеально подпадают под понятие «петербургской школы». Большой частью постмандельштамовские по структуре и эмоциям, но смело наполненные кузминскими реминисценциями, они возвращают читателей к миру интимных переживаний, заставляют вспомнить антологические образцы древнегреческого стихосложения. На поэтических страницах «Urbi» монологи влюбленных перемежаются с портретами возлюбленных. Возлюбленные, живые или умершие, легко оборачиваются бабочками, ласточками, цветами...

Среди авторов альманаха — А. Казанский и Х. Боланд, Ю. Шилов и А. Леонтьев, Л. Клементьева и многие другие. Особое место в поэзии «Urbi» занимает обширное сочинение, озаглавленное «Апокрифы Феогнида», — то ли переводы из Феогнида, то ли оригинальные стихотворения. В качестве переводчика (или автора) публикатор А. Пурин называет Н. Л. Уперса. Впрочем, об «Апокрифах», вышедших в 1996 году, уже не раз писали, и я не стану специально останавливаться на них в обзоре альманаха.

Необычайно сложно мне рассуждать и о поэзии Алексея Кирдянова, чья книга стихотворений «Ночь» опубликована в выпуске восьмом: все эпитеты, применяемые обычно к ритмическим произведениям, на фоне его лирики кажутся грубоватыми. Поэтому от себя скажу только два слова: замечательный поэт.

В том же выпуске, носящем название «Новый Сизиф», напечатаны интересные поэтические опыты П. Барсковой и Д. Датешидзе.

Постепенно становится общим местом мнение о том, что в современной прозе утрачивают актуальность жанры, привычно считавшиеся «магистральными», и все большее значение приобретают те, что еще недавно относились к «периферийным»: дневник, беглая зарисовка, эссе или частное письмо.

Редакторы «Urbi» по-своему, иногда методом проб и ошибок, пытаются заполнить возникшие жанровые «дыры»... и предлагают сочинения, написанные собственно прозой. И как бы ставят диагноз: современная передовая проза, заимствуя характерные черты «старых», традиционных жанров, смешивая их между собой, *травестирует*. В итоге должны появиться (и, вероятно, уже появляются) новые жанры.

С этой точки зрения попробую рассмотреть некоторые выпуски альманаха, представляющие собой книгу одного автора*.

Весело названная «Удуванчики и аромашки», книга петербуржца Владимира Садовского предлагает нам прозу, жанрово находящуюся на стыке между очерком и маленьким рассказом (анекдотом), и заставляет вспомнить общепризнанного мастера «короткого рассказа» — Сергея Довлатова. Сюжеты Садовского пронизаны светом мягкой иронии по отношению к персонажам и самоиронии по отношению к фигуре рассказчика. В фокус зрения автора чаще всего попадают смешные, забавные или чуть драматичные житейские ситуации, которые выслеживаются, протоколируются с очерковой дотошностью. Времена социализма и перестройки, сегодняшние будни показаны с позиции не главного, а второстепенного героя; с позиции «маленького человека», которого если что и отличает от других, так это всепонимающая и как бы всепрощающая улыбка.

В целом книга «Удуванчики и аромашки» — замечательная коллекция словесных портретов — сослуживцев «рассказчика» по стройбату (военных строителей-рядовых, сержантов, офицеров-политработников), служителей и посетителей коммерческих теннисных кортов...

А также многих других граждан.

Категориями числительными, или, вернее, перечислительными, оперирует автор книги «По шкале Бофорта» Игорь Померанцев — известный литератор и ра-

* См.: Алексей Пурин. Воспоминания о Евтерпе. Вып. 9, 1996; Игорь Померанцев. По шкале Бофорта. Вып. 10, 1997; Владимир Садовский. Удуванчики и аромашки. Вып. 11, 1997; Кирилл Кобрин. Профили и ситуации. Вып. 12, 1997; Самуил Лурье. Разговоры в пользу мертвых. Вып. 13, 1997.

диожурналист. В его новую книгу собраны произведения многих лет — весьма различные по тематике и несущие на себе следы многих жанров (литературно-критического эссе, радиозарисовки и интервью, беглых воспоминаний и маленького рассказа); здесь вы найдете обрывки стихотворений (в том числе авторских) и фрагменты песенок, очерки о путешествиях и философские заметки.

«Шкала» нужна автору не только для поэтической классификации существующих в мире ветров (одно из наиболее ярких эссе, давшее название всей книге, — о «Словаре ветров», составленном Л. З. Прохом), но и для идентификации выпитого за долгие годы спиртного (Померанцев много и со вкусом рассуждает о тех или иных винах), для подсчета длины (подсчету не поддается) «сработанной» в радиостудии магнитофонной пленки; для сравнительных размышлений о возрастных периодах в жизни человека, о пройденных пешком, преодоленных на автомобиле (самолете) километрах жизненного пути...

Вся эта интересная смесь первого лауреата премии имени П. А. Вяземского (учрежденной альманахом «Urbi» в 1996 году) напоминает записные книжки (того же Вяземского) или беллетристические заметки (например, В. В. Розанова) и «не распыается» только за счет искренней лирической интонации. Эта интонация, иногда нервная, но в целом аристократически-сдержанная, и делает речь Померанцева оригинальной: «...Хотел бы воспользоваться случаем и поблагодарить все ветра, которые сопутствовали мне и несли меня по свету: волжский ХИЛОК, забайкальский ХВИУС, украинский БУРЕВИЙ, карпатский ГОРЫШНЯЧОК, рейнский ЗИБЕНГЕБИРГСВИНД, ветер озера Лугано ПОРЛЕЦЦИНА, испанский АБРЕГО, португальский НОРДЕР, два ветра, пьянящие воображение, — КАЛЬВАДОС и БОРДОСКИЙ ВЕТЕР, английские ветры КЭТС НОУЗ, КАСТАРД ВИНД, КОСОГЛАЗЫЙ БОБ».

Прочитавшему книгу «Профили и ситуации» Кирилла Кобриня должна броситься в глаза прежде всего сильная, сложноструктурированная (*пост*постмодернистская) стилистика. Размышления о писателях, философах и их произведениях, по Кобрину, — это взгляд, брошенный вглубь историко-литературного пространства сегодняшним человеком: человеком российским (*homo gushen?*) эпохи MTV. Причем это взгляд на хрестоматийные по большей части авторитеты — явно придиристый, содержащий неприкрытый скепсис: дескать, а все ли Боги — Боги?

И действительно, гипсовые фигуры классиков, о развитии которых прямо выражал любимый Кобриным литератор В. В. Набоков, подвергаются сильным ударам стилистического молотка.

Энергичного анализа молодого нижегородского критика удостоились многие литераторы: Батюшков и Чаадаев, Вяземский и Лидия Гинзбург, де Сад и Чернышевский, Витгенштейн и Розанов, Толкиен и Борхес...

Эссеистика Кобриня — это не литературоведение в чистом виде и не критика собственно, а культурологические экскурсы. Ведь изучает автор, по сути, не писателей как таковых и даже не произведения их, а образы, или, вернее, имиджи (в названии книги недаром упоминаются «профили», а не «портреты»), возникающие при произнесении, например, слова «Чаадаев»: имиджи, сложившиеся на сегодняшний день в его, Кобриня, сознании.

Да, Кобрин снимает хрестоматийный глянec с образов классиков словесности, смотрит на них как на живых людей, резко отказывая им в праве на мессианство, избранничество. Интересно в этом смысле сравнительное эссе о Витгенштейне и Розанове, не чуждающихся «простых», чувственных прелестей жизни: «Гастрономический вопрос вообще из наиболее тонких. Что предпочитал Розанов? "Крылышко гуся" глодал "без божества, без вдохновенья". Зато — "рыжики, грузди, какие-то вроде яблочков, брусника... и испанские громадные луковичи, и образцы капусты, и нити белых грибов на косяке двери" — "полное православие" <...> И разве не таков Витгенштейн? "Все равно, что есть, лишь бы одно и то же"».

Кажется, что автор не то чтобы попеременно влезает в шкуру своих героев, а, наоборот, вселяет их литературно-архивные души в свое, сегодняшнее, реальное тело.

Статьи и эссе Алексея Пурина, преимущественно о поэзии, написанные за несколько лет (с 1989-го по 1995 год) и публиковавшиеся во многих периодических изданиях, собранные под одну обложку, обрели (каким-то странным образом) абсолютно новое звучание, прониклись неожиданными смыслами, взаимными перекличками и параллелями в сборнике «Воспоминания о Евтерпе»*. Они преобразились в

* Об этой книге также см.: Елена Невзглядова. В Блаженном краю, прозаическом и стихотворном. «Новый мир», 1997, № 10.

какой-то небывалый, если можно так выразиться, роман. Причем роман художественный, несмотря на узкоспециальную, заведомо литературоведческую проблематику каждого эссе (или каждой главы?), несмотря на необычайно сложный, суперсовременный аппарат терминов и понятий. Отличие «Воспоминаний о Евтерпе» от традиционного романа лишь в том, что в качестве героев здесь появляются — Поэзия, эстетические категории Прекрасного и Безобразного, Подлинного и Мнимого...

Пурин рассуждает о ясно им воображаемом и потому, вероятно, ему же и подвластном мире художественности, воплощенном в слове; он создает эстетический (а значит, и этический) манифест, в котором главными, точнее, подлинными, символами становятся фигуры Анненского, Набокова, Кузмина, Мандельштама. По сути, и все остальные мастера слова, замечательные (Толстой, Ахматова, Цветаева, Вагинов, Заболоцкий... всех не перечислишь!) и не очень («потешные полки» современных «поэтов»), появляющиеся на страницах пуринского повествования, освещены лучом, преломленным через призму или, вернее, четырехгранник, образующийся при пересечении творческих линий четырех сильнейших русских модернистов.

Тщательно исследует Пурин образцы гениальной (или слабой) прозы и поэзии на предмет *как это сделано*, в чем загадка жизни (или смерти) того или иного текста, и, что важно, — разгадывает, объясняет, предъявляя читателю неоспоримые доказательства. Почти все, что можно сказать, он говорит о Константине Вагинове (эссе «Опыты Константина Вагинова»), о Кузмине-прозаике («О прекрасной ясности герметизма: Кузмин-стилизатор»), о современном поэте Евгении Рейне («Баранолки Бахрейна»), о набоковском «Даре»...

«Om Gorbi do «Urbi» всего один Кобрин»

— этим многозначительным каламбуром, сочиненным А. Кирдяновым, завершая свои беглые заметки о полюбившемся альманахе.

Лишь продолжу каламбур:

...всего один Садовский... всего один Пурин.



Вячеслав КУРИЦЫН

Б е з п а л ь т о

К двадцатипятилетию журнала «Литературное обозрение»

На улице было темно и сыро. Я быстро прошел по Газетному переулку от редакции газеты «Русский телеграф» до Центрального телеграфа. Рабочий день заканчивался, половину люстр в зале уже повывключали. Я стоял в хвосте очереди за конвертом, отставив к стойке пакет с книжками внутри и рекламой виски «Белая лошадь» снаружи. Хвост моей очереди (то есть, собственно, я) оказался напротив окошка «До востребования». К нему подошел скользкого вида человек в очках и с портфелем, попросил посмотреть корреспонденцию «по номеру». Ага, подумал я, то-то он такой нервно-взъерошенный. Дал, поди, какое-нибудь срамное объяснение — дескать, ищу партнеров с садо-мазохистскими интересами.

Или просто шпион.

За ним стоял совершеннейше противоположный человек: в брезентовом комбинезоне с кучей карабинов и прибабасов, в рыжей каске, в каком-то поясе — то ли пожарник, то ли шахтер, а скорее представитель того славного монтажного племени, что развешивает по городу большие рекламные буквы, едва не роняя их при укреплении на головы невинных горожан. Он сразу обратил внимание на мой пакет с книжками и пронзил зал быстрым вопросом о хозяине: опасаясь, надо полагать, бомбы. Я пододвинул пакет к себе да и вообще пододвинулся вперед вместе с очередью. Но слышал, что монтажник продолжал вести себя категорически отличным от маньяка образом. Во-первых, услышав, что маньяк просил «по номеру», забеспокоился, можно ли «по фамилии». Во-вторых, долго говорил, что, может быть, ему пришла корреспонденция, а может быть, и не пришла. Несмотря на явную избыточность как «во-первых», так и «во-вторых», несмотря на подозрительность, проявленную к моему пакету, монтажник-пожарник был куда приятнее маньяка-очкарика.

Из дверей телеграфа я сразу нырнул в подземный переход, дошел до угла Тверской и двинулся по той улице, названия не знаю (Театральный проезд?), которая ведет мимо Большого театра. Скосив глаза вправо, обнаружил обгоняющего меня молодого человека. Он был высок, изящен, имел на себе, насколько я мог разглядеть, приличный костюм, из-под распахнутого длинного пальто выбивался элегантный шарф, в руке он, допустим, сжимал перчатки. В общем, он был похож на журналиста Николая Малинина, которого я часом раньше видел в «Русском телеграфе» и которого недавно в одном из квазимемуарных очерков в «Октябре» сравнили с литературным героем Арамисом. Несся на что-нибудь вроде свидания. На молодого человека я смотрел, несмотря на относительную подробность вышерасположенного расписания, не более доли секунды, ибо он тут же хряснулся в лужу, эффективности коего жеста способствовала членистодлинность его конечностей.

По существу, я сбил его с ног своим стремительным взглядом: импульсное наяривание уголками глаз иногда приводит к изрядным результатам. В ту самую секунду, как эта мысль пришла мне в голову, скользкий Театральный проезд исчез из-под ног, я должен был рухнуть, щелкнув ножницами гач, подобно призрак Малинина, но сумел удержать равновесие. Ура! Правда, уже через несколько метров — напротив ресторана «Серебряный век», в котором судак на зеркале стоит 540 новых рублей, который находится в бывшем помещении бань с соответствующими бронзовыми наядами и который я знаю, не подумайте обо мне дурного, только потому, что тут дважды вручали Антибукеровскую премию, — я залез ногой в глубокую лужу и изрядно промок.

Лубянскую площадь я пересек под землей и вышел к Соловецкому камню. Постоял подле него, покурил, глядя на окна КГБ. Думал испытать мистический ужас, памятуя о миллионах погибших задешево, но не испытал. Думал испытать чувство с другим знаком, памятуя о том, что сочинил только что боевик, в котором нынешняя Лубянка как атрибут государственности выведена скорее положительно, но тоже не испытал. Зато понял, что, хотя Соловецкий камень и стоит с краю площади, по человеку, курящему возле него, легко пустить из лубянского окна тот или иной снаряд.

Зашел в Политехнический музей. Вечер, посвященный 25-летию журнала «Литературное обозрение», продолжался, наверное, часа уже полтора. Прослушал стихи в исполнении поэта и москвича Айзенберга, потом речь редактора и критика Чупринина, который сказал, что перед тем, как ехать на юбилей, он просмотрел соответствующее постановление ЦК об учреждении журнала, потом я отвлекся на дискуссию с критично настроенным поэтом и деятелем Д. Кузьминым, который наметнул на неспецифированность моих рассуждений в одной критической статье о молодых авторах, а под конец Чупринин сообщил, что с журналом «Литературное обозрение» произошли изменения, и это хорошо, а потом, может быть, журнал будет жить в русле этих произошедших изменений, а может быть, все сложится совсем иначе, журнал снова изменится, и это тоже будет хорошо, и это тоже можно будет приветствовать. Ход мысли и подразумеваемый оным ход действий Чупринина порадовал меня своим универсализмом, я решил взять его на заметку и как-нибудь при случае сплагатировать.

На сцене появился человек с гитарой, я подмигнул поэтам Саше Макарову и Стелле Моротской, что неплохо бы выпить, мы вышли в фойе, купили в буфете этого самого выпить и поднялись с ними в курилку, где скучала совокупность лиц, ожидающих конца официальной части. Видевшие в наших руках стаканчики с алкоголем лица набрасывались на нас с вопросом, где мы это взяли. В вопросах звенела ревность: ах, этим уже плеснули, а нам еще нет! Когда же мы отвечали, что алкоголь продается семью ступеньками ниже курилки, лица просянулись от того, что их не обошли, но мрачнели от того, что халява еще не началась.

В беседе с поэтом и деятелем Д. Кузьминым и критиком и редактором А. Михайловым я пожаловался, что мне неуютно без давно погрязшего в ремонте салона «Классики двадцать первого века» на Пушкинской площади: это единственный салон, в который я захожу с какой-никакой степенью регулярности, раз эдак в месяц. Михайлов меня поддержал. Критично настроенный Кузьмин заявил: «Это потому, что для вас в литературном салоне главное — не литература, а буфет». Я стал было возражать, что главное и то, и другое, и нечего животворные стихи противопоставлять животворному же буфету, но Михайлов сказал: «Да чего ты с ним споришь, он же не пьет».

Поэт и томный красавец Д. Воденников подарил мне книжку стихов «Репейник», там были такие строки:

О кто бы мог еще глядеть
такими бедными овечьими глазами
на это прорастающее пламя,
на пастуха, идущего стеречь,
на гобелен с овечками и небесами.

«Никто еще. Только еще я», — горько подумал я.

Торжественное заседание меж тем кончилось, часть публики разошлась по домам, а другую часть стали наконец кормить бутербродами с колбасой и поить водкой. Я, решив ограничиться выпитыми ранее пятьюдесятью граммами коньяка, пил уже только минеральную воду, что почему-то приводило в восторг историка и филосемика Кациса, который никак не мог взять в толк, как же не пить, когда дают. Я опрашивал присутствующих на предмет посещения хотя бы кем-нибудь из них Политехнического музея с другой стороны: не тут, где стихи читают и водку пьют, а там, где осматривают экспонаты. Выяснилось, что если кто в музее и был, то только в раннем детстве (исключая филолога-ильфофила Фельдмана, который, по его словам, ежемесячно бывает в музее по какой-то служебной надобе). Я всем всячески разрекламировал внутренности Политехнического: тянущиеся целыми залами макеты гидроэлектростанций и коллекции патефонов. Поэт Воденников обещал сходить, но, боюсь, обманул. Еще меня обманул в этот день радиожурналист и музейный работник Александров: он сказал, что отдаст мне взятые для прочтения номера журнала «Урал» с романом писательницы Ольги Славниковой про стрекоз и собак через неделю на таком-то мероприятии, но ничегошеньки он мне через неделю не отдал. Сколь сложна жизнь!

● Без пальто

Объясняя поэту и престижитатору Ковалю, почему я не пью водку, я случайно взял со стола его стакан и сделал большой глоток, полагая, что там минеральная вода, а там как раз водка-то и была.

Литературовед и бородач Бак показывал всем девятнадцатый и одновременно справочный том Пушкина невероятной толщины, где, в частности, был каталог его, Пушкина, рисунков, состоящий сплошь из «Ножки женские» и «Нога мужская». Моника Спивак, нерусская музейный работник, сказала, что только что прибыла из Пушкин-музея на Арбате, где ровно сейчас отмечается годовщина свадьбы Пушкина (1830? 1831?) и, соответственно, его первой брачной ночи. Филосеми́т Кацис изрек по этому поводу несколько скабрёзных шуток.

Все дразнят «Литобоз» «Новым старым литературным обозрением».

— А вот ты скажи правду, — строго обратился ко мне неплохо уже выпивший поэт и осетин Кибиров, — водки тут не пьешь, заседания не слушал, что по писателям-поэтам соскучился — не верю... Зачем ты сюда пришел? Ужели справить двадцатипятилетие «Литобоза»?

Между прочим, про этого самого Кибирова в этот самый «Литобоз» я написал статейку, а они мало того, что номер к юбилею не подспели, да еще вопросы такие спрашивают!

Но я ответил правду. Что я люблю пространства Политехнического музея и историю, понаलिшую на этих стенах, что я люблю жанр литературного мероприятия — неторопливый, несуетный, существующий будто бы не в текущем времени, а в мемуарных текстах, что я, допустим, не очень ликую на поводу юбилей журнала, но все не прочь поздравить редактора Куллэ, которому юбилей важен и лишнее поздравление не повредит, что я, конечно, не бог весть как скучаю по Кузьмину, Михайлову и прочим литтосовщикам, тем более что вижу их с изрядной периодичностью, но мне с этими людьми хорошо, привычно и спокойно, а чего еще нужно литературному человеку? Не судак на зеркале ему нужен, а возможность выпить с Михайловым пятьдесят граммов в хорошем интерьере и приятной компании.

Тут заголосили невидимые люди, что следует забрать одежду из гардероба, а потом можно возвращаться и пьянствовать далее. Я решил, что пора идти домой, спустился в гардероб и обнаружил, что номерок потерял. Бабушки наотрез отказались отдавать мне куртку хоть бы даже и в обмен на деньги, гнали к руководству музея. Я поднялся в указанную дверь, руководства не обнаружил, вновь спустился в гардероб. Меня послали вниз. Там я тоже никого не нашел. За моими попытками сочувственно наблюдал поэт Гандлевский, натерпевшийся недавно в битве с антибюрократскими бюрократами. Теперь вот и я попал в те же самые безжалостные жернова... С надцатой попытки мне удалось уговорить бабушку взять у меня объяснительную и деньги. Я написал:

«Объяснительная.

Я потерял номерок. В Политехническом музее.

Число. Подпись».

Одна из бабушек взяла у меня ручку, подписала снизу что-то типа «отдал деньги».

— Сколько? — Это не я спросил, это она у меня спросила.

Я пожал плечами.

— Пятнадцать, — решила бабушка.

Надеюсь, она сдала бумагу куда следует и ее положили в архив. Теперь среди многих тысяч единиц хранения этого святого здания есть и моя единица, мой текст. Это очень приятно. А когда-нибудь юный филолог, наткнувшись в номере «Октября» на эти строки, вычислит день, в который происходили описываемые события (сделать это нетрудно, имея в виду свадьбу Пушкина), и полезет в архивы Политехнического в поисках драгоценного документа...

У метро «Динамо» подошел человек и предложил купить за пять тысяч (в три раза дешевле, чем сложить свой документ в архив Политехнического) часы. Добавил, что он «мастер спорта ЦСКА». Рисковал. А если бы я оказался динамовским фанатом?

Через пару дней я зашел к поэту Наталье Исаковне Беккерман, и она мне рассказала, что нерусская музейный работник Спивак нашла тогда мой номерок и отдала его филологу Баку.

Через неделю, на том мероприятии, на котором ди-джей Александров не отдал мне журналы «Урал» с прозой про стрекозу, поэт Гандлевский спросил меня:

— Вы сегодня без пальто?

Дом, который построил Иван

Кто не знает Бориса Парамонова? Все знают Бориса Парамонова! По крайней мере все отечественные интеллектуалы, каким-то загадочным стечением обстоятельств оставшиеся проживать на части территории бывшего СССР, знают и ценят Бориса Парамонова, русского культуролога, живущего в США, но выступающего регулярно в России, где спрос на его товар под названием «А что я вам расскажу про Н!» Вы со стула брякнетесь и больше не встанете!» все еще традиционно высок.

Почешет в затылке русский интеллектуал, задумается крепко и — на всякий случай — брякнется со стула. Но тихо-тихо и озираясь по сторонам: верно ли, что брякнулись и все остальные? И не попал ли он впросак? И не поднимут ли его насмех: мол, ты вот брякнулся, дурак, со стула, а мы-то вот — нет! Мы-то вот давно про этих ребят все знаем!

Зайдет ли речь о Гоголе — Борис Парамонов не лезет за словом в карман: мол, Костанжогло — это герой нашего времени. Заговорят ли о Чехове — и тут Борис Парамонов не теряется: мол, еще Антон Павлович предсказал, что русской духовности — конец. Зашепчут ли о личной жизни Цветаевой — и тотчас Борис Парамонов выскочит, как черт из табакерки, гаркнет, как Скалзуб: да что вы, мол, шепчетесь-то, словно не знаете, что у мамыши с сыном-то было — с бедным Муром!

И — зачешут затылки и заскрипят стулья. Знать-то мы знаем, тоже не лаптем щи едим... Да больно оно нехорошо, нельзя ли потише-с!

Борис Парамонов — типический пример органического вживления советского сознания в буржуазный менталитет. Советское сознание изначально напугано и недоверчиво. Оно везде ожидает обмана, подвоха, подмены. Если их нет — пугается еще больше: раз все чисто — тогда, уж верно, за всем этим что-то такое скрывается! Буржуазный менталитет благодушен и равнодушен. Но опасается только одного: как бы что-нибудь не приняли за последнюю истину и не повисло бы в воздухе грозное словечко «тоталитарность»! На скрещении этих «комплексов» и рождается феномен Бориса Парамонова — мыслителя вовсе не злого, как считают некоторые, а только расчетливого и бесконечно зависимого от реакции своих читателей. Следовательно, глухого к звучанию правды и слепого к свечению истины. Лично я всегда читаю его с величайшим интересом, и притом сугубо прагматическим: я в точности знаю, что на том мыслительном поле, которое пометил Борис Парамонов, настоящих мин как раз нет. Здесь можно гулять спокойно. Настоящие опасности и настоящие открытия находятся там, куда не ступала резвая нога Бориса Парамонова...

Но однажды Борис Парамонов все-таки крепко меня «достал»! Я даже изумился: откуда такая точность попадания? При его-то несомненной дисквалификации по части нащупывания действительных, а не воображаемых «болевых точек» русского сознания!

Полагаю, что Борис Парамонов скорее всего случайно проговорился. Вернее, случайно надавил на то место, которое реально болит. И больной, до сих пор отвечающий на прощупывания докторских пальчиков: «Не знаю... вроде бы... не болит... нормально...» — на сей раз неожиданно громко вскрикнул.

В какой-то своей статье, не помню о чем (кажется, все о том же отступлении русской духовности перед западной буржуазностью) — Борис Парамонов вдруг заговорил о ДОМЕ. Заговорил, как и всегда, с провокативной целью. Мол, он в Америке дом построил. Наверняка не самый дорогой. Но — построил. То есть — купил.

Или — заказал. Но — что важно! — не снял. СВОЙ дом. И вот процесс этой купли-заказа-строительства в американских условиях показался Борису Парамонову таким занимательным делом, что он готов придать этому статусу искусства или по крайней мере статусу серьезной интеллектуальной работы, ничуть не меньшей, чем, скажем, прочтение Томаса Манна...

Провокация Парамонова состояла вот в чем. Мол, вы, в России, кичитесь своей липовой духовностью, которая на самом деле давно выветрилась, а дома приличного ни купить, ни построить не можете. И надо еще разобраться: оттого ли вы читаете Томаса Манна, что Томас Манн вас действительно страшно интересует, или оттого, что ничем больше заниматься не в состоянии? Я — говорит Борис Парамонов — и Томаса Манна читал, и дом себе купил. Я могу сказать: какое из искусств (чтение или покупка) выше, сложнее и требует больших духовных затрат? Я могу СРАВНИТЬ. Вы... нет!

Надо быть либо очень злой, либо совершенно пустопорожней натурой, чтобы такое вымолвить! Я готов отдать его произволу и Пушкина, и Гоголя, и Толстого, и Достоевского оптом и в розницу — гуляй, изгаляйся, от классики не убудет, и ей не прибавит! Знали и Писарева, и Авербаха — всех поглотили воды и земли русские, все былшем поросли, а «Онегин» и «Хаджи-Мурат» — остались. Но ДОМА — не трагай! Отступись...

В начале этого года скончался замечательный поэт и человек Николай Старшинов. Его имя скорее всего говорит Борису Парамонову меньше, чем имя славного хоккеиста, но это не важно. Скажем так: скончался писатель. В свою бытность секретарем приемной комиссии Литинститута, где Старшинов проработал почти сорок лет, мне приходилось беседовать с ним. И вот он рассказывал о строительстве своего дома, кажется, на Истре. О тех мытарствах, с которыми было связано это строительство еще в советские времена, когда кусок шифера было достать не проще, чем томик Цветаевой. Когда землю давали как милость, нарезая ее мизерными порциями на загаженных пустырях.

Можно только поражаться живучести и изворотливости русских людей, что ухитрялись проработать на этих клочках каким-то ДОМОМ, каким-то БЫТОМ. Не говорю о тех писателях, что получали дармовые дачи в Переделкино — это отдельный разговор. Но те, что строили сами, те, что покупали в деревнях брошенные дома и поднимали их своим горбом, могли бы многое рассказать Борису Парамонову об искусстве строительства домов в России, которое, разумеется, гораздо сложнее искусства чтения Томаса Манна.

Под впечатлением рассказов Старшинова я в то время в перерывах между вступительными экзаменами, где на моих глазах рушились мечты и согревались надежды, колесил с приятелем по Ивановской области в районе Палеха. Мы пытались купить себе дома, оказавшись в потоке — конечно же, неслучайном — городских жителей, рванувших в деревни в поисках ДОМА. Домов мы так и не купили. Они были в изобилии, эти брошенные дома, в которых совсем недавно кто-то жил, плакал, смеялся, женился, рождался, умирал; но от нас эти дома были словно отсечены какой-то невидимой стеной. Старушки хозяйки, переселившиеся к детям в центральные усадьбы, плакали, однако на продажу своих хуторских домов охотно соглашались: деньги-то нужны! Но — в последний момент — вмешивалась ВЛАСТЬ. Отчего-то ей не хотелось, чтобы очкастый интеллигент жил в брошенном и обреченном на развал доме. На моих глазах бабища из местного исполкома говорила старухе: ты можешь свой дом разобрать на дрова, можешь даже спать и получить страховые... Но продать ты его не можешь, потому что с твоими бумагами то-то и то-то неладно... Потом, уже в других местах, под Тулой, я лично видел, как крестьяне ночью палили бывшие свои дома и — получали-таки «страховки»!

И я заверяю Бориса Парамонова, что это впечатляло меня сильнее, чем Томас Манн, Джон Голсуорси и Лев Толстой — вместе взятые!

Сейчас положение с домами радикально изменилось. Стало еще сложнее. Не сомневаюсь, что купля или строительство собственного дома в Америке — штука интересная, напряженная и даже рискованная, как и все в мире, что связано с недвижимостью. Не сомневаюсь, что и там своих «сюжетов» достаточно. Но то, что происходит со строительством в современной России, не поддается никаким описаниям и может быть сравнимо только с небезызвестным вавилонским сюжетом! Дома растут, как грибы. Помпезные особняки и крохотные домики. Последние — вовсе не жалкие и даже более привлекательные, поскольку в них вложены не одни деньги, но и мощная энергия любви — в чем-то смешной, в чем-то болезненной, но в целом невероятно трогательной. Россия вырастает в собственную землю домами, вырастает беспокойно и судорожно, словно опасаясь, что завтра этой земли не будет, если

не уплотнить ее фундаментами, не стянуть железными и деревянными оградами — хоть «рабицей» какой-нибудь паршивой! Можно смеяться над этими высоченными заборами чуть ли не с вышками (стиль «новых русских») и над этими нелепыми «рабицами», напоминающими о курятниках (бедный стиль). Можно высокомерно приводить в пример безоградную свободу американских «дворов» с их обманчиво скромными табличками «private property», но нельзя не признать в нашем странном «Вавилоне» духовно точно рассчитанной народной воли, которая не желает мириться с вопиющей пустотой своей земли. Что-нибудь из этого да выйдет. Что-нибудь да останется!

Почти анекдотический эпизод. Гуляю со своим бывшим одноклассником, вдруг оказавшимся коммунистом-зюгановцем, по Москве... Обсуждаем «лужковское» строительство, бешеными темпами развернувшееся по всей столице, особенно — в центре. «Молодец Лужков! — говорит мой спутник. — Хорошо строит!» «Ты же ж против него. Ты же ж коммунист», — подзуживаю я. «Ничего, — говорит «коммунист». — Все народу достанется». «И это?» — показываю на шикарный новострой какой-то западной фирмы. «А здесь, — серьезно говорит мой приятель, — у нас горком партии будет». Так-то вот!

И пусть Парамонов не важничает со своим домом. Мне его важничанье очень понятно. Сам вот думаю срубишко на Волге прикупить. Только об этом сейчас и думаю. Про Томаса Манна совсем забыл...



ЛАВКА БУКИНИСТА

СКАЗКИ КИТАЯ. М., «Художественная литература», 1993. Тир. 50 000 экз.

В произведениях иной культуры тем интересней отыскать внезапно знакомое. Подобные совпадения указывают: есть другой путь, не западный, не восточный, лежащий в стороне. Он используется случайно, от времени и до времени, это запасной путь для разума и души. Сказка «Император и мышь» повествует о том, как в императорских покоях завелось неведомое животное. Император посчитал, что это оборотень. Маленькому, но по предположению многосильному зверьку приносили обильные жертвы. Император никогда не видел мыши, а потому издал указ: победивший страшного противника будет награжден десятью тысячами слитков золота и тысячу штук атласной материи. Простой деревенский парень принес в императорские покои кота. Император никогда не видел и такого животного и был потрясен, как быстро кот разделался с мышью. Хозяина кота наградили, а чудесное животное выкупили еще за десять тысяч слитков золота и тысячу штук атласной материи. Жадный помещик, узнав о том, как щедро награжден крестьянин, решил тоже обогатиться. Он отвез императору в наложницы собственную дочь. Император дал ему в награду победителя оборотней, кота, обошедшегося в десять тысяч слитков золота и тысячу штук атласной материи. Если рассматривать сказку через призму традиционных китайских верований, кот напрямую связан с богатством, вернее, с его потерей, ибо приход в дом этого животного считается предзнаменованием близкой бедности. Наличие крыс и мышей характеризует скорый упадок — и это верно, ведь император, не знающий самых обычных вещей, обречен. Если же объяснять сказку, пользуясь набором европейской символики, то первый план займет соположение женщины и кота: на европейских эротических гравюрах это животное почти постоянный свидетель любовных игр. Как попала в китайскую сказку столь значимая для европейской культуры деталь? Только следуя путем, минуяшим и Восток, и Запад.

В. К. ШИЛЕЙКО. ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ШАГ ВИГИЛИЙ. Томск, «Водолей», 1994. Тир. 1000 нумерованных экз.

Как переводят «с листа» современные тексты, он диктовал вавилонский эпос, заглядывая в глиняные таблички. Переводы, собранные в книге, показывают — время их пощадило. Пощадило время и немногочисленные оригинальные стихотворения В. К. Шилейко. Впрочем, о том он ведал и сам:

Над мраком смерти обоюдной
Есть говор памяти времен,
Есть рокот славы правосудной,
Могучий гул; но дремлет он

Не в ослепленье броней медных,
А в синем сумраке гробниц,
Не в клетоте знамен победных,
А в слабом шелесте страниц.

Александр РОГОВ. ИГРУШКА. Тексты. Рязань, «Профлитиздат», 1996. Тир. 2000 экз.

С. Т. Кольридж увидел во сне поэму о Кубла-хане и, стряхнув ночной морок, написал запомнившиеся строки. Автор книги признается: «Я давно заметил, что если ляжешь во второй половине ночи, когда, говорят, самый глубокий сон, то снится самое невероятное. А ежели перед поздним сном еще и напьешься (сны во хмелю — тема особая) крепкого чаю или кофе и ляжешь, не дождавись окончания действия этих напитков, то сны еще фантастичнее...» И все-таки оставляет увиденное забвению, а пишет полусатиры-полуоморески. Его право, но его ли сила?

Б. А. УСПЕНСКИЙ. СЕМИОТИКА ИСКУССТВА. М., Школа «Языки русской культуры», 1995. Тир. 15 000 экз.

Загадочная история: представители формального метода, борясь с социологической школой, изучали бытование приема во времени. Но неожиданно оказались

родными братьями тех, с кем боролись. Члены московско-тартусской семиотической школы, опираясь на работы формалистов и еще более отталкиваясь от них, создавали советский структурализм. Прошло еще несколько десятков лет, и теперь видно: их работы сильны именно там, где связаны с социологией. Тому подтверждение — помещенные под одной обложкой и давние работы «Поэтика композиции» и «Семиотика иконы», и впервые опубликованная статья «Композиция Гентского алтаря Ван Эйка в семиотическом освещении». Впрочем, истории конца не видно. Будь теоретики постмодернизма чуть поумнее, а главное правдивее, они бы признались, что составляемые ими инвентарные списки культуры — очередная разновидность социологизма, только донельзя пошлого и вульгарного.

М. М. ЗОЩЕНКО. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ПЯТИ ТОМАХ. Т. 1, 2, 4, 5. М., «Русслит», 1994. Т. 3, 1993. Тир. 50 000 экз.

Одна из последних работ Ю. В. Томашевского, отдавшего много сил изданию произведений М. М. Зощенко и воспоминаний о нем. Собрание любопытно тем, что большая часть рассказов сопровождается иллюстрациями, с которыми они выходили при жизни писателя. И тем не менее мысли рождаются самые грустные. В том не вина публикатора, но до сих пор сколько-нибудь удовлетворительного собрания зощенковских произведений не существует. Даже «Рассказы Назара Ильича господина Синябрюхова» переиздаются с купюрами, внесенными по идеологическим соображениям.

Александр КОНДРАТЬЕВ. СНЫ. СПб., «Северо-Запад», 1993. Тир. 100 000 экз.

Не суховатая, как фантазмагории П. П. Муратова, а именно сухая, скучная проза, повествующая о русалках, домовых и прочих героях демонологии. Понятно, почему на материале этих сочинений В. Н. Топоров строит концепцию о неомифологизме. Давно замечено — причудливые здания легче всего строить из детских кубиков. К «Вечерам на хуторе близ Диканьки» и в голову не придет прикладывать умозрительную мерку: черти у Н. В. Гоголя не менее реальны, чем люди.

АНТОЛОГИЯ ДАОССКОЙ ФИЛОСОФИИ. М., Товарищество «Клышиников-Комаров и Ко», 1994. Тир. 30 000 экз.

Такая антология вышла впервые. Ничего похожего на нее нет ни на каком языке, даже китайском. Сборник состоит из разделов, среди которых есть посвященные и книжной мудрости, и практическим приложениям даосской философии, в том числе и в искусстве любви, и в боевых искусствах, и в быту. Один из составителей — В. В. Малявин, человек, долго находившийся в тени, хотя и раньше было ясно — это один из самых крупных российских ученых современности.

ПИСЬМА АЗЕФА: 1893 — 1917. М., «ТЕРРА», 1994. 10 000 экз.

Бытование Азефа сразу в двух лагерях, парение его вне морали тех и других, плодотворная и успешная деятельность и в охранке, и среди революционеров наводит на мысль: поведение его — некая ранняя модель политического и духовного плюрализма, полно воплощающаяся в жизнь сейчас. О том можно рассуждать, вспоминая известное об Азефе по разным источникам. Данная же книга и вовсе не рассчитана на прочтение, иначе обильные письма на немецком языке были бы снабжены хоть каким-нибудь переводом.

Ф. Ф. ЗЕЛИНСКИЙ. СКАЗОЧНАЯ ДРЕВНОСТЬ ЭЛЛАДЫ. М., «Московский рабочий», 1993. Тир. 50 000 экз.

Знаменитый ученый считал: у разных народов общие истоки — античность. На том основании он мечтал об объединении Европы. Сколь он заблуждался, видно теперь, когда Европа объединяется, противостоя Америке и вовсе не понимая, что современные европейцы порождены «снятой», претворенной в реальность американской культурой. Манерные пересказы античных мифов, сделанные Ф. Ф. Зелинским для детей, никому не нужны. Подлинная и облаченная в плоть мифология подстерегает на каждом углу. А миф силен плотью и кровью.

Б. ФИЛЕВСКИЙ



Читайте в следующем номере:

ЮННА МОРИЦ

РАССКАЗЫ О ЧУДЕСНОМ

«Я не помню имени этого парня-подростка, что звался уркой вполне добродушно в сознании человеческой улицы, а выдумывать ему подходящее имя из головы не хочу.

На моей ноге остался маленький белый след от его ножичка, драгоценная память о нежном возрасте, когда девочки еще падают в обморок при виде собственной крови. Дурочка давно умерла, перекрасили весь город, а двор тот зеленый, сиреневый вместе с домами снесли подчистую. Но страхом Божиим, стыдом, любовью мычащей, улыбкой от боли, непроглядностью тайны и окончательной ясностью — это вонзилось, как ножичек, и оно же вытекает из памяти вместе с жизнью, капля за каплей. А последняя капля там остановится, где мы признаем друг друга, истратив свою оболочку, имя, лицо и речь — все, что было в аквариуме прозрачного лиственного двора, где ножичком я добывала землю. В той жизни, где никогда справедливости не было там, где ее искали. Была, но не там. Там ее точно нигде не было».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

*До конца года «Октябрь»
предполагает опубликовать:*

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга вторая.

Ролан БЫКОВ. **Дочь болотного царя.** Современная сказка.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Игорь ВОЛГИН. **Пропавший заговор.** Достоевский и политический процесс 1849 года.

Нина ГОРЛАНОВА, Вячеслав БУКУР. **Тургенев — сын Ахматовой.** Повесть.

Даниил ГРАНИН. **Повесть.**

Вяч. Вс. ИВАНОВ. **Воспоминания. Бродский. Пастернак.**

Бахыт КЕНЖЕЕВ. **Письма к Господу Богу.** Роман.

Юнна МОРИЦ. **Рассказы о чудесном.** Стихи.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Анатолий НАЙМАН. **Проза. Стихи.**

Владислав ОТРОШЕНКО. **Приложение к фотоальбому.** Роман.

Олег ПАВЛОВ. **Повесть.**

Цикл очерков «Из нелитературной коллекции».

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы и сказки.**

Валерий ПИСИГИН. **Эхо пушкинской строки.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Борис ХАЗАНОВ. **Далекое зрелище лесов.** Роман.

Алексей ЦВЕТКОВ. **Просто голос.** Поэма. Продолжение.

Геннадий ШПАЛИКОВ. **Дневники.** Стихи.

Переписка Вадима СИДУРА и Карла АЙМЕРМАХЕРА. 60 — 70-е гг.

Военный дневник великого князя Андрея Владимировича РОМАНОВА.

А также **новые произведения** Юрия БУЙДЫ, Фридриха ГОРЕН-

ШТЕЙНА, Юрия ДАВЫДОВА, Владимира МАКАНИНА, Алек-

сандра МЕЛИХОВА, Григория ПЕТРОВА, Игоря ПОМЕРАНЦЕ-

ВА, Валерия ПОПОВА, Евгения ПОПОВА, Вячеслава ПЬЕЦУХА,

Генриха САПГИРА, Натальи СУХАНОВОЙ, Людмилы УЛИЦ-

КОЙ, Марины УРУСОВОЙ, Маргариты ШАРАПОВОЙ, Асара

ЭППЕЛЯ и др.